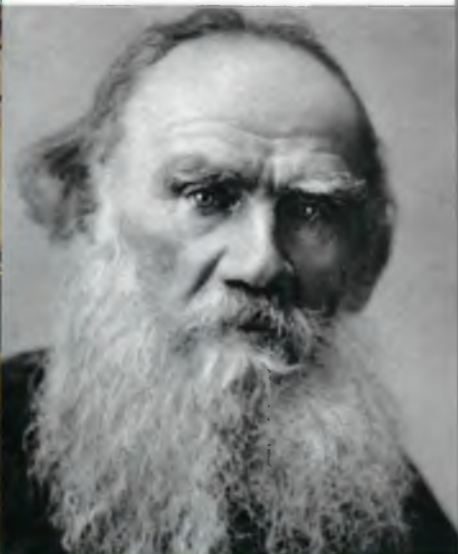


ЛЕВ ТОЛСТОЙ



Павел
Басинский



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Павел Басинский

ЛЕВ ТОЛСТОЙ
СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК



МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
2017

УДК 821.161.1.0(092)
ББК 83.3(2Рос=Рус)1-8
Б 27

*Издательство благодарит за предоставленные фотоматериалы
Государственный музей Л. Н. Толстого в Москве.*

знак информационной
продукции

16+

ISBN 978-5-235-03980-3

© Басинский П. В., 2017
© Издательство АО «Молодая гвардия»,
художественное оформление, 2017

Предисловие

ТОЛСТОЙ КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Прежде чем взяться за эту книгу, я написал три книги о Толстом. Они вышли в разное время (2010, 2013 и 2015 годы), переиздаются до сих пор и представляют собой своеобразную трилогию.

Первая книга — «Лев Толстой: Бегство из рая» — рассказывает об уходе писателя из Ясной Поляны, обстоятельствах его последнего путешествия и смерти в Астапове, а также о том, что было причиной этого ухода, какие моменты в жизни Толстого предваряли и предсказывали это событие.

Вторая книга — «Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды» — посвящена проблеме «Толстой и Церковь». Почему случился этот трагический конфликт, что означало знаменитое «отлучение» и что на самом деле являла собой «религия Толстого»?

Третья книга — «Лев в тени Льва. История любви и ненависти» — об отношениях Толстого с его третьим сыном Львом Львовичем и со всеми своими детьми. Ведь среди мировых литературных классиков Лев Николаевич был самым многодетным отцом; жена Софья Андреевна родила ему 13 детей. Каким был Толстой-отец? Что думали и писали о нем его дети? Что это вообще значит — быть сыном человека, еще при жизни признанного гением во всем мире?

Пока я работал над этими книгами, я понял одну вроде бы очевидную, но в то же время совсем не простую вещь. Толстой — не только создатель великих произведений, от огромного романа «Война и мир» до крохотного рассказа «Нечаянно», написанного за четыре месяца до смерти. Сам Толстой — *произведение*. Его жизнь и смерть, отношения с разными людьми, близкими и дальними, — это такое же *великое произведение*, как и те, что появились из-под его пера. И это произведение он создавал *сознательно*, отдавая этому

не меньше, а даже больше сил и времени, чем литературному творчеству, философским трактатам и публицистике. И мы даже знаем год и месяц начала работы Толстого над этим произведением: март 1847 года, первые записи в дневнике. Молодому «автору» еще не исполнилось двадцати лет, а он, находясь в Казани, в университетской больнице, излагает замысел великого *произведения жизни*, на создание которого уйдет больше шестидесяти лет. С этого момента начинается ежедневная работа над черновиком, если угодно, *романа* под названием «Лев Толстой» с множеством сюжетных линий, вариантов, удач и разочарований, интриг, коллизий, драматических и трагических конфликтов, комических сцен и таких, которые не могут не вызывать карриса, душевного потрясения.

Возможно, именно для того, чтобы закончить это произведение не «хеппи-эндом», как «Войну и мир», где он очень разумно и правильно устроил семейную жизнь своих любимых героев Наташи и Пьера, Николая и Марии, а на трагической, надрывной ноте, которая более соответствовала XX веку, Толстой и покинул Ясную Поляну холодной осенней ночью 1910 года и скончался на станции Астапово под свист проносившихся мимо поездов.

Однажды я понял, что биографию Толстого нельзя писать просто как цепь жизненных событий и анализ художественных произведений, как пишутся обычные писательские биографии. Анализировать нужно не факты жизни Толстого и тем более не его словесные произведения (это другая, филологическая задача), а *жизненный замысел и методы его воплощения в реальность*. Но это задача, если подойти к ней со всей ответственностью, неподъемная, во всяком случае для меня. И тогда я решил написать короткое и, насколько это возможно, внятное изложение произведения под названием «Лев Толстой». Такая, можно сказать, «школьная» задача. Я надеюсь, что справился с ней и что каждый прочитавший книгу составит себе хотя бы общее представление, как Толстой *создавал свою жизнь*.

В первом издании эта книга вышла в «Молодой гвардии» в 2016 году под названием «Лев Толстой — свободный человек». Настоящее издание в серии «ЖЗЛ» дополнено библиографией, хроникой жизни и творчества Толстого, а также более обширным иллюстративным материалом.

Павел БАСИНСКИЙ
2 февраля 2017 года

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ

(1828—1847)

Жизнь как насилие

Лев Николаевич Толстой родился в имении Ясная Поляна Крапивенского уезда Тульской губернии 28 августа 1828 года.

Самое раннее ощущение — желание вырваться из пеленок: «Вот первые мои воспоминания... Вот они: я связан, мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать, и я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик; но я не могу остановиться. Надо мной стоит, нагнувшись, кто-то, я не вспомню кто. И всё это в полутьме. Но я помню, что двое. Крик мой действует на них; они тревожатся от моего крика, но не развязывают меня, чего я хочу, и я кричу еще громче. — Им кажется, что это нужно (т. е. чтоб я был связан), тогда как я знаю, что это не нужно, и хочу доказать им это, и я заливаюсь криком, противным для самого себя, но неудержимым. Я чувствую несправедливость и жестокость не людей, потому что они жалеют меня, но судьбы, и жалость над самим собой».

Второе воспоминание — посещение «какого-то, не знаю, двоюродного брата матери, гусара князя Волконского. Он хотел приласкать меня и посадил на колени, и, как часто это бывает, продолжая разговаривать со старшими, держал меня. Я рвался, но он только крепче придерживал меня. Это продолжалось минуты две. Но это чувство пленения, несвободы, насилия до такой степени возмутило меня, что я вдруг начал рваться, плакать и биться...».

Литературный дебют Толстого, повесть «Детство», тоже начинается с насилия над ребенком и... убийства. Губернер-немец Карл Иванович бьет мух над головой спящего в кровати десятилетнего Николеньки Иртеньева и задевает хлопущей образок ангела-хранителя, висящий в изголовье. Первая же убитая муха падает на лицо мальчика.

«Положим, — думал я, — я маленький, но зачем он тревожит меня? Отчего он не бьет мух около Володиной постели? вон их сколько! Нет, Володя старше меня; а я меньше всех: оттого он меня и мучит. Только о том и думает всю жизнь, — прошептал я, — как бы мне делать неприятности...»

Еще Карл Иванович щекочет Николеньке пятки, чтобы окончательно разбудить.

«— Ach, lassen Sie*, Карл Иваныч! — закричал я со слезами на глазах, высовывая голову из-под подушек».

Осязательные впечатления играли важную роль в детстве Толстого: «Я сижу в корыте, и меня окружает странный, новый, не неприятный кислый запах какого-то вещества, которым трут мое голенькое тельце. Вероятно, это были отруби, и, вероятно, в воде и корыте меня мыли каждый день, но новизна впечатления отрубей разбудила меня, и я в первый раз заметил и полюбил мое тельце с видными мне ребрами на груди, и гладкое темное корыто, и засученные руки няни, и теплую парную сращенную воду, и звук ее, и в особенности ощущение гладкости мокрых краев корыта, когда я водил по ним ручонками...»

Но запомнилось ему и то, как экономка за пролитый на скатерть квас поймала и, несмотря на «отчаянное сопротивление», отвозила мокрой скатертью по лицу. И то, как в Вербное воскресенье гувернер за какую-то провинность отхлестал его пучком вербы. И как от этой вербы отпадали «шишечки».

Он запомнил, как «с особой нежностью» целовал «белую жилистую руку отца» и был «умиленно счастлив», когда он ласкал его. Но и то, как отец однажды ухватил его за ухо.

Общим местом стало мнение, что Толстой воспел раннее детство как райское состояние души. И это верно. Никто в литературе не написал о детстве таких возвышенных строк:

«Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений...»

Вернется ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели — невинная веселость и беспредельная

* Ах, оставьте (нем.).

потребность любви — были единственными побуждениями к жизни? Где те горячие молитвы? Где лучший дар — те чистые слезы умиления? Прилетал ангел-утешитель, с улыбкой утирал слезы эти и навевал сладкие грезы неиспорченному детскому воображению».

В Ясной Поляне не били детей и крайне редко подвергали телесным наказаниям крепостных. Эта традиция шла по линии обоих родов — отца и матери, Толстых и Волконских. Поднять руку на существо, которое не может или не имеет права защищаться, считалось в этих семьях позорным. Причем это было особенностью именно этих семей, а не признаком просвещенной эпохи. Отсутствие порки в воспитании ребенка было прогрессивным для того времени принципом, который соблюдался, например, в Царско-сельском лицее, где учился Пушкин. Пороть детей розгами, даже ружейными шомполами (ими лупил будущего императора Николая I его наставник генерал Ламздорф, записывая это в ежедневный журнал), считалось нормой в аристократических семьях.

Но ни в «Детстве», ни в «Воспоминаниях» Толстого вы не найдете ни одного случая, чтобы ребенка били, потому что «так нужно».

В «Воспоминаниях» Толстой пишет, что в детстве ни разу не видел, чтобы пороли крепостного. «Вероятно, — подозревает он, — эти наказания производились. В то время трудно было себе представить управление без употребления этих наказаний, но они, вероятно, были так редки, и отец так мало принимал в них участия, что нам, детям, никогда не удавалось слышать про это».

Он вспоминает, какой ужас вызвал у детей один только печальный вид помощника кучера, «кривого Кузьмы, человека женатого и уже немолодого», которого приказчик куда-то повел. «Кто-то из нас спросил Андрея Ильича, куда он идет, и он спокойно отвечал, что идет на гумно, где надо Кузьму наказать. Не могу описать ужасного чувства, которое произвели на меня эти слова и вид доброго и унылого Кузьмы. Вечером я рассказывал это тетушке Татьяне Александровне, воспитавшей нас и ненавидевшей телесное наказание, никогда не допускавшей его для нас, а также и для крепостных там, где она могла иметь влияние. Она очень возмутилась тем, что я рассказал ей, и с упреком сказала: “Как же вы не остановили его?”».

До глубокой старости Толстой не мог забыть, как однажды его даже не высекли, а только пригрозили высесть.

Пригрозили снять штанишки и отхлестать розгами по попе — унижение вместе с болью. Неизвестно, что страшнее.

В статье 1895 года под названием «Стыдно», посвященной телесным наказаниям, Толстой обращает главное внимание не на физическую, а на нравственную сторону расправы. «Высшее правительство огромного христианского государства, 19 веков после Христа, ничего не могло придумать более полезного, умного и нравственного для противодействия нарушениям законов, как то, чтобы людей, нарушавших законы, взрослых и иногда старых людей, оголять, валить на пол и бить прутьями по задницам».

В 1837 году, когда Лёвочке было девять лет, в доме появился новый гувернер по имени Проспер Шарль Антуан Тома (в «Детстве» назван St.-Jérôme). Он приехал в Россию через Кронштадт летом 1835 года, зарегистрировался под именем Проспер Антонович, быстро научился говорить по-русски и успел послужить секретарем черниговского, полтавского и харьковского губернатора князя Василия Васильевича Левашова, будущего председателя Государственного совета. Затем он поступил старшим гувернером в дом знакомых Толстых, Милютиных, а оттуда его переманила бабушка Пелагея Николаевна — мать рано умершего отца братьев и сестры Толстых.

Одновременно от дома отказали доброму, пьющему немцу Федору Ивановичу Рёсселю (в «Детстве» назван Карлом Ивановичем Мейером). Передавая Николая, Сергея, Дмитрия и Льва на руки французу, бедный немец, которого дети называли *дядькой*, едва сдерживал слезы и умолял: «Пожалуйста, любите и ласкайте их. Вы всё сделаете лаской». Особенно он обращал внимание на младшего, Льва. Он говорил, что у ребенка «слишком доброе сердце, с ним ничего не сделаешь страхом, а всё можно сделать через ласку». На это француз возразил: «Поверьте, mein Herr, что я сумею найти орудие, которое заставит их повиноваться».

Приглашая нового гувернера, Пелагея Николаевна тоже настаивала, чтобы в отношении мальчиков никогда не применялось физическое насилие. И он письменно обещал, что «с помощью Бога, отца сирот» обойдется без розог.

По мнению Толстого, Тома был «в высшей степени француз»: «Он был неглуп, довольно хорошо учен и добросовестно исполнял в отношении нас свою обязанность, но он имел общие всем его землякам и столь противоположные русскому характеру отличительные черты легкомыс-

ленного эгоизма, тщеславия, дерзости и невежественной самоуверенности. Всё это мне не нравилось».

Между Тома и Лёвой начались конфликты. Один из методов наказания, которые употреблял гувернер: ставил провинившегося на колени и заставлял просить прощения. При этом, «выпрямляя грудь и делая величественный жест рукой», он трагическим голосом кричал: «*A genoux, mauvais Sujet!**» Из всех братьев только Лёвочка противился этому. Однажды француз все-таки силой заставил его встать на колени.

Как-то у Толстых был вечер, куда пригласили детей из других семей. Но француз заявил, что Лёвочка не имеет права на общее веселье. Тот отвечал дерзостью. «*Se' bien*, — сказал он, догоняя меня, — я уже несколько раз обещал вам наказание, от которого вас хотела избавить ваша бабушка; но теперь я вижу, что, кроме розог, вас ничем не заставишь повиноваться, и нынче вы их вполне заслужили».

Подавляя сопротивление мальчика, он отвел его в чулан и запер. И вот эти часы, что Лев провел в заключении, в ожидании позорного наказания, он запомнил на всю жизнь.

До розог не дошло, но память осталась.

«...я испытал ужасное чувство негодования, возмущения и отвращения не только к Thomas, но и к тому насилью, которое он хотел употребить надо мной, — вспоминал Толстой. — Едва ли этот случай не был причиной того ужаса и отвращения перед всякого рода насильем, которое испытываю всю свою жизнь».

Находясь в чулане, мальчик воображал, как он сам накажет гувернера. «*И St.-Jégôte* упадет на колени, будет плакать и просить прощения». Но это было слабое утешение, как он впоследствии стал понимать. Оно не избавляло от *ужаса и отвращения* перед насильем, всяким насильем.

То же самое он испытывал, когда его пеленали. «Им кажется, что это нужно (т. е. чтоб я был связан), тогда как я знаю, что это не нужно». И когда режут козленка, и когда бьют солдата или крепостного, и когда запирают ребенка в чулан, все взрослые думают, что «это нужно». А Толстой с первых же проблесков сознания не думает, но твердо знает, что это «не нужно».

И потому вся так называемая взрослая жизнь Толстого — это попытка доказать людям, что это «не нужно».

* На колени, негодяй! (фр.).

А вся цивилизация представлялась ему тем самым гусаром, что силой держал его на коленях и говорил взрослым что-то «важное». Говорил-то он, на самом деле, невозможные глупости. А совершал при этом самое страшное из преступлений.

Насилие! Не только над ребенком, а над его душой. Рожденной свободной, для непрерывающей радости жизни. Но зачем-то ее поставили на колени, а затем заперли в чулан. И еще обещали наказать. Там, в загробном мире. Наказать!

Волконские

Дед Толстого по материнской линии, князь Николай Сергеевич Волконский, родился в 1753 году, а скончался в 1821-м, когда его единственная дочь Мария еще не вышла замуж. Таким образом, деда Толстой не знал. Сама Мария Николаевна ушла из жизни в 1830 году, когда ее сыну не было и двух лет. Свою мать Толстой не помнил и даже не видел ее изображения, потому что она не любила позировать художникам. Сохранился лишь ее силуэт из черной бумаги, сделанный в девятилетнем возрасте.

Тем не менее Волконские оказали сильное влияние на Толстого. Влияние деда было *аристократическое*. Всё, что Толстой видел и слышал в Ясной Поляне, напоминало ему о нем: и спланированный ландшафт усадьбы, и капитальные хозяйственные постройки, и большой дом с двумя флигелями в итальянском стиле, и рассказы крестьян и дворовых о старом хозяине. Толстой гордился дедом и в молодости пытался подражать ему. В повести «Дьявол» о главном персонаже, прототипом которого был автор, говорится: «Самые обычные консерваторы это — молодые люди. Так было с Евгением. Поселившись теперь в деревне, его мечта и идеал были в том, чтобы воскресить ту форму жизни, которая была не при его отце... а при деде».

Почему-то Толстой очень любил легенду, что Волконский в молодости отказался жениться на племяннице и любовнице князя Потемкина Вареньке Энгельгардт: «С чего он взял, чтобы я женился на его б...»

В царствование Екатерины II князь Волконский стремительно поднимался по служебной лестнице. Записанный в армию семилетним мальчиком, он в 27 лет в чине капитана гвардии находился в свите Екатерины II во время ее сви-

дания с австрийским императором Иосифом II в Могилеве. Майор, полковник, бригадир, генерал-майор... В 1793 году он был назначен послом в Берлин. Затем находился при войсках в Польше и Литве.

Опала началась с воцарением Павла I, который с особой строгостью относился к офицерам, выдвинувшимся при его матери. В 1797 году, будучи шефом (покровителем) Азовского мушкетерского полка, Волконский был уволен со службы за отказ явиться на инспекторский смотр, назначенный императором. Боевой генерал (а он принимал участие во взятии Очакова) был уязвлен оказанным недоверием царя и сказался больным.

«Не думаю, однако, чтобы это очень его огорчило, — считает сын писателя Сергей Львович Толстой. — Не с ним одним так поступил Павел, а общественное мнение того общества, к которому принадлежал Волконский, было за него...»

Но через полтора года Николай Сергеевич был восстановлен императором в прежнем положении. Его назначили архангельским военным губернатором, затем произвели в генерал-аншефы, «полные генералы». В 1799 году он был уволен со службы по собственному прошению.

Николай Сергеевич Волконский, по-видимому, верно изображен своим внуком в романе «Война и мир» в образе старого князя Болконского. Да и сохранившиеся живописные портреты соответствуют этому образу. В одном из вариантов «Войны и мира» Толстой так описывает деда: «Князь был свеж для своих лет, голова его была напудрена, чистая борода синелась, гладко выбрита. Батистовое белое манжет и манишки были необыкновенной чистоты. Он держался прямо, высоко нес голову, и черные глаза из-под густых, широких бровей смотрели гордо и спокойно над загнутым сухим носом, тонкие губы были сжаты твердо...»

От деда Толстой унаследовал понятия о чести и долге, независимость суждений и вольнодумство, *внутреннюю осанку*, которая чувствовалась в нем всегда, особенно в позднем возрасте. От деда он унаследовал и свой *эстетизм*. «Все его постройки не только прочны и удобны, но чрезвычайно изящны», — подчеркивает Толстой в «Воспоминаниях». Получив в наследство Ясную Поляну и поселившись в ней после отставки, Николай Сергеевич первоочередной задачей поставил не строительство дома для удобного проживания, но переустройство усадебного ландшафта в стиле «парадиза» XVIII века. «Волконский, верный

и последовательный “вольтерьянец”, шел в ногу со временем и был охвачен усадебной лихорадкой... — пишет исследователь жизни Толстого Н. А. Никитина. — Своей страстью и энтузиазмом он преобразовывал прежний облик Ясной Поляны, придавал благородные черты ампира, так пленившие впоследствии его внука. Князь удачно вписал свой ансамбль в сложный рельеф, удачно используя элементы прежней планировки: въездную усадебную аллею “Прешпект”, Большой пруд, регулярный парк “Клины”. Дед писателя строился основательно и вдумчиво... Именно в ампире князь Волконский нашел то, что искал: простоту, порядок и красоту. Он являл собой уникальный тип людей, в котором сопрягались порядочность с тонким эстетическим чувством. В нем всё — от одежды до душевного стиля — было *à la classique*».

После смерти жены, Екатерины Дмитриевны (урожденной Трубецкой), утешением его старости стала дочь, родившаяся в 1790 году. Образ княжны Марьи в «Войне и мире» лишь отчасти соответствует своему прототипу. Верно, что она была некрасива, и потому отец, не слишком надеясь на ее замужество, воспитывал дочь «по-спартански»: ежедневные моционы, физическая культура (мать Толстого недурно играла в бильярд), занятия математикой и иностранными языками (владела французским, английским, немецким, итальянским и, что было необычно для девушек той поры, прекрасно писала по-русски).

Но есть в романе два важных несоответствия.

Если судить по «Войне и миру», отец и дочь жили в Ясной Поляне (в романе имение называется Лысые Горы) замкнуто и безвыездно. Гордый и своенравный князь Болконский любил говорить: «Ежели кому меня нужно, то тот из Москвы 150 верст доедет до Лысых Гор, а мне ничего и никого не нужно». Так считали почти все ранние биографы Толстого. Но позднейшие исследования доказали, что Волконские не были такими уж затворниками. Знаток истории толстовского рода Т. Г. Никифорова пишет: «Вопреки сложившемуся мнению (отчасти под влиянием образов старого князя Болконского и княжны Марьи в “Войне и мире”) жизнь Н. С. Волконского и его дочери отнюдь не была затворнической... Из дневника князя Дмитрия Михайловича Волконского, родного племянника Н. С. Волконского, видно, что аристократический военный круг, литературно-ученая среда, к которой принадлежал автор дневника благодаря разветвленным родственно-дружеским связям, была

и той культурно-исторической средой, в которой проходила жизнь отца и дочери Волконских».

В этот круг общения входили Сергей и Василий Львовичи Пушкины (отец и дядя великого поэта), Петр Андреевич Вяземский, Николай Михайлович Карамзин, Павел Иванович Сумароков, Иван Андреевич Крылов. Мария Николаевна была дружна с женой Дмитрия Михайловича Волконского Натальей Алексеевной, урожденной графиней Мусиной-Пушкиной. Она бывала в доме ее отца Алексея Ивановича Мусина-Пушкина, благодаря которому мы обрели ряд ценнейших древнерусских рукописей, в том числе и «Слово о полку Игореве». В его доме на Разгуляе Мария Николаевна принимала участие в праздниках и домашних спектаклях. Иначе было бы трудно объяснить, как «запертая» в деревне молодая женщина могла написать несколько весьма порядочных стихотворений, два больших прозаических сочинения (сказка на французском языке «Лесные близнецы» и повесть «Русская Памела, или Нет правила без исключения») и замечательный по мыслям дневник их с отцом поездки в Санкт-Петербург в 1810 году под названием «Дневная записка для собственной памяти».

Толстой отмечал в писаниях своей матери «правдивость и простоту», которые, как он считал, не были свойственны его отцу. «В то время особенно были распространены в письмах выражения преувеличенных чувств: несравненная, обожаемая, радость моей жизни, неоцененная и т. д. — были самые распространенные эпитеты между близкими, и чем напыщеннее, тем было неискреннее. Эта черта, хотя и не в сильной степени, видна в письмах отца. Он пишет: “Ma bien douce amie, je ne pense qu’au bonheur d’être auprès toi...”* и т. п. Едва ли это было вполне искренно. Она же пишет в обращении всегда одинаковое: “mon bon ami”** , и в одном из писем прямо говорит: “Le temps me paraît long sans toi, quoiqu’à dire vrai, nous ne jouissons pas beaucoup de ta société quand tu es ici”***, и всегда подписывается одинаково: “ta dévouée Marie”****.

Вторая, более существенная, неточность состоит в том, что Толстой в «Войне и мире» изобразил мать чрезвычай-

* Мой нежнейший друг, я только и думаю, что о счастье быть около тебя (фр.).

** Мой добрый друг (фр.).

*** Время для меня тянется долго без тебя, хотя, сказать по правде, мы мало наслаждаемся твоим обществом, когда ты здесь (фр.).

**** Преданная тебе Мария (фр.).

но религиозной девушкой. Между тем, судя по ее дневнику, Мария Николаевна не отличалась особой набожностью и была в этом смысле вполне дочерью своего отца с его религиозным равнодушием. «Николай Сергеевич, — пишет С. Л. Толстой, — не только не был богомолен, но был равнодушен к православию и даже в душе — вольнодумцем... Это следует из подбора оставшихся после него книг и из того, что в Ясной Поляне не осталось никаких следов от какого бы то ни было отношения к православию. Между тем при его богатстве он легко мог построить церковь в Ясной Поляне — на деревне или у себя на усадьбе; он этого не сделал, а строил дома и хозяйственные постройки. Конечно, он исполнял церковные обряды, считая, что так нужно, но, вероятно, относился к ним формально...»

Возможно, Николай Сергеевич даже был масоном. По крайней мере, он явно сочувствовал «вольным каменщикам». Об этом говорит присутствие в его библиотеке старинного масонского песенника 1762 года вместе со статуями масонов*.

Трудно сказать, в какой степени это повлияло на мировоззрение его внука. Масоны Екатерининской эпохи были «вольтерьянцами». Суть же «вольтерьянства» была в отрицании авторитета Церкви и попытке создания новой морали, опирающейся на главенство разума. Всё это близко зрелому Толстому с его критикой Церкви с позиции разума. Но обрядовая сторона масонства, карикатурно изображенная в «Войне и мире», была ему так же чужда, как и религиозные обряды.

Разумным отношением к религии отличалась и дочь князя, если судить по ее дневнику. Девятнадцатилетняя девушка, впервые выехавшая в дальний путь в Санкт-Петербург, она ничего не боится и смотрит на мир открыто и без предрассудков. Заметив по дороге церковные строения, она больше обращает внимание на их внешний вид, нежели испытывает желание молиться. Церковные предания не внушают ей уважения.

«21-го числа отправились мы опять в путь в седьмом часу. Отъехав около 25 верст, увидели мы колодезь, очень хорошо отделанный, и как мы спросили, то нам сказали, что это есть колодезь святой воды и что тут близко часовня, в которой находится явленный образ Казанской Богородицы. Услышав сие, велели мы подъехать к колоде-

* Статут — здесь: устав, собрание правил.

зю, вышли из кареты, выпили несколько воды и пошли пешком до часовни; она очень хорошо построена и хотя в простом вкусе, но вид ее внушает почтение. Мы вошли, приложились к образу, и батюшка поговорил с сторожем, который подтвердил нам предание о явлении сего образа около двух сот лет тому назад. Хотя невероятно, чтоб в столь неотдаленном времени творились еще чудеса, но как народ не может постигать умственного обожания Бога, то такие предания производят в нем большое впечатление».

Это — взгляд просвещенной аристократки, которая строго отличает народные предания, поддерживаемые Церковью, от «умственного» понимания Бога людьми своего круга.

В Петербурге при посещении Александро-Невской лавры она опять же обращает внимание на внешний вид недавно возведенного храма: «Сия церковь чрезвычайной красоты и великолепия; она построена в простом и благородном вкусе». Она не испытывает душевного беспокойства при опоздании на обедню в Исаакиевский собор и радуется, когда во время службы их забирает оттуда бывшая фрейлина Екатерины Анна Петровна Самарина. Но это не значит, что Мария Николаевна была атеисткой. Как и ее отец, она считала Церковь необходимой. И не только для народа, но и для своей семьи.

Среди ее вещей, сохранившихся по сей день, есть рукописный молитвенник и икона с изображением святых, имена которых носили ее сыновья: Николай Чудотворец, Сергей Радонежский, Дмитрий Ростовский и Лев, папа римский. В «Журнале поведения Николеньки», который она вела, занимаясь воспитанием своего любимого старшего Коко, она пишет, что «возила его в церковь приобщать, он там стоял и вел себя очень порядочно для своих лет; и во весь день был мил и послушен». Но мы не найдем в «Журнале» никаких признаков того, чтобы Мария Николаевна воспитывала сына в религиозном духе. Гораздо больше ее волновали проявления блажи (капризов) и трусости — испугался взять в руки жука...

И уж совсем невозможно представить себе, чтобы Марии Николаевне пришла в голову мысль уйти в монастырь, которая нередко посещала Марию Болконскую.

Тем не менее, если говорить о влиянии матери на Толстого, это было прежде всего *мистическое* влияние. Толстой не просто любил, а боготворил мать. После Бога она была

единственной инстанцией, к которой он часто обращался в молитвах и говорил, что «эта молитва всегда помогала».

Тайна матери остается одной из главных загадок духовной биографии Толстого. Образ матери занимал в его душе необъятное место. Создается впечатление, что он как бы «увлажнял» рационализм толстовского понимания религии, которое сводилось к простой мысли: *всё, что находится за пределами нашего разума, для нас не существует*. Следовательно, какой смысл это обсуждать, а тем более слепо в это верить? Если наш разум не способен постичь загробную жизнь с ее адом и раем, то и нечего о них рассуждать! Есть более умопостигаемые вещи — добро, любовь, помощь людям.

Но в отношении матери он делал исключение. Достаточно и того, что он обращался с молитвой к *мертвому человеку* и верил, что это ему помогает. В старости он относился к Марии Николаевне, как совершеннейший ребенок. «Не могу без слез говорить о матери», — пишет в дневнике. «Нынче утром обхожу сад и, как всегда, вспоминаю о матери, о “маменьке”, которую я совсем не помню, но которая остается для меня *святым идеалом*».

Десятого марта 1906 года он пишет: «Целый день тупое, тоскливое состояние. К вечеру состояние это перешло в умиление — желание ласки — любви. Хотелось, как в детстве, прильнуть к любящему, жалеющему существу и умиленно плакать, и быть утешаемым. Но кто такое существо, к которому бы я мог прильнуть так? Перебираю всех любимых мною людей — ни один не годится. К кому же прильнуть? Сделаться маленьким и к матери, как я представляю ее себе. Да, да, маменька, которую я никогда не называл еще, не умея говорить. Да, она, высшее мое представление о чистой любви, но не холодной, божеской, а земной, теплой, материнской. К этой тянулась моя лучшая, уставшая душа. Ты, маменька, ты приласкай меня. Всё это безумно, но всё это правда...»

Мария Николаевна потеряла мать и стала полусиротой, когда ей было два года. То же случилось и с ее сыном Львом. словно предчувствуя, что Лев — ее последний сын, она называла его «*mon petit Benjamin**» (это прозвище Толстой сохранил для главного героя «Детства»). Вениамин по-древнееврейски означает «везунчик, счастливчик». В то же время по Библии Вениамин был сыном Иакова, жена ко-

* Мой маленький Вениамин (фр.).

торого Рахиль умерла при родах этого мальчика, назвав его Бенони — «сын боли». Толстой любил вспоминать, что вторым любимчиком матери после Коко оказался он, младший.

Непонятно, почему дневник матери был обретен Толстым так поздно, только в 1903 году, спустя 70 с лишним лет после ее смерти. Вероятно, он просто не знал о его существовании. Но показательно, что эти тетради вместе с другими бумагами Марии Николаевны... валялись на чердаке дворни, а выбросил их туда, не придав им никакого значения, сын Толстого Лев Львович, переустраивая северный флигель для себя и своей молодой шведской жены Доры. И только Софья Андреевна обратила внимание на эти тетради. Она и показала их мужу.

Его отношение к ним тоже не вполне понятно. Спустя всего два месяца после обретения этих бумаг часть их Толстой отправил в Публичную библиотеку Санкт-Петербурга, не оговорив условия хранения. Другую часть — письма, «Журнал поведения Николеньки» и окончательный текст дневника — он оставил у себя, потому что в это время по просьбе своего биографа Павла Ивановича Бирюкова работал над «Воспоминаниями». Но в самом начале «Воспоминаний» Толстой пишет, что реальный образ матери не то чтобы совсем его не интересовал, но не являлся главным в его представлениях о ней. Он пишет, что не может вообразить себе ее «как реальное физическое существо» и «отчасти рад этому, потому что в представлении моем о ней есть только ее духовный облик, и всё, что я знаю о ней, всё прекрасно...».

Судя по тому, что нам известно о Марии Николаевне, в ее жизни действительно почти не было темных пятен. Но и духовным идеалом она не была. Скорее можно сказать, что она (возможно, по причине некрасивой внешности) преуспела в умственном и художественном развитии. Но это недостаточный повод, чтобы молиться на нее. В остальном же Мария Николаевна была обычной барышней своего времени. Чего стоит ее романтическая дружба с француженкой Луизой Гениссьен, в которую вылилась «ее женская потребность любви», как осторожно пишет С. Л. Толстой. Эта дружба закончилась скандалом, потому что после смерти отца Мария Николаевна пожелала устроить семейное счастье сестры своей подруги, Марии Гениссьен, и подарила ей часть наследства. Как пишет в дневнике Д. М. Волконский, она «продала подмосковную» и «положила

деньги в ломбард на имя мамзельки». Этому воспротивились ее родственники, был недоволен ее жених Николай Ильич Толстой, но Мария Николаевна проявила настойчивость. Впрочем, после замужества ее чувства к Луизе Гениссѐн охладели.

С. Л. Толстой предполагает, что Мария Николаевна оказала на Льва косвенное религиозное влияние через старшего сына Николая и его фантастическую историю о «зеленой палочке», зарытой в лесу, в том месте, где писатель завещал себя похоронить. На этой палочке будто бы написана тайна человеческого счастья. Толстой дорожил легендой и любил вспоминать о придуманной его братом Николенькой игре в «муравейных братьев». Вероятно, их прототипами были «моравские братья» — чешские протестанты XV века, последователи реформатора Яна Гуса. О них Николенька слышал от матери, которая, как пишет Толстой в «Воспоминаниях», «была большая мастерица рассказывать завлекательные сказки».

Здесь что-то складывается в сложную мозаику. Массонские увлечения деда, «моравские братья», общий мистицизм Александровской эпохи, в которую воспитывалась Мария Николаевна, ее родственные связи... Ее двоюродный дядя Николай Никитич Трубецкой был известным масоном-розенкрейцером; два его брата, Петр и Юрий, тоже являлись масонами. Ее кузен Николай Николаевич Трубецкой перешел в католичество.

Но это было недостаточное основание, чтобы сделать мать иконой. Во всем этом была какая-то глубокая тайна — загадка мировоззрения Толстого. А может быть (и это вернее всего), ему с детства не хватило теплоты материнской любви. Не случайно в «Детстве» автор удлинит жизнь своей матери. Она умирает, когда главный герой вполне способен осознать эту потерю. И точно так же Толстой воображал жизнь своей маменьки в своих фантазиях до глубокой старости, тем самым пролевая свое детство.

Толстые

На первый взгляд дед писателя по отцовской линии Илья Андреевич Толстой не оказал на внука сколько-нибудь серьезного влияния. Но при этом он послужил прототипом одного из самых симпатичных героев «Войны и ми-

ра» — старого графа Ильи Андреевича Ростова. Дед показан в романе довольно верно. Толстой даже не изменил его имя и отчество.

В «Воспоминаниях» Толстой называет деда «ограниченным», а в разговорах с близкими аттестовал его просто глупым. В конспекте к «Войне и миру» дается такая характеристика «глупому, доброму графу Ростову»:

«Имущество расстроенное, большое состояние, небрежность, затей, непоследовательность, роскошь глупая.

Общественное. Тщеславие, добродушие, уважение к знатым.

Любовное. Жену, детей ровно, богобоязненно и никогда неверности.

Поэтическое. Поэзия грандиозного и добродушного гостеприимства. Не прочь выпить. Дарование к музыке.

Умственное. Глуп, необразован совсем».

«Поэзия грандиозного и добродушного гостеприимства». В конспекте к роману о нем говорится так: «Всех к себе тащит». Илья Андреевич был, выражаясь языком того времени, обыкновенным *мотом*. Он жил на самую широкую ногу, не считаясь со средствами. Супруга Толстого Софья Андреевна писала о нем с чужих слов: «Граф Илья Андреевич вел жизнь крайне роскошную, выписывал стерлядей из Архангельской губернии, посылал мыть белье в Голландию, держал домашний театр и музыку и прожил всё».

«В имении его Белёвского уезда Полянах, — не Ясной Поляне, но Полянах, — пишет Толстой в «Воспоминаниях», — шло долго не перестающее пиршество, театры, балы, обеды, катанья, которые, в особенности при склонности деда играть по большой в ломбер и вист, не умея играть, и при готовности давать всем, кто просил, и займы, и без отдачи, а главное, затеваемыми аферами, откупам, — кончилось тем, что большое имение его жены всё было так запутано в долгах, что жить было нечем, и дед должен был выхлопотать и взять, что ему было легко при его связях, место губернатора в Казани».

В 1815 году Толстые переехали в Казань, где через неделю случился грандиозный пожар, уничтоживший больше половины города. Никаких других значительных событий за время его губернаторства не было. Поправить состояние на службе ему не удалось, потому что они с женой Пелагеей Николаевной, урожденной Горчаковой, и в Казани продолжали вести тот же образ жизни, но уже с городским размахом. В итоге долг Ильи Андреевича

достиг полумиллиона рублей. Все имения были описаны, а доходы от них стали поступать в Приказ общественного призрения для уплаты кредиторам.

В 1820 году его обвинили в служебных злоупотреблениях. «Дед, — сообщает Толстой в «Воспоминаниях», — как мне рассказывали, не брал взятки, кроме как с откупщика*, что было тогда общепринятым обычаем, и сердился, когда их предлагали ему, но бабушка, как мне рассказывали, тайно от мужа брала приношения».

Это подтверждается и документами. Тщательная ревизия денег, находившихся в распоряжении губернатора, выявила нехватку менее десяти тысяч рублей. Но и это, как считает биограф Толстого Николай Николаевич Гусев, скорее было «следствием не растраты, а общего беспорядка и путаницы». Но даже если Илья Андреевич и растратил или присвоил эти деньги, всё равно эта сумма не шла ни в какое сравнение с тем, за что отдали под суд его преемника на посту губернатора Казани Петра Андреевича Нилова, который в течение двух лет растратил 100 тысяч рублей, принадлежавших купеческим опекам.

Сам Илья Андреевич до суда не дожил. Еще до получения приказа об отставке он сложил полномочия и умер, не успев предоставить никаких объяснений по поводу выдвинутых обвинений.

Существует версия о его насильственной смерти, которую предположил казанский историк Николай Петрович Загоскин. Но, вероятнее всего, он просто не вынес позора, свалившегося на него в 62 года, а кроме того, был морально подавлен тревогой за будущее своей семьи.

И тревожиться ему было о чем... Его единственный сын Николай до женитьбы на Марии Волконской был не просто беден, но настолько опутан долгами скончавшегося родителя, что в 1821 году должен был поступить «смотрительским помощником» в московское военно-сиротское заведение. Для него, уже полковника в отставке, эта должность была, конечно, унижительной. Он согласился на нее, чтобы не быть посаженным в долговую тюрьму, потому что к государственным служащим такая мера не применялась.

Между тем молодость Николая Ильича была почти героической. И Лев Николаевич не погрешил против исти-

* Откуп — система сбора налогов и других государственных доходов, при которой государство передает это право частным лицам (откупщикам) за денежное вознаграждение.

ны, описав своего отца в «Войне и мире» в замечательном образе Николая Ростова.

Единственный сын в семье, он был обожаем родителями, особенно матерью. Кроме него, в доме были две сестры, Александра и Полина, а также дальняя родственница и круглая сирота Танечка Ёргольская. Nicolas воспитывался вполне в духе крепостного времени. В 16 лет «для его здоровья», как пишет Толстой, подростку устроили связь с дворовой девушкой его сестры Александры. «От этой связи был сын Мишенька, которого определили в почтальоны и который при жизни отца жил хорошо, но потом сбился с пути и часто уже к нам, взрослым братьям, обращался за помощью. Помню то странное чувство недоумения, которое я испытывал, когда этот впавший в нищенство брат мой, очень похожий (более всех нас) на отца, просил нас о помощи и был благодарен за 10, 15 рублей...»

Николай шестилетним мальчиком был зачислен на службу с чином коллежского регистратора, а в 17 лет получил чин губернского секретаря — XII класса по Табели о рангах. Это было в 1811 году. Но на следующий год, накануне вторжения Наполеона в Россию, он, «несмотря на страх и нежелание родителей», как пишет Толстой в «Воспоминаниях», принял решение поступить на военную службу. Хотя в то время еще действовал мирный договор с Францией, заключенный в 1807 году в Тильзите, в Москве уже ходили слухи о неизбежности войны...

Так случилось, что он не участвовал ни в одном сражении в пределах России. Но в Заграничном походе 1813—1814 годов Николай Ильич проявил себя отважно. Он был при всех крупных сражениях, состоя адъютантом генерала Андрея Ивановича Горчакова, троюродного брата своей матери. За отличие «при удержании неприятеля под городом Дрезденом и при переправе через реку Эльбу» получил чин поручика. За участие в Битве народов под Лейпцигом был возведен в штабс-ротмистры. На обратном пути из Петербурга, куда он был отправлен с депешей, его захватили в плен... Русскую армию он встретил уже в Париже.

Любопытная деталь из семейных преданий, рисующая отношение к пленным русским офицерам того времени: в парижском плену Н. И. Толстой жил, ни в чем не нуждаясь, благодаря тому, что его денщик спрятал в сапоге всё золото барина.

Отношение Николая Ильича к войне было лишено пафоса и героики. Его письма с фронта предвосхищают

взгляды его сына на войну как на несчастье человеческое. В 1812 году он сообщает в письме родным: «Не бывши еще ни разу в сражении и не имевши надежды в нем скоро быть, я видел всё то, что война имеет ужасное; я видел места, верст на десять засеянные телами; вы не можете представить, какое их множество на дороге от Смоленска...» «Мое военное настроение очень ослабело, — пишет он домой через год, — истребление человеческого рода уже не так занимает меня, и я думаю о счастье жить в неизвестности с милой женой и быть окруженным детьми мал мала меньше».

В 1819 году Н. И. Толстой вышел в отставку в чине полковника. По-видимому, военная служба серьезно подорвала его здоровье. По свидетельству главного лекаря Казанского военного госпиталя, он был «болен слабостию груди со всеми ясными признаками к чахотке, простудным кашлем, сопряженным с кровохарканием, и застарелою простудною ломотою во всех членах...».

После смерти отца Николай Ильич, как пишет в «Воспоминаниях» его сын, остался «с наследством, которое не стоило всех долгов, и с старой, привыкшей к роскоши матерью...». Женитьба на Марии Николаевне Волконской была вынужденным шагом как с его, так и с ее стороны. В 1822 году, когда состоялась их свадьба, Мария Николаевна приближалась к своему 32-летию. Это был, выражаясь современным языком, ее «последний шанс». К тому же, несмотря на «мужское» воспитание, управляться с наследством отца она не умела. А вот Николай Ильич, в отличие от своего родителя, оказался хорошим помещиком. Он достроил большой дом в Ясной Поляне, взял на себя все заботы по хозяйству и вел бесконечные дела по долгам своего отца, в результате выкупив материнское имение Никольское-Вяземское в Чернском уезде Тульской губернии. Выкупил — на деньги жены. Но недаром в «Войне и мире» встречается фраза, что Николай Ростов «жертвует собой». Пелагея Николаевна считала невестку недостойной своего сына, при этом продолжала вести в Ясной Поляне тот же барский образ жизни, который вела при муже.

Любили ли Николай Ильич и Мария Николаевна друг друга — большой вопрос. Всё дело решили их родственники. До помолвки они даже не были знакомы, хотя Мария Николаевна и приходилась своему жениху троюродной сестрой. Однако мнение Льва Николаевича, что его мать любила его отца «больше как мужа и, главное, отца своих детей, но не была влюблена в него», едва ли справедливо.

В ее возрасте она страстно нуждалась в любви и готова была влюбиться в жениха даже заочно. Сохранилось ее стихотворение, обращенное к нему, которое говорит о многом:

О ты, кого я не видала,
Но не смотря на то люблю,
Кого заочно я узнала,
К тебе я стих свой обращаю.

Знакомство сие не обычно,
Конечно, в этом спору нет,
Но о тебе, дружочек, слышно,
Что ты не любишь модный свет.

К тому же мы друг друга знаем,
Хоть не видалися в глаза.
Давно сойтися мы желаем
И поболтать тара-бара.

Что ж делать? — коль не удастся!
Перо в чернила обмакнуть,
И всё что вдруг на ум придется,
Отважным почерком черкнуть.

Толстой не знал этого стихотворения. Тем более удивительно, что в эпилоге романа «Война и мир» он хотя и не явно, но всё-таки весьма прозрачно указывает на влюбленность княжны Марьи в Николая Ростова. «Несколько секунд они молча смотрели в глаза друг другу, и далекое, невозможное вдруг стало близким, возможным и неизбежным...»

Очевидно одно — Мария Николаевна и Николай Ильич были счастливы в браке. Он оказался недолгим, но в нем родилось пятеро детей: четыре сына и дочь Маша. Интересно, что первый ребенок получил имя отца, а последний — матери. Легенда, что первого сына она назвала в честь своего первого, рано скончавшегося жениха Николая Голицына, ничем не подтверждается. Но в нее верил Толстой, правда, долгое время считая, что Голицына звали Львом и, следовательно, он сам назван его именем.

Любовная переписка супругов во время разлук, их сентиментальные прогулки в Нижнем парке не оставляли сомнений, что брак по расчету вскоре стал браком по любви. Впрочем, Николай Ильич часто уезжал из имения, а кроме того, отличался неумеренным употреблением алкоголя. При энергичной хозяйственной деятельности и постоянных судебных хлопотах вокруг «наследства» его отца это

всё не могло не отразиться на его здоровье. К тому же у него не оставалось времени заниматься детьми.

Говоря о любви к отцу и восхищении им, Толстой почему-то не называет ни одной черты характера, которая перешла бы к нему от Николая Ильича. И мужской характер старшего брата Николая он никак не связывает с влиянием отца. (А ведь Николаю, когда умер отец, было уже 14 лет.) Только — матери! «У них обоих было очень мне милое свойство характера, которое я предполагаю по письмам матери, но которое я знал у брата, — равнодушие к суждениям людей и скромность, доходящая до того, что они старались скрыть умственные, образовательные и нравственные преимущества, которые имели перед другими людьми».

Равнодушие к людскому мнению Толстой отмечает и в других старших братьях. Это было то, чего он сам в молодости был лишен, стараясь подражать слишком многим, в том числе и братьям. Не потому ли так случилось, что мать не успела оказать на младшего сына заметного влияния, а отцу просто некогда было им заниматься, как и остальными мальчиками?

Единственное, что они точно переняли от отца, — это страсть к охоте.

Причиной смерти отца стало имение Пирогово, которое досталось ему при весьма «романных» обстоятельствах. Толстой в «Воспоминаниях» так описывает это событие:

«Был зимний вечер, чай отпили, и нас скоро уже должны были вести спать, и у меня уже глаза слипались, когда вдруг из официантской в гостиную, где все сидели и горели только две свечи и было полутемно, в открытую большую дверь скорым шагом мягких сапог вошел человек и, выйдя на середину гостиной, хлопнулся на колени. Зажженная трубка на длинном чубуке, которую он держал в руке, ударилась об пол, и искры рассыпались, освещая лицо стоявшего на коленях, — это был Темешов. Что сказал Темешов отцу, упав перед ним на колени, я не помню, да и не слышал, а только потом узнал, что он упал на колени перед отцом потому, что привез с собой свою незаконную дочь Дунечку, про которую уже прежде сговорился с отцом с тем, чтобы отец принял ее на воспитание с своими детьми. С тех пор у нас появилась с широким, покрытым веснушками лицом девочка, моя ровесница, Дунечка, со своей няней Евпраксеей, высокой, сморщенной старухой, с висячим подбородком, как у индейских петухов, кадычком, в котором был шарик, который она давала нам ощупывать».

Имение Пирогово Николаю Ильичу передал его троюродный брат Александр Алексеевич Темяшев перед смертью на весьма выгодных условиях с уговором, что его незаконнорожденная дочь Дуня будет воспитываться в доме Толстых до совершеннолетия. Про Пирогово говорили, что это «золотое дно». Там были конский завод, мукомольная мельница и 472 крестьянские души.

Но когда Темяшева разбил паралич, его сестра и законная наследница Наталья Алексеевна Карякина возбудила судебный процесс против Николая Ильича. Процесс длился долго и закончился печально.

Девятнадцатого июня 1837 года Н. И. Толстой спешно выехал из Москвы в Тулу по какой-то срочной надобности, связанной с пироговским делом. Расстояние между Москвой и Тулой (больше 160 верст) он проделал менее чем за сутки. 21 июня он ходил по государственным учреждениям, а затем отправился на квартиру Темяшева и, не дойдя нескольких десятков шагов, упал и умер. В смерти подозревали его слуг, потому что при мертвом теле не обнаружили денег, которых должно было быть много. Но версия не подтвердилась. Медики, осмотревшие тело, нашли, что Николай Ильич скончался от «кровоанного удара».

Смерть отца произвела на Лёвочку очень сильное впечатление. И это было уже реальное переживание, в отличие от описанной в «Детстве» смерти матери, которую Толстой не мог помнить.

Толстой говорил П. И. Бирюкову, что кончина эта в первый раз вызвала в нем чувство религиозного ужаса перед вопросами жизни и смерти. Поскольку отец умер не в доме, младший сын долго не мог поверить, что его уже нет. Долго после этого, глядя на незнакомых людей на улицах Москвы, Лёва не только надеялся, но и был почти уверен, что вот-вот встретит отца. И эта надежда и неверие в смерть вызывали в нем «особенное чувство умиления».

Может быть, рождение *неверия в смерть* и было главным влиянием отца?

Тетеньки

В «Воспоминаниях» Толстой пишет, что самой важной фигурой в его воспитании («в смысле влияния на мою жизнь») была тетушка Татьяна Александровна Ёргольская.

Но как это могло случиться? Ведь она приходилась ему дальней родней. Отец Ёргольской — двоюродный брат его бабушки по отцовской линии Пелагеи Николаевны Толстой.

Появление Танечки Ёргольской в доме Ильи Андреевича и Пелагеи Николаевны описано в «Воспоминаниях»: «Она и сестра ее Лиза остались маленькими девочками, бедными сиротками от умерших родителей. Были еще несколько братьев, которых родные кое-как пристроили, девочек же решили взять на воспитание знаменитая в своем кругу в Чернском уезде и в свое время властная и важная Татьяна Семеновна Скуратова и моя бабушка. Свернули билетки, положили под образа, помолившись, вынули, и Лизанька досталась Татьяне Семеновне, а черненькая — бабушке».

«Черненькая» — это Танечка, Туанетт, как ее называли Толстые.

В сложной системе расстановки героев и прототипов «Войны и мира» Тане отведена скромная роль воспитанницы семьи Ростовых — Сони. Это один из самых неприметных женских образов романа. Судить по нему о настоящей Татьяне Александровне нельзя. Но верно то, что, как Соня была влюблена в Николая Ростова, и Николай Ростов любил ее, так и отец Толстого Николай Ильич и Татьяна Александровна с детских лет любили друг друга.

Татьяна Александровна была, в сущности, приживалкой, хотя и не в совсем чужом доме. Сначала она росла вместе с Николаем Толстым и, как это часто случается в романах, была в него влюблена. И Николай Толстой был влюблен в кузину, причем в гораздо большей степени, чем Николай Ростов — в свою бедную родственницу. Николай Ильич был вынужден жениться на Марии Волконской без любви, по расчету, но, женившись, был счастлив. Его жена знала о любви мужа к Туанетт. Ёргольская была красива или, во всяком случае, привлекательна. Но Мария Николаевна никогда не проявляла ревности к Туанетт, которая стала жить с ними в Ясной Поляне. Во время отъездов Ёргольской к сестре Елизавете в Покровское Мария Николаевна писала ей письма, в которых чувствуются неподдельные нежность и уважение. Тем не менее проблема любовного треугольника, видимо, всё-таки была. Просто она не развивалась, потому что все участники треугольника понимали силу сложившихся обстоятельств.

Но эти обстоятельства изменились после смерти Марии

Николаевны. Туанетт к тому времени было 38 лет, Николаю Ильичу — 36. И он сделал ей предложение. Той, которую любил всю жизнь. Но Туанетт ему отказала.

После внезапной смерти Николая Ильича его дети остались сиротами. Старшему, Николаю, в день смерти отца исполнилось 14 лет. За несколько месяцев до смерти Николая Ильича, в январе 1837 года, семья переехала в Москву, чтобы мальчики «привыкали к свету». Кроме того, старшие готовились в университет. Поселились в просторном съемном доме на Плющихе.

В Москве бабушка Пелагея Николаевна, привыкшая к беспечной жизни и при муже, и при сыне Николае, занималась собой и своим горем от потери любимого сына. Фактически братья оказались в руках французского гувернера Тома, которого младший, Лев, сильно невзлюбил.

Москва не пришлась по душе Лёве. Его удивило, что люди при встрече с ним не снимают шапок и не здороваются. Впервые в жизни ему пришел в голову вопрос: что же еще может занимать этих людей, «ежели они несколько не заботятся о нас»? Не оценил он и прелестей городских развлечений. Его удивило, что сторож не пустил их гулять в частный сад, который детям так понравился. В Большом театре, сидя в ложе, он не мог понять, что нужно смотреть вбок на сцену, и весь спектакль глазел на ложи напротив. Москва была шумной, пыльной, многолюдной, и он с тоской вспоминал «луг перед домом, высокие липы сада, чистый пруд, над которым вьются ласточки, синее небо, на котором остановились белые прозрачные тучи, пахучие копны свежего сена» и многое другое, за что он всю жизнь так любил свою Ясную Поляну...

Всё изменилось после смерти бабушки весной 1838 года. При бабушке невозможно было поменять барский, на широкую ногу, уклад жизни в Москве. Но после ее кончины встал вопрос о сокращении расходов.

Теперь опекуницей несовершеннолетних детей стала старшая сестра их отца Александра Ильинична Остен-Сакен. Женщине было трудно вести запутанные имущественные дела брата. Кроме того, у нее самой были проблемы с личной жизнью. Александра (Aline) Толстая в раннем возрасте вышла замуж за богатого остзейского графа. Тот оказался психически больным человеком, беспричинно ревновавшим ее. Когда жена была беременна, он решил, что «враги» хотят ее отнять у него, посадил ее в коляску, а по пути, достав из ящика два пистолета, предложил убить друг

друга. Свой выстрел он сделал первым. На счастье, рана оказалась не смертельной, но после нервного потрясения Аline родила мертвого ребенка. Ей об этом не сообщили, а принесли девочку, родившуюся в это же время у жены повара. Александра Ильинична ушла от мужа и жила с родителями, а после женитьбы брата Николая переехала в Ясную Поляну, а затем вместе со всей семьей Толстых — в Москву. С ними жила и ее приемная дочь Пашенька, та самая, которую поменяли на мертвого ребенка. Толстой почему-то запомнил «особенный кислый запах тетушки Александры Ильиничны, вероятно, происходивший от неряшества ее туалета. И это была та грациозная, с прекрасными голубыми глазами, поэтическая Аline, любившая читать и списывать французские стихи, игравшая на арфе и всегда имевшая большой успех на самых больших балах...».

Было решено оставить в Москве с Александрой Ильиничной и гувернером Тома двух старших мальчиков, Николая и Сергея, а младших, Митю и Льва, вместе с сестрой Машей отправить назад в Ясную Поляну с Татьяной Александровной и гувернером Федором Рёсселем, которого, несмотря на его склонность к пьянству, вернули в дом. «Московская» часть семьи отказалась от большого особняка, переехав на небольшую, дешевую квартиру, а «яснополянская» — с радостью вернулась в «пенаты».

Трудно сказать, как сложилось бы мировоззрение Толстого, если бы этого не произошло. Но вот факт. Старшие братья Николай и Сергей, которых воспитывал француз Тома, для пущей важности заставлявший называть себя *Сен-Тома*, то есть «святой», в будущем оказались религиозно индифферентными людьми, проще говоря, атеистами. А Митя, Лев и Маша взрослыми прошли, каждый по-своему, религиозный путь.

Впрочем, все тетушки Толстого были истово верующими. У Александры Ильиничны набожность имела черты религиозной экзальтации. Когда после смерти отца она поселилась у брата в Ясной Поляне, то окружила себя «странниками, юродивыми, монахами и монашенками, из которых некоторые жили всегда в нашем доме, некоторые только посещали тетушку». «В числе почти постоянно живших у нас была монахиня Марья Герасимовна, крестная мать моей сестры, ходившая в молодости странствовать под видом юродивого Иванушки. Крестной матерью сестры Марья Герасимовна была потому, что мать обещала ей взять ее кумой, если она вымолит у Бо-

га дочь, которую матери очень хотелось иметь после четырех сыновей. Дочь родилась, и Марья Герасимовна была ее крестной матерью и жила частью в тульском женском монастыре, частью у нас в доме», — пишет Толстой в «Воспоминаниях». Александра Ильинична любила общаться с известными монахами, например со старцем Леонидом в Оптиной пустыни. Она соблюдала все посты, много молилась. У нее никогда не было своих средств, потому что она всё раздавала просящим.

Летом 1841 года во время пребывания в Оптиной пустыни она тяжело заболела. Навестить ее приехала Татьяна Александровна с Николаем и Машей Толстыми. Увидев племянников, тетушка заплакала от радости и через день скончалась без страданий, в полном сознании. По легенде, благословляя одиннадцатилетнюю Машу, духовник тетушки старец Леонид (в миру Лев Наголкин) сказал: «Маша, будешь наша». Через 49 лет Мария Николаевна стала духовной дочерью оптинского старца Амвросия, чьим наставником был отец Леонид, а затем постриглась в женский Шамординский монастырь.

Младшая сестра Александры Ильиничны, Пелагея (Полина) Ильинична, тоже была религиозна. Но ее увлечение Церковью носило более светский характер. Проживая в Казани замужем за отставным гусарским полковником и помещиком Владимиром Ивановичем Юшковым, она любила архиереев, монастыри, вышивку по канве и золотом, которую раздавала по монастырям. Но больше ее заботили манеры, туалеты и расстановка мебели в большом доме.

После смерти старшей сестры в 1841 году она получила от племянника Николая отчаянное письмо, в котором тот умолял не оставить бедных сирот одних, потому что, кроме нее, у них нет никого на белом свете. Она прослезилась и, как пишет Софья Андреевна Толстая, «задалась мыслью *se sacrifier**». Братья Толстые с сестрой переехали в Казань, а Татьяна Александровна Ёргольская отказалась — она не ладила с Пелагеей Ильиничной — и осталась в Ясной Поляне.

Едва ли Пелагея Ильинична могла иметь на племянников серьезное влияние. Она вообще не пользовалась в доме авторитетом. Муж ее не любил, не уважал и вел весьма распутный образ жизни. Племянники росли сами по себе, а Машу определили в Родионовский институт благородных

* Принести себя в жертву (фр.).

девиц. После того как племянники окончили университет и уехали из Казани, а Мария была выдана замуж, Пелагея Ильинична оставила неверного мужа и стала жить по монастырям. Наконец она обосновалась в келье женского монастыря недалеко от Тулы. В 1875 году Пелагея Ильинична перебралась в Ясную Поляну к племяннику Льву, уже женатому и отцу многодетного семейства, и там вскоре скончалась.

Когда в 1841 году все дети были вынуждены уехать в Казань к новой опекушке, Татьяна Александровна осталась одна. Она пишет в дневнике: «Одиночество ужасно! Из всех страданий это самое тяжелое. Что делать с сердцем, если некого любить? Что делать с жизнью, если некому ее отдать?»

Но пятью годами ранее, 6 августа 1836-го, она записала на клочке бумаги: «Николай сделал мне сегодня странное предложение — выйти за него замуж, заменить мать его детям и никогда их не покидать. В первом предложении я отказала, второе я обещалась исполнять, пока я буду жива». Задумалась ли тогда Татьяна Александровна, почему это предложение поступило не спустя положенный год, а через шесть лет после смерти Марии Николаевны? Последовавшая менее чем через год смерть Николая Ильича всё расставила по местам.

Стало понятно, что предложение Николая Ильича было продиктовано разумными соображениями. Он, видимо, предчувствовал свою скорую смерть и хотел, чтобы дети остались под крылом той, которая их любила... как детей любимого ею человека. И при этом у нее были бы все законные права и на детей, и на имущество. Татьяна Александровна рассудила иначе — и совершила ошибку.

Толстой пишет в «Воспоминаниях»: «Должно быть, она любила отца, и отец любил ее, но она не пошла за него в молодости для того, чтобы он мог жениться на богатой моей матери, впоследствии же она не пошла за него потому, что не хотела портить своих чистых, поэтических отношений с ним и с нами». «Главная черта ее была любовь, — продолжает Толстой, — но как бы я ни хотел, чтобы это было иначе — любовь к одному человеку — к моему отцу. Только уже исходя из этого центра, любовь ее разливалась и на всех людей. Чувствовалось, что она и нас любила за него, через него и всех любила, потому что *вся жизнь ее была любовь*».

Религиозности главной в его жизни тетушки Татьяны Александровны Ёргольской Лев Николаевич в «Воспоми-

наниях» пропел настоящий гимн. В эти строки нужно вчитаться. В них содержится зерно, из которого выросло то, что так неудачно называют *религией Толстого*. О том, что Толстой создал какую-то свою религию, придумал «Бога в самом себе», не писал только ленивый. На самом деле не было никакой специальной религии Толстого. Но многие душевные основания его веры и понимания, как нужно верить, чтобы религия не превращалась в пустой обряд, были заложены в нем Татьяной Александровной Ёргольской.

«Она делала внутреннее дело любви, и потому ей не нужно было куда торопиться. И эти два свойства — любовь и неторопливость — незаметно влекли в близость к ней и давали особенную прелесть в этой близости. От этого, как я не знаю случая, чтобы она обидела кого, я и не знаю никого, кто бы не любил ее. Никогда она не говорила про себя, никогда о религии, о том, как надо верить, о том, как она верит и молится. Она верила во всё, но отвергала только один догмат — вечных мучений. “Dieu qui est la bonté même ne puet pas vouloir nos souffrances”*. Я, кроме как на молебнах и панафидах, никогда не видал, как она молится. Я только по особенной приветливости, с которой она встречала меня, когда я иногда поздно вечером после прощанья на ночь заходил к ней, догадывался, что я прервал ее молитву».

Это и была высшая степень религиозной свободы, когда верится так, как верится, а не как предписано или придумано. Татьяна Александровна, в отличие от позднего Толстого, не отвергала все церковные догматы — может быть, просто никогда не задумывалась над ними. Но один догмат, о загробных мучениях, она отрицала твердо. Может быть, потому, что именно он вступал в противоречие с природой ее веры, проистекавшей из ее человеческой и даже ее женской природы? «Никогда она не учила тому, как надо жить, словами, никогда не читала нравоучений, вся нравственная работа была переработана в ней внутри, а наружу выходили только ее дела — не дела — дел не было, а вся ее жизнь, спокойная, кроткая, покорная и любящая не тревожной, любящейся на себя, а тихой, незаметной любовью».

Это и был тот религиозный идеал, о котором Толстой мечтал всю жизнь. И все его нравственные разногласия со своей эпохой и даже со всей историей цивилизации про-

* Бог, который сама доброта, не может хотеть наших страданий (фр.).

истекали отсюда, из комнаты его тетушки, куда он заходил поздним вечером.

Как и в случае с Марией Николаевной Толстой, не существует ни одного живописного портрета Татьяны Александровны. А фотографировать себя она, по-видимому, не позволяла.

Когда Татьяна Александровна, забывшись, обращалась к любимому племяннику Лёве, называя его *Nicolas* (есть такие свидетельства), что он при этом должен был чувствовать? Что на самом деле он думал об отце и матери, понимая, что рожден в браке, который заключен, может, и на небесах, но всё-таки не по любви?

После отъезда детей в Казань она поселилась у сестры в Покровском. Когда младший, Лев, стал собственником Ясной Поляны, то пригласил ее жить в своем доме. И она была несказанно благодарна! В своих записках она раскрыла тайну: о чем — вернее, о ком — она молилась вечерами в своей комнате. «Я была так счастлива почувствовать себя им (Львом. — *П. Б.*) любимой, что в этот момент я забыла жестокое страдание, угнетающее мое сердце... Видеть, что существует душа столь любящая, было для меня счастьем... Днем и ночью я призываю на него благословение неба» (запись 1850 года).

Удивительной была ее смерть... «Уже когда я был женат и она начала слабеть, — пишет Толстой, — она раз, выждав время, когда мы оба с женой были в ее комнате, она, отвернувшись (я видел, что она готова заплакать), сказала: “Вот что, *mes chers ami*, комната моя очень хорошая и вам понадобится. А если я умру в ней, — сказала она дрожащим голосом, — вам будет неприятно воспоминание, так вы меня переведите, чтобы я умерла не здесь”». Потом он страдал оттого, что они с женой послушались тетеньку и она перешла жить в тесную комнату возле людской, в которой после ее смерти действительно никто из семьи не жил. И еще он сожалел о том, что по скупости своей иногда отказывал ей в маленьких радостях — фениках и шоколаде, которыми она его же и угощала...

«Умирала она тихо, постепенно засыпая, и умерла, как хотела, не в той комнате, где жила, чтобы не испортить ее для нас. Умирала она, почти никого не узнавая. Меня же узнавала всегда, улыбалась, просиявала (так у Толстого. — *П. Б.*), как электрическая лампочка, когда нажмешь кнопку, и иногда шевелила губами, стараясь произнести *Nicolas*, перед смертью уже совсем нераздельно соединив меня с тем, кого она любила всю жизнь».

Братья

«Николеньку я уважал, с Митенькой я был товарищем, но Сережей я восхищался и подражал ему, любил его, *хотел быть им...*» — признается Толстой в «Воспоминаниях».

Здесь ключевое слово — «подражал». «*Хотел быть им*», выделяемое курсивом самим автором «Воспоминаний», означает только высшую степень подражания — желание абсолютного внутреннего и внешнего сходства с превозносимым человеком. Не случайно в следующих строках Толстой замечает, что понятие «любил» в отношении Сергея неверно. «Николеньку я любил, а Сережей восхищался, как чем-то совсем мне чуждым, непонятным».

Это была не любовь... Вернее, не только любовь... Любовь, конечно, тоже была. Лев любил Сергея всю жизнь, как и Сергей — Льва. Тем более что из четырех братьев только Лев и Сергей оказались долгожителями, да еще и почти соседями по имениям. Ясная Поляна находилась в 35 верстах от Пирогова, где Сергей Николаевич жил и скончался в 1904 году, на шесть лет опередив младшего брата. Читая переписку братьев, и в молодости, и в старости, сразу чувствуешь эту глубокую, трепетную связь между двумя кровно связанными существами, которую не спутаешь ни с какой другой — ни с любовью мужчины и женщины, ни с христианской любовью. Недаром в народе говорят: *две кровиночки*.

В 1902 году, незадолго до смерти, Сергей Николаевич в последний раз побывал в Ясной Поляне. Он, кажется, понимал, что это было именно в последний раз. Он не очень любил бывать у брата, после того как тот стал центром внимания и притяжения всего мира. Не потому что завидовал. Он никогда никому не завидовал. Но это мешало их непосредственному братскому общению. И потом, человек умный и всегда честный в отношении себя и других, он понимал дистанцию между собой и братом.

Вернувшись в Пирогово, он писал ему: «...давно мне ничего не было такого приятного, как мой приезд в Ясную, но у меня тоже была мысль о том, как бы я невольно не сказал или не сделал бы чего неприятного вам, что легко могло случиться, так как я отвык от людей, даже самых близких, и это был мой первый выезд из Пирогова после более трех лет, а у вас я встретил и венгерцев-криминалистов, и евреев-банкиров, и Бутурлина, и Абрикосовых, приехавших от Черткова, и всё это очень любопытно, но одичавшему

человеку трудно; поэтому у меня всё время, как оказалось, был пульс горячечный, и я мог и сказать что-нибудь такое, что и не должен был говорить. Приехавши домой, я вспомнил, что я не поговорил с тобой о многом, о чем именно хотел поговорить, но поговорить с тобой хотелось так много, что во всяком случае всего бы не успел; когда теперь придется увидаться, Бог знает».

Во время его приезда сделали фотографический снимок. Два старичка сидят друг напротив друга. Они похожи внешне, но дистанция между ними огромна! И кажется, недаром старший брат отвел взгляд в сторону. В отличие от младшего, который смотрит в упор, как смотрел в это время уже на всех, никого и ничего не боясь. Этот знаменитый взгляд, испытующий, пронизывающий, проникающий в самую душу, описали многие, кто бывал в Ясной Поляне в последние годы жизни писателя. На брата он, конечно, смотрит не так. Но смотрит — в упор. А Сергей Николаевич — в сторону.

Жизнь всё изменила и расставила по своим местам. Тот, кому Лёва хотел подражать (*хотел быть им*), стал обычным тульским помещиком. Да, по-своему интересным. Своенравным. Аристократом в самом точном смысле этого слова. Он жил в своем имении, как в замке, почти безвыездно, как старик Болконский в «Войне и мире», ни в ком и ни в чем не нуждаясь. Даже — в Церкви, которую не любил, игнорировал, не исповедуясь и не причащаясь десятками лет и вступая в конфликт с тульской консисторией*.

Всё равно — обыкновенным помещиком.

После его жизни не осталось ничего выдающегося. Даже красивую усадьбу его, Пирогово, в которой любил бывать младший брат, задумавший здесь «Хаджи-Мурата», сожгли мужики в 1919 году. И будем откровенны: сожгли еще и потому, что не очень любили покойного хозяина — он был с ними слишком суров. Находившийся в этом же имении дом его сестры Марии Николаевны не сожгли. Ее мужики любили.

«...с Сережей мне хотелось только подражать ему, — пишет Толстой в «Воспоминаниях», еще и еще раз называя это слово. — С первого детства началось это подражание. Он завел кур, цыплят своих, и я завел таких же. Едва ли это было не первое мое вникновение в жизнь животных.

* Консистория Русской православной церкви — учреждение при епископе по управлению епархией.

Помню разной породы цыплят: серенькие, крапчатые, с хохолками, как они бегали на наш зов, как мы кормили их и ненавидели большого голландского, старого, облезлого петуха, который обижал их. Сережа и завел этих цыплят, выпросив их себе; то же сделал и я, подражая ему. Сережа на длинной бумажке рисовал и красками расписывал (мне казалось, удивительно хорошо) подряд разных цветов кур и петушков, и я делал то же, но хуже».

Подражая, всегда делаешь хуже. Так и в Казани Лев неудачно подражал Сергею, блестящему студенту математического факультета, ученику самого Николая Ивановича Лобачевского.

Сергей замечательно пел, рисовал, был интересным собеседником. Главное, он был *comme il faut**. Он умел изысканно одеваться и подавать себя.

Лев пытался делать то же самое, но — хуже.

Стараясь подражать Сергею, он становится карикатурой. Сергей был гордый, уверенный в себе. Ему было наплевать на мнение окружающих. Толстой отмечает в брате эту главную черту, которой он страшно завидовал, — эгоизм. Но и непосредственность. Таким он и оставался до старости, как пишет о нем младший брат: «...таким, каким был: совсем особенным, самым собою, красивым, породистым, гордым и, главное, до такой степени правдивым и искренним человеком, какого я никогда не встречал».

Лёва тоже старался выглядеть *comme il faut*. Очень старался. Но так старался, что порой выходило смешно.

В воспоминаниях бывшего студента Казанского университета 1840-х годов Валерияна Николаевича Назарьева юный Лев описан с беспощадной иронией. Кстати, опубликованы они были уже в 1890 году, когда Толстой был признан всем миром как великий человек.

«В первый раз в жизни встретился мне юноша, преисполненный такой странной и непонятной для меня важности и преувеличенного довольства собою». Граф сразу оттолкнул его «напускной холодностью, щетинистыми волосами и презрительным выражением прищуренных глаз». Назарьев проницательно замечает его «неуклюжесть и застенчивость». Но при этом, стараясь примкнуть к кружку студенческой аристократии, молодой Толстой «едва отве-

* Букв. как должно (*фр.*). Воспитанный, соответствующий правилам хорошего тона.

чал на мои поклоны, точно хотел показать, что и здесь мы далеко не равны, так как он приехал на рысаке, я пришел пешком».

«Самый пустяшный малый», — добродушно называет Льва в письмах ему Сергей. А домашний учитель, студент Поплонский, так говорил о талантах братьев Толстых: «Сергей и хочет, и может, Дмитрий хочет, но не может, а Лев и не хочет, и не может».

Тем не менее биограф Толстого Н. Н. Гусев заметил важную вещь. Поступив в Казани на восточное отделение университета, Лев провалил первые экзамены. Но при этом он не получил ни одной посредственной оценки. Либо «колы», либо «пятерки» и «четверки». «Колы» — история, география, статистика. «Четверки» — математика и словесность. И — блестящее знание языков: французский (пять с плюсом), немецкий, арабский, турецко-татарский. «Создается впечатление, — пишет Гусев, — что ни одного спрашиваемого предмета Толстой не знал посредственно: то, что его спрашивали, он знал или отлично и хорошо, или не знал совершенно...»

Из четверых братьев Толстых один только Лев не окончил учебного заведения и не имел никакого систематического образования — ни гимназического, ни университетского. С отделения восточных языков перевелся на юридический, но и его бросил.

А вот его братья окончили университет и могли служить по военной или гражданской части. В то время молодым дворянам так полагалось — послужить. Старший, Николай, в 1844 году поступил на военную службу в артиллерию и вскоре перевелся на Кавказ. Сергей после университета был зачислен в императорскую гвардию, где реально служил только год, а затем, до выхода в отставку в чине капитана, вел светский образ жизни в Москве и Туле, «цыганерствовал», как выражался его брат Николай, то есть увлекался знаменитыми цыганскими хорами и цыганками, на одной из которых, Марии Шишкиной, впоследствии и женился...

Николай, тезка отца и любимец матери, служил для младших братьев чем-то вроде недостижимого идеала. Лев Николаевич вспоминал, что они обращались к нему на «вы». Он был существенно старше их всех, даже Сергея — почти на три года.

«Он был удивительный мальчик и потом удивительный человек, — пишет о нем Толстой. — Тургенев говорил

про него очень верно, что он не имел только тех недостатков, которые нужны для того, чтобы быть писателем. Он не имел главного нужного для этого недостатка: у него не было тщеславия, ему совершенно неинтересно было, что думают о нем люди».

Тургенев здесь не просто упомянут. Он был верховным литературным авторитетом пятидесятых—шестидесятых годов в то время, когда два брата, Лев и Николай, вступали на писательское поприще. Лев сделал это первым, в сентябре 1852 года опубликовав в журнале «Современник» повесть «Детство». Спустя месяц Николай читал ему вслух свой очерк «Охота на Кавказе», который сам же Лев послал редактору «Современника» поэту Некрасову. Некрасов нашел, что Николай «тверже владеет языком», чем младший брат. Высоко ценил его и Тургенев, с которым они были дружны. Все данные, чтобы стать писателем, были у Николаеньки, а не у Лёвы. Ведь Лёва только всем подражал. Даже кур собственных нарисовать не мог, воровал у Сережи. Николаенька придумал «Фанфаронову гору», на которую обещал вести братьев, если они выполнят три условия: во-первых, стать в угол и не думать о белом медведе; во-вторых, пройти, не оступившись, по шелке между половицами; в-третьих, в продолжение года не видать зайца, живого или мертвого и даже жареного. Понятно, что абсолютно невыполнимым было уже первое условие. Николаенька был весь в мать. Неистощимый выдумщик! «Воображение у него было такое, что он мог рассказывать сказки или истории с привидениями или юмористические истории в духе *the Radcliff** без остановки и запинки целыми часами и с такой уверенностью в действительность рассказываемого, что забывалось, что это выдумка». В это же время он рисовал чертей в самых разнообразных позах, и эти рисунки «тоже были полны воображения и юмора».

Николай, если можно так выразиться, и Кавказ «придумал» для Льва. Ведь это за своим старшим братом он помчался туда весной 1851 года, потому что жизнь его в это время была такая «безалаберная, распушенная, что он был готов на всякое изменение ее». То есть и здесь он брату *подражал*.

Николай умер рано, в 1860 году, от чахотки во французском городке Гиере на руках Льва. Но, сравнивая «Дет-

* *Анна Радклиф* (1764—1823) — английская писательница, одна из основательниц жанра готического романа.

ство» с «Охотой на Кавказе», можно с уверенностью сказать, что великим писателем Николай не стал бы. Слог-то твердый, а дыхания гения нет. Нет того ангела-утешителя, который прилетает к детской кроватке, чтобы утереть дитяти слезы («Детство»).

Главной чертой Николая, которую он тоже унаследовал от матери, была «середина». «Не эгоизм и не самоотвержение, — пишет о нем Толстой, — а строгая середина. Он не жертвовал собой никому, но никогда никому не только не повредил, но не помешал. Он и радовался, и страдал в себе одним».

Может быть, поэтому Толстой и не нашел для него в своей прозе подходящего героя. Что в жизни хорошо, для литературы не годится. Например, Сергей отразился в образе Андрея Болконского. Безупречные манеры, внешний вид, острословие. Но Андрей Болконский, в отличие от Сергея, был карьеристом — конечно, не в прошлом, а в «наполеоновском» смысле. Сергей карьеристом не был. И по той же самой причине — не было тщеславия. Слишком равнодушен к «мнению людей».

Равнодушен к нему был и Дмитрий. Митя с детства был серьезен. «И я тоже хотел в этом подражать ему», — признаётся Толстой. В раннем возрасте Дмитрий, может быть, под влиянием тетушки Ёргольской, стал очень религиозным. «Религиозные стремления, естественно, направили его на церковную жизнь. И он предался ей, как он всё делал, до конца. Он стал есть постное, ходить на все церковные службы и еще строже стал относиться к себе». То же случится с самим Толстым в конце семидесятых годов, в начале «духовного переворота». Он тоже станет есть постное и ходить на все церковные службы, пока не разочаруется в Церкви. Выходит, что и здесь Лёва вроде бы *подражал* Мите.

Даже знаменитое толстовское «опрощение» придумал не он, а Митя. «Он не танцевал и не хотел этому учиться, студентом не ездил в свет, носил один студенческий сюртук с узким галстуком...» Однажды Митя заявился к князю Дмитрию Александровичу Оболенскому в фуражке и нанковом пальто, под которым... ничего не было. «Он находил это излишним». У Оболенского были гости, и он предложил визитеру раздеться, но тот сел в пальто посреди зала и, не стесняясь присутствием гостей, обратился к князю с вопросом: где ему «лучше служить, чтобы принести больше пользы?».

Дмитрий умер раньше Николая, в 1856-м. Тоже от чахотки. До этого с ним случился «переворот»: дотоле ведший правильный образ жизни, он «вдруг стал пить, курить, мотать деньги и ездить к женщинам». Впрочем, и здесь он оказался «серьезен». «Ту женщину, проститутку Машу, которую он первую узнал, он выкупил и взял к себе».

В «Анне Карениной» Дмитрий стал прототипом брата Константина Левина, Николая. И так же, как в романе, младший брат посетил старшего перед его смертью. Дмитрий умирал в Орле. «Он был ужасен, — пишет Толстой в «Воспоминаниях». — Огромная кисть его руки была прикреплена к двум костям локтевой части, лицо было — одни глаза и те же прекрасные, серьезные, а теперь выпытывающие. Он беспрестанно кашлял и плевал, и не хотел умирать, не хотел верить, что он умирает. Рябая, выкупленная им Маша, повязанная платочком, была при нем и ходила за ним. При мне по его желанию принесли чудотворную икону. Помню выражение его лица, когда он молился на нее...»

В 1904 году, умирая в Пирогове, в присутствии опять-таки младшего брата Льва, Сергей пожелал исповедаться, причаститься. За священником отправился Лев.

И когда Николай умирал в Гиере, стоически, без икон и священников, единственным его помощником и «исповедником» был младший брат Лев. Он помогал ему одеваться и выслушивал его жалобы. Как-то так вышло, что именно Лев оказался рядом со всеми тремя старшими братьями перед их смертью. Он, который всегда подражал. Который казался «самым пустяшным малым». Он стал свидетелем конца жизненного пути кумиров своего детства, отрочества и юности. Ведь все они были лучше или, по крайней мере, гораздо интереснее, чем он...

Он — Лев Толстой.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

БЕГЛЕЦ

(1847—1862)

Утро помещика

В начале июля 1847 года в Ясной Поляне собрались братья Толстые: Николай, Сергей, Дмитрий и Лев, — чтобы подписать подготовленный их опекуном, помещиком Александром Сергеевичем Воейковым, отдельный акт о наследстве, доставшемся им от отца.

По тогдашним законам дочери из родительского наследства получали одну четырнадцатую часть движимого имущества и одну восьмую недвижимого, остальное поровну делилось между сыновьями. Братья Толстые решили выделить сестре Марии равную с ними часть наследства. В результате Николай получил имение Никольское в Чернском уезде Тульской губернии, Сергей — Пирогово в Крапивенском уезде вместе с конным заводом, Дмитрий стал собственником Щербачевки в Курской губернии, а Марии отошли 150 душ крестьян и 904 десятины земли в том же Пирогове, где на всю жизнь поселится Сергей. Льву досталась Ясная Поляна с 1470 десятинами земли и 300 крестьянских душ.

Согласно устным воспоминаниям Сергея Николаевича, младший брат сам просил остальных отдать ему Ясную, хотя по доходности это было худшее из четырех имений. Возможно, причиной тому был не только семейный идеализм Льва, мечтавшего обосноваться непременно в родовом гнезде, но и другая черта характера, которую в нем отметил всё тот же Сергей: *презрение к деньгам*.

Вступление в права наследства, по-видимому, стало главной причиной того, что Лев, единственный из братьев, не получил высшего образования. Ко времени подписания отдельного акта трое старших братьев уже окончили или оканчивали Казанский университет. Младший же только начинал учиться, да еще и менял факультеты. Почувствовав себя полноправными помещиками, молодые люди не-

медленно отправились в свои владения. Так же поступил и Лев. Но для этого пришлось оставить университет.

Однако расставание с университетскими стенами не слишком опечалило юношу. Судя по воспоминаниям В. Н. Назарьева, с которым Толстой незадолго до выхода из университета оказался в карцере за прогул лекций, университетской наукой он тяготился. «Что вынесем мы из университета? — говорил он в карцере. — Подумайте и отвечайте по совести. Что вынесем мы из этого святилища, возвратившись восвояси, в деревню? На что будем пригодны, кому нужны?»

Девятнадцатого апреля 1847 года он получил увольнение из числа студентов юридического факультета, а 1 мая уже был в Ясной Поляне. Из Казани его провожали дружной компанией. Как рассказывает историк Н. П. Загоскин, «в квартиру братьев Толстых, во флигеле дома Петонди, собралась небольшая кучка студентов, желавших проводить Льва Николаевича в далекий и трудный по условиям сообщения того времени путь... Как водится, за отъезжающего выпили, наказав ему всякого рода пожеланий... Товарищи проводили Льва Николаевича до перевоза через Казанку, которая находилась в полном разливе, и здесь в последний раз отдали ему последнее целование».

Чтобы представить себе состояние Толстого, покидавшего Казань в апреле 1847 года, заглянем в первую известную запись в его дневнике, сделанную незадолго до этого: «17 марта 1847 года. Казань. Вот уже шесть дней, как я поступил в клинику, и вот шесть дней, как я почти доволен собою. *Les petite causes produisent de grands effets**. — Я получил *Гаонарею*, понимается, от того, от чего она обыкновенно получается...»

Начало самостоятельного пути Толстого и его творчества (в старости он будет считать дневник главным произведением своей жизни) совпадает с самой постыдной болезнью, которой может заболеть восемнадцатилетний юноша. Он заразился гонореей от казанской проститутки. Но при этом «почти доволен собой». Постыдная болезнь не угнетает его, но обращается в духовную пользу. Это прекрасный повод, чтобы задуматься над жизнью и поставить перед собой вопрос: «Кто ты?» Сами условия клиники благоприятствуют этому. «Здесь я совершенно один, мне никто не мешает, здесь у меня нет услуги, мне

* Малые причины производят большие следствия (фр.).

никто не помогает — следовательно, на рассудок и память ничто постороннее не имеет влияния, и деятельность моя необходимо должна развиваться».

Но о какой «деятельности» может идти речь во время стационарного лечения гонореи? В этом-то и весь фокус! С первой же дневниковой записи Толстой разделяет деятельность внешнюю и внутреннюю, отдавая предпочтение, конечно, второй. По его мнению, только предоставленный самому себе человек, в каком бы физическом и моральном состоянии он ни находился, способен жить подлинной жизнью. В этом главное условие человеческой свободы.

«Оставь действовать разум, он укажет тебе на твое назначение, он даст тебе правила, с которыми смело иди в общество. Всё, что сообразно с первенствующею способностью человека — разумом, будет сообразно со всем, что существует; разум отдельного человека есть часть всего существующего, а часть не может расстроить порядок целого. Целое же может убить часть».

Но кто он? Недоучившийся студент, «пустяшный малый». Весь сотканный из посторонних влияний. Подражающий то Николеньке, то Сереже, то Мите. И уже тронутый тем, что он метко называет в первой дневниковой записи «ранним развратом души». И вот этим состоянием он «доволен». Потому что именно с этой точки открывается подлинная, а не вымышленная перспектива жизни.

Надо только *остаться наедине с самим собой...*

Спустя два месяца, в Ясной Поляне, он сформулирует главный принцип, согласно которому будет строить свою жизнь. «Дойду ли я когда-нибудь до того, чтобы не зависеть ни от каких посторонних обстоятельств? По моему мнению, это есть огромное совершенство; ибо в человеке, который не зависит ни от какого постороннего влияния, дух необходимо по своей потребности превзойдет материю, и тогда человек достигнет своего назначения».

Но до этого ему еще очень далеко.

А пока он становится помещиком.

В обывательском представлении существует расхожий образ Толстого — богатого помещика. Дескать, именно положение богатого помещика давало ему возможность жить независимо и писать что вздумается. Этот взгляд во многом спровоцировал сам Толстой, который после пережитого им «духовного переворота» испытывал мучительный стыд за свою «роскошную жизнь» в соседстве с крестьянской нищетой. В этом свете и знаменитое толстовское «опроще-

ние», попытка «слияния с народом» многим видится своего рода барской прихотью. Вольно ему было пахать и косить, когда в его распоряжении были барский дом со слугами и лакеями, письменный стол с библиотекой и два рояля для услаждения музыкального слуха...

На самом деле опыт Толстого-помещика с самого начала оказался плачевным. Об этом в начале пятидесятых годов он написал два автобиографических произведения — «Утро помещика» и незаконченный «Роман русского помещика». Из этих вещей с очевидностью следует, что ни по своему характеру, ни по условиям экономической жизни того времени молодой Толстой не мог состояться как помещик.

Он отправился в деревню с намерением «сделать, сколько возможно, своих крестьян счастливыми». Герой «Утра помещика» девятнадцатилетний князь Нехлюдов перед тем, как бросить университет и посвятить себя сельской жизни, пишет своей тетушке (ее прототипом была Т. А. Ёргольская):

«Милая тетушка.

Я принял решение, от которого должна зависеть участь всей моей жизни. Я выхожу из университета, чтоб посвятить себя жизни в деревне, потому что чувствую, что рожден для нее. Ради Бога, милая тетушка, не смейтесь надо мной. Вы скажете, что я молод; может быть, точно я еще ребенок, но это не мешает мне чувствовать свое призвание, желать делать добро и любить его».

В ответе тетушки, написанном по-французски (именно так писала любимому племяннику Татьяна Александровна), указывается на три ошибки, которые совершает Нехлюдов:

«Ты говоришь, что чувствуешь призвание к деревенской жизни, что хочешь сделать счастье своих крестьян и что надеешься быть добрым хозяином. 1) Я должна сказать тебе, что мы чувствуем свое призвание только тогда, когда уж раз ошибемся в нем; 2) что легче сделать собственное счастье, чем счастье других, и 3) что для того, чтоб быть добрым хозяином, нужно быть холодным и строгим человеком, чем ты едва ли когда-нибудь будешь, хотя и стараешься притворяться таким».

Последняя ошибка была, пожалуй, самой главной. Молодой Толстой только «притворялся» помещиком, играл чужую роль, думая, что играет свою.

С раннего утра Нехлюдов, «напившись кофею», ходит по деревне с записной книжкой и пачкой ассигнаций в кармане.

В записной книжке отмечены нужды крестьян, которые он собирается удовлетворить с помощью ассигнаций, полученных им за счет использования рабского труда. Крестьяне это понимают или бессознательно чувствуют. И потому все разговоры крестьян с помещиком превращаются в театр абсурда с его приемом «испорченной коммуникации». Говоря с ним, крестьяне держат в уме одно: вытянуть из доброго барина как можно больше денег. При этом они играют роль послушных рабов, которые согласны со всеми резонами своего владельца, желающего их осчастливить за их же счет. Нехлюдов же как чуткий юноша понимает или, опять же, бессознательно чувствует ложность своего положения, всю искусственность своей роли «благодетеля», но боится признаться в этом.

Вот характерный диалог Нехлюдова с пятидесятилетним крестьянином Иваном Чурисом, которого он, молодой человек, про себя именует *Чурисенком*.

«— Вот пришел твое хозяйство проведать, — с детским дружелюбием и застенчивостью сказал Нехлюдов, оглядывая одежду мужика. — Покажи-ка мне, на что тебе сохи, которые ты просил у меня на сходе.

— Сошки-то? Известно, на что сошки, батюшка ваше сиятельство. Хоть мало-мальски подпереть хотелось, сами изволите видеть; вот анадись угол завалился; еще помиловал Бог, что скотины в ту пору не было. Все-то еле-еле висят, — говорил Чурис, презрительно осматривая свои раскрытые кривые и обрушенные сараи. — Теперь и стропила, и откосы, и перемёты только тронь — глядишь, дерева дельного не выйдет. А лесу где нынче возьмешь? сами изволите знать.

— Так на что тебе пять сошек, когда один сарай уже завалился, а другие скоро завалятся? Тебе нужны не сошки, а стропила, перемёты, столбы, — всё новое нужно, — сказал барин, видимо шеголяя своим знанием дела.

Чурисенок молчал.

— Тебе, стало быть, нужно лесу, а не сошек; так и говорить надо было.

— Вестимо нужно, да взять-то негде: не всё же на барский двор ходить! Коли нашему брату повадку дать к вашему сиятельству за всяким добром на барский двор кланяться, какие мы крестьяне будем? А коли милость ваша на то будет, насчет дубовых макушек, что на господском гумне так, без дела лежат, — сказал он, кланяясь и переминаясь с ноги на ногу, — так, може, я которые подменю, которые поурежу и из старого как-нибудь соорудую.

— Как же из старого? Ведь ты сам говоришь, что всё у тебя старо и гнило; нынче этот угол обвалится, завтра тот, послезавтра третий; так уж ежели делать, так делать всё заново, чтоб недаром работа пропадала. Ты скажи мне, как ты думаешь, может этот двор простоять нынче зиму или нет?

— А кто е знает!

— Нет, ты как думаешь? Завалится он — или нет?

Чурис на минуту задумался.

— Должон весь завалиться, — сказал он вдруг».

Это напоминает начало «Мертвых душ» Гоголя, где у гостиницы города N два мужика обсуждают, «доедет то колесо, если б случилось, в Москву, или не доедет»: «Доедет», — отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» — «В Казань не доедет». Кстати, «Мертвые души» были в списке книг, которые оказали наибольшее влияние на Толстого в возрасте от четырнадцати до двадцати лет. И очень возможно, что во время написания этой сцены Толстой помнил о начале гоголевской поэмы. Но в то же время в 1890 году в разговоре со своим первым зарубежным биографом Рафаилом Лёвенфельдом Толстой утверждал, что все эпизоды разговоров Нехлюдова с крестьянами не были выдуманы, что всё это было пережи-то им лично.

В середине октября 1848 года Толстой уехал в Москву.

Пустяшный малый

В середине лета 1847 года Толстой перестает вести дневник и возвращается к нему только через три года, в июне 1850-го. Но, едва начав писать, он вновь его забрасывает, теперь на пять месяцев, и возобновляет лишь в декабре. Что происходило с ним за это время?

«Пустившись в жизнь разгульную, — пишет он 8 декабря 1850 года, — я заметил, что люди, стоявшие ниже меня всем, в этой сфере были гораздо выше меня; мне стало больно, и я убедился, что это не мое назначение».

И вновь мы имеем дело с одной из самых важных черт натуры Толстого — его способностью обращать свои жизненные поражения в духовную пользу...

Его первый опыт в роли помещика вроде бы тоже был неудачным. Толстой был слишком азартен для этого, в отличие от своего будущего товарища Афанасия Фета, который умел сочетать гениальный лирический дар с холод-

ной расчетливостью деревенского хозяина. Но именно этот опыт позволил Толстому написать «Утро помещика», затем «деревенские» страницы «Войны и мира» и «Анны Карениной», «Поликушку», «Власть тьмы» и другие произведения. На этот удивительный «перевертыш», когда поражение вдруг оборачивается победой, шутливо указывал старший брат писателя Сергей в разговоре с племянником Сергеем Львовичем: «Вашего отца приказчик обворует на 1000 рублей, а он его опишет и получит за это описание 2000 рублей: тысяча рублей в барышах».

Он оставался «в барышах» в результате всех поражений. Не были исключением и три беспутных года, проведенные в Москве и Петербурге, когда он оказался «без денег и кругом должен».

В июне 1850-го он пишет в дневнике: «Зиму третьего года я жил в Москве, жил очень безалаберно, без службы, без занятий, без цели; и жил так не потому что, как говорят и пишут многие, в Москве все так живут, а просто потому что такого рода жизнь мне нравилась».

Ему нравилось, что «все гостинные открыты для него, на каждую невесту он имеет право иметь виды» и «нет ни одного молодого человека, который бы в общем мнении света стоял выше его». В Москве он поселился в районе Арбата во флигеле дома поручицы Дарьи Ивановны Ивановой в Малом Николопесковском переулке, где проживала семья Перфильевых. Василий Степанович Перфильев, или «Васенька», как называет его Толстой в дневнике, был женат на дочери скандально знаменитого Федора Ивановича Толстого-Американца, двоюродного дяди Льва Толстого, изображенного Пушкиным в «Евгении Онегине» в виде дуэлянта Зарецкого и Грибоедовым в «Горе от ума» в случайном образе, который мелькает в монологе Репетилова:

Не надо называть, узнаешь по портрету:
Ночной разбойник, дуэлист,
В Камчатку сослан был, вернулся алеутом,
И крепко на руку нечист...

Перфильев был чиновником и занимал разные административные должности. В семидесятые годы он даже стал московским губернатором. В то же время это был беспечный и легкомысленный человек. Его имя в раннем дневнике Толстого часто упоминается в связи с кутежами. По-видимому, Перфильев послужил прототипом само-

го беспутного, но и самого симпатичного персонажа «Анны Карениной» — Стивы Облонского. Самому Перфильеву это сравнение не нравилось, и Толстой из деликатности его отрицал. Но свояченица Толстого Татьяна Андреевна Кузминская и сослуживец Перфильева Владимир Константинович Истомин утверждали, что между Стивой и «Васенькой» было несомненное сходство.

Светская жизнь в Москве предполагала игру в карты, и Толстой отдал дань этой традиции. Здесь сказалось и отмеченное в нем братом Сергеем «презрение к деньгам». «Мне не нравится то, что можно приобрести за деньги, но нравится, что они были и потом не будут — процесс истребления», — писал он в дневнике.

В результате Лев проиграл большую сумму денег некоему Орлову. Но вместо того чтобы уехать в Ясную Поляну, как сначала собирался и обещал в письме Ёргольской («Теперь мне всё это страшно надоело, я снова мечтаю о своей деревенской жизни и намерен скоро к ней вернуться»), сбежал в Санкт-Петербург.

Это было именно бегство, а не сознательный поступок, что понятно из другого письма тетушке Ёргольской. Уезжали в Петербург два его московских приятеля, Озеров и Ферзен. У Толстого были деньги, и он «сел в дилижанс и поехал вместе с ними».

Из Петербурга Толстой отправляет брату Сергею отчаянное письмо с просьбой во что бы то ни стало раздобыть денег, потому что на нем висит «проклятый орловский долг». Вместе с другими долгами это составляло 1200 рублей серебром, и он умоляет брата выручить его за счет продажи хлеба, а если одного хлеба будет недостаточно, то и «Савина леса».

Он начинает проматывать наследство отца.

Ведь что такое лес в полустепной Тульской губернии? Это — золото! Вспомним разговор Нехлюдова и Чурисенка в «Утре помещика». Лес — это то, что легче всего продать и труднее всего приобрести. Ясная Поляна — красивое название, но вспомним, как называет ее Толстой в «Войне и мире». Лысые Горы.

Но карточный долг — долг чести! И старший брат с пониманием относится к просьбе младшего. «Лес твой продал...» — пишет он ему и обещает «вперед 1100 рублей». Но к этому времени Лев успел наделать новых долгов, увлекшись игрой в бильярд. 1 мая он пишет Сергею еще одно отчаянное письмо, где просит продать уже деревню Ма-

люю Воротынку, доставшуюся ему по наследству вместе с Ясной Поляной. «Ты, я думаю, уже говоришь, что я *самый пустяшный малый*; и говоришь правду. — Бог знает, что я наделал! — Поехал без всякой причины в Петербург, ничего там путного не сделал, только прожил пропасть денег и задолжал. — Невыносимо глупо. — Ты не поверишь, как это меня мучает. — Главное — долги, которые мне *нужно* заплатить, и *как можно скорее*, потому что ежели я их заплачу нескоро, то я сверх денег потеряю и репутацию».

В этом же письме он ищет себе оправдания: «Я знаю, ты будешь ахать, но что же делать, глупости делают раз в жизни. Надо было мне поплатиться за свою свободу и философию, вот я и поплатился».

На самом деле Петербург поначалу подействовал на него отрезвляюще. Петербургская жизнь сильно отличалась от московской. В Москве-матушке всякий молодой человек с именем и титулом, имеющий небольшой доход и не имеющий никакого образования и положения по службе, был желанным гостем в любом светском собрании. Петербург же предъявлял молодым людям другой счет...

В Северной столице нужно было делать карьеру. И Толстому это нравится. «Петербургская жизнь, — пишет он брату Сергею, — на меня имеет большое и доброе влияние. Она меня приучает к деятельности и заменяет для меня невольное расписание; как-то нельзя ничего не делать — все заняты, все хлопочут, да и не найдешь человека, с которым бы можно было вести беспутную жизнь, — одному же нельзя».

И он «намерен остаться навеки» в Петербурге. У него серьезные планы. Выдержать экстерном экзамен на кандидата права в Петербургском университете, а если не получится, всё-таки поступить на службу, гражданскую или военную.

Последняя даже больше привлекает его. В Венгрии как раз вспыхнула революция, и австрийский император запросил помощи у Николая I. 28 апреля 1849 года был обнародован манифест о частичной мобилизации русских войск для подавления венгерского мятежа. Толстой был готов поступить юнкером в Кавалергардский полк, «ежели война будет сурьезная». Но причиной этому было вовсе не искреннее желание повоевать. Дело в том, что служба в военное время давала возможность скорейшего получения офицерского чина. Толстой пишет Сергею, что «с счастьем, т. е., ежели гвардия будет в деле, я могу быть произведен и прежде 2-летнего срока».

Однако ни одному из этих планов не было суждено осуществиться. Сравнительно легко выдержав первые экзамены в университете, Толстой по неизвестной причине не стал сдавать остальных. На войну тоже не пошел.

Тем не менее Петербург всё-таки оказал на него правильное влияние. Это случилось парадоксальным образом. В Петербурге, в отличие от Первопрестольной, его честолюбие было задето. Он убедился, что разгульная жизнь — не то, в чем он может быть *первым*.

Зиму 1849/50 года и лето он провел в Ясной Поляне, занимаясь сельским хозяйством, развлекаясь гимнастикой и музыкой вместе с сильно пьющим немцем-музыкантом Рудольфом, которого привез с собой из Москвы. Тогда же было положено начало его педагогической деятельности — предпринята попытка организации школы для крестьянских детей. Одновременно он регулярно навещается в Тулу и Москву, продолжает играть в карты, проигрывая до четырех тысяч рублей. В это же время увлекается цыганским пением, что впоследствии нашло отражение в пьесе «Живой труп». В целом это была та же беспутная жизнь, без смысла, без постоянных занятий. А ему ведь исполнилось уже 22 года — серьезный возраст для того времени.

В декабре 1850 года Толстой переезжает в Москву, снимает квартиру на Сивцевом Вражке за 40 рублей в месяц. В дневнике он ставит перед собой три цели, ради которых вернулся в Москву: «1) попасть в круг игроков и при деньгах играть; 2) попасть в высокий свет и при известных условиях жениться; 3) найти место, выгодное для службы».

Это всё, к чему он пришел к 22-летнему возрасту.

Сам себе шпион

И кто бы мог подумать, что этот беспутный молодой человек, этот «самый пустяшный малый» на самом деле жил *не просто так*, без руля и без ветрил! Нет, он подчинялся строгим «правилам», которые с самого начала ведения дневника формулировал перед собой и тщательно следил за их исполнением!

Уже 24 марта 1847 года, еще до выписки из университетской клиники, он пишет в дневнике: «Я много переменился; но всё еще не достиг той степени совершенства (в занятиях), которого бы мне хотелось достигнуть. — Я не ис-

полняю того, что себе предписываю; что исполняю, то исполняю не хорошо, не изошряю памяти. — Для этого пишу здесь некоторые правила, которые, как мне кажется, много мне помогут, ежели я буду им следовать...»

И он записывает шесть «правил». К важнейшим из них можно отнести следующие: «Что назначено непременно исполнить, то исполняй, не смотря ни на что»; «Что исполняешь, исполняй хорошо»; «Никогда не справляйся в книге, ежели что-нибудь забыл, а старайся сам припомнить»; «Не стыдись говорить людям, которые тебе мешают, что они мешают; сначала дай почувствовать, а ежели они не понимают, то извинись и скажи ему это».

В январе 1847 года Толстой начинает вести «Журнал ежедневных занятий». На протяжении полугода он записывает в двух графах то, что должен исполнить в назначенный день, и то, как он это исполнил. Судя по журналу, динамика была положительной. Если сначала вторая графа пестрела записями «ничего», «опоздал», «проспал», то начиная с марта гораздо чаще встречается твердое «исполнил».

До мая это касалось главным образом университетских занятий. Но с переездом в Ясную Поляну появляются новые «задания»: «хозяйство», «лошади», «счетоводство». Одновременно он продолжает заниматься самообразованием, опять же по намеченному в Казани «плану». В «плане» значится изучение юриспруденции, медицины, французского, русского (так!), немецкого, английского, итальянского и латинского языков, теоретических и практических основ сельского хозяйства, истории, географии, математики и статистики. Он намечает себе написать диссертацию и «достигнуть средней степени совершенства в музыке и живописи».

Понятно, что это не могло быть исполнено даже наполовину. Но очень важно, что с самого начала самостоятельной жизни Толстой строго разграничивал то, что «должно», с тем, что «есть».

Какую бы беспутную жизнь ни вел молодой Толстой, он не давал ни малейшей поблажки своему «внутреннему» человеку. И эти «ножницы» между «внешним» и «внутренним» терзали его.

Этим он отличался от старших братьев. Николай нашел себя в военной службе и чувствовал себя вполне комфортно. Сергей поначалу пустился во все тяжкие, служил в гвардии, вел рассеянную светскую жизнь в Москве и Туле, «цы-

ганерствовал», но затем прочно осел в Пирогове. Дмитрий отправился в свое имение Щербачевка, где под влиянием только что изданных «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголя собирался воспитывать крестьян. «Он, — писал Толстой в «Воспоминаниях», — малый двадцати лет (когда он кончил курс), брал на себя обязанность руководить нравственностью сотен крестьянских семей и руководить угрозами наказаний и наказаниями».

У младшего же главная работа обращается *внутрь себя*.

И это не праздный философ, которого процесс мысли привлекает сам по себе. Это *практический* философ. Восемнадцати лет от роду, в феврале 1847 года, он пишет незавершенный отрывок «Правила жизни», который поражает ясностью и глубиной представления о назначении человека в мире. «Деятельность человека, — пишет этот юноша, — проявляется в трех отношениях. 1) в отношении к Высшему существу, 2) в отношении к равным себе существам и 3) в отношении к самому себе. По этому разделению видов деятельности человека я и правила мои разделяю на три части. 1) Правила в отношении к Богу или — религиозные, 2) правила в отношении к людям или правила внешние и 3) правила в отношении к самому себе или — внутренние. Задача правил в отношении к Богу или религиозных есть а) определить: что есть Бог, б) что есть человек и с) какие могут быть отношения между Богом и человеком. — Правила внешние или в отношении к людям должны определить: а) правила в отношении к подчиненным, б) в отношении к равным и с) в отношении к начальникам. Правила в отношении к самому себе имеют задачей определить: как должно поступать а) при своем нравственном или религиозном образовании, б) при внешнем образовании и с) при физическом или телесном образовании».

Правила «внешние» (отношение к людям) и «внутренние» (отношение к себе) он прописывает с невероятной тщательностью, прибегая к каким-то одному ему понятным таблицам.

Он даже двигаться не мог бесконтрольно. «Стараться сделать на следующий день то же количество движений, как и накануне, если не больше». Это относилось к гимнастическим упражнениям. Толстой придает им очень важное значение. Например, упражнениям с гирями или даже с полотенцем: «Держа полотенце, провести руки над головою и за спиною».

Это касается и памяти. Память он тоже считает орга-

ном, который необходимо ежедневно тренировать: «Каждый день учить стихи на таком языке, который ты слабо знаешь...»

Это касается и чувств. Необходимо тренировать себя в любви к людям, «чтоб каждый день любовь твоя ко всему роду человеческому выражалась бы чем-нибудь». А с другой стороны, «старайся как можно больше находить людей, которых бы ты мог любить больше, чем всех ближних...».

И, наконец, это касается развития воли, «чтобы ничто внешнее, телесное или чувственное не имело влияния на направление твоей мысли, но чтобы мысль определяла сама себя». Толстой стремится к состоянию аскета, «чтобы никакая боль, как телесная, так и чувственная, не имела влияния на ум».

В марте 1851 года, проживая в Москве, он записывает себе в дневнике новое задание: «Составить журнал для слабостей (франклиновский)». Бенджамин (тогда говорили Вениамин) Франклин (1706—1790), американский просветитель и государственный деятель, один из авторов Декларации независимости и Конституции США, привлек внимание молодого Толстого не своими заслугами, а тем, что с юности старался сознательно формировать самого себя. Толстой узнал, что Франклин завел себе особую записную книжку, где отмечал, какие нравственные правила преступил за прошедший день.

«Франклиновская тетрадь» Толстого, которую он называл «франклиновскими таблицами», до нас не дошла. Но его дневник и отдельная тетрадь для «правил» позволяют примерно представить себе, что это были за «таблицы». По сути, Толстой породил в своем воображении «двойника», жестокого соглядатая, который терзал его бесконечными замечаниями не только о том, что он *сделал*, но и чего он *не сделал* в течение дня.

Вот запись от 7 марта: «*Нынче*. Утром долго не вставал, ужимался, как-то себя обманывал. Читал романы, когда было другое дело; говорил себе: “Надо же выпить кофею”, — как будто нельзя ничем заниматься, пока пьешь кофей. С Колошиным не называю вещи по имени, хотя мы оба чувствуем, что приготовление к экзамену есть пух, я ему это ясно не высказал. Пуаре принял слишком фамильярно и дал над собою влияние незнакомству, присутствию Колошина и grand-seigneur-ству* неуместному. Гимнасти-

* Великосветской важности (фр.).

ку делал торопясь. К Горчаковым не достучался от *fausse honte**. У Колошиных скверно вышел из гостиной, слишком торопился и хотел сказать что-нибудь любезное — не вышло. В Манеже поддался *mauvais humeur*** и по случаю барыни забыл о деле. У Бегичева хотел себя высказать и, к стыду, хотел подражать Горчакову. *Fausse honte*. Ухтомскому не напомнил о деньгах. Дома бросался от рояли к книге и от книги к трубке и еде. О мужиках не обдумал. Не помню, лгал ли? Должно быть. К Перфильевым и Панину не поехал от необдуманности».

Некоторые «ошибки», которые он якобы совершил в течение дня, просто абсурдны. Например, не поехал к Перфильеву и Панину — ну и что? Также нельзя не заметить, что за один и тот же «грех» Толстой казнит себя неоднократно, только называя его другим именем. Его «двойник» ведет себя как зануда-наставник. И этим он, пожалуй, даже неприятен.

Существует точка зрения, что таким образом молодой Толстой воспитывал в себе «аристократа». Возможно, это и так. В молодые годы он придавал огромное значение внешнему поведению и тому, как на него смотрят в светском обществе. Но привычка «шпионить» за собой, ежедневно записывать отчеты о своем поведении сохранилась у него и после отказа от «аристократизма». И поэтому интереснее другая точка зрения, которую много лет спустя после смерти отца высказала его старшая дочь Татьяна Львовна Сухотина-Толстая:

«...единственная причина, почему книги, взгляды и жизнь отца настолько выше общего уровня и приковали к нему внимание всего света, эта та, что он всю жизнь искренно сознавал и изо всех сил боролся со своими страстями, пороками и слабостями. Его громадный талант, гений доставили ему заслуженную литературную славу среди так называемого “образованного общества”, но что всякий крестьянин из всякого глухого угла знал, что может обратиться к нему за сочувствием в делах веры, самосовершенствования, сомнений и т. п., — этому он обязан тем, что ни одного греха, ни одной слабости в себе он не пропустил, не осудив ее и не постаравшись ее побороть. Натура же у него была не лучше многих, может быть, хуже многих. Но он никогда в жизни не позволил себе сказать, что черное — бе-

* Ложного стыда (*фр.*).

** Дурному расположению духа (*фр.*).

лое, а белое — черное или хотя бы серое. Остроумное сравнение числителя дроби с наличными качествами человека и знаменателя с его мнением о себе более глубоко, чем оно кажется.

У папá был огромный числитель и маленький знаменатель, и потому величина была большая».

Сравнение человека с дробью — поздняя формула Толстого. Числитель — то, что человек представляет собой в реальности, а знаменатель — то, что он о себе думает. И эта формула действительно более глубока, чем кажется. В ней важна не только и, может быть, даже не столько величина числителя. Гораздо важнее величина знаменателя.

В конце концов, человек как числитель представляет собой *единицу*. Считать, что он представляет собой 5 или 12, или 50 тысяч — слишком произвольно и сомнительно. Но вот его мнение о себе может быть бесконечно огромным или бесконечно малым. Поэтому истинная величина человека как дроби зависит только от знаменателя, а не от числителя. Чем меньше единицы знаменатель — тем больше величина личности. И наоборот, чем он больше единицы, тем меньше остается от личности.

Когда Толстой начинал вести свой «франклиновский дневник», он едва ли думал об этом. Но этим был задан импульс всей его будущей жизни. Из случайного подражания американцу (опять подражания!) родился новый Толстой, открывший закон духовной свободы.

Нужно *быть*, а не *казаться*!

Кавказский пленник

Новый, 1851 год Толстой встретил в дороге.

В конце декабря 1850-го после трехлетней разлуки приехал с Кавказа Николай Толстой и остановился в имении сестры Маши и ее мужа Валериана Петровича Толстого (их дальнего родственника) Покровское. Получив письмо от брата, Лев 31 декабря выехал из Москвы и уже 1 января был в Покровском. Туда же приехал и Дмитрий из Курска. Сергея Николай навестил в Туле и остался недоволен его состоянием и поведением.

«Сережа, — писал он Льву в Москву, — продолжает цыганерствовать, ночи там, а днем сидит по целым часам невымытый и нечесанный на окошке. Он оживляется только тогда, когда кто-нибудь из цыган приносит ему известия о

Маше (цыганке Марии Шишкиной. — П. Б.)... Я заметил, что ты прав: “Сережа находится в большой опасности совершенно опуститься”. Он сидит в Туле, где, по его мнению, все, кроме цыган, каналы».

По-видимому, разговор о Сереже произошел между Николаем и Львом в Покровском на праздновании Нового года. И любопытно, что теперь уже младший брат, «самый пустяшный малый», высказывал свои опасения по поводу старшего.

В декабре 1850 года Сергей написал Льву в Москву несколько писем, в которых просил устроить его дела, и финансовые, и связанные со службой. Но это была небольшая перемена ролей. Сам Лев признавался, что перед отъездом на Кавказ вел в Москве «совершенно скотскую» жизнь. Карты, долги, те же цыгане... И отсутствие хоть какого-нибудь труда...

Это была жизнь барчука, который хотел стать аристократом, понимая это как совокупность внешних манер с умением поставить себя в обществе.

О состоянии ума молодого Толстого можно судить по одному эпизоду в Казани, где Лев и Николай оказались по пути на Кавказ. Этот эпизод рассказал П. И. Бирюков со слов самого Льва Николаевича.

«Настроение Льва Николаевича во время этой поездки продолжало быть самое глупое, светское. Он рассказывал, как именно в Казани брат его заставил его почувствовать его глупость. Они шли по городу, когда мимо них проехал какой-то господин на долгуше, опершись руками *без перчаток* на палку, упертую в подножку.

— Как видно, что какая-то дрянь этот господин.

— Отчего? — спросил Николай Николаевич.

— А без перчаток.

— Так отчего же дрянь, если без перчаток? — с своей чуть заметной ласковой, умной насмешливой улыбкой спросил Николай Николаевич».

Зачем он отправился на Кавказ? Скорее всего, его уговорил Николенька. Но, судя по дневнику Льва, между братьями во время встречи в Покровском не было настоящего взаимопонимания. «Был в Покровском, виделся с Николенькой, он не переменялся, я же очень много, и мог иметь на него влияние, ежели бы он не был столько странен; он или ничего не замечает и не любит меня, или старается делать, как будто он не замечает и не любит».

Еще осенью 1848 года Толстой едва не уехал в Сибирь со своим будущим зятем Валерианом Толстым. Он вскочил к нему в тарантас в одной блузе, без шапки, и не уехал, возможно, только потому, что забыл шапку. Таким же образом через год он бежал из Москвы в Петербург, вскочив в дилижанс к товарищам.

В письме тетеньке Т. А. Ёргольской Толстой назвал отъезд на Кавказ «*soup de tête*» — «внезапной фантазией». Она тоже считала, что, «отправляясь на Кавказ, он не строил никаких планов. Его юное воображение говорило ему: в значительных обстоятельствах человек должен отдаваться на волю случая, этого искусного регулятора всего» (запись в дневнике).

Тетушка лучше других понимала характер племянника. Во всём, что не касалось внутреннего мира, он был абсолютным фаталистом. Легко менял внешние условия жизни, отдаваясь на волю случая. Легко бросил университет, легко оставил хозяйство и легко отказался от светской жизни ради суровой службы на Кавказе. Ну а Николенька? Сыграл роль подручного случая.

Но, разумеется, для этого внезапного отъезда, а проще говоря, *бегства*, были свои причины. О них говорится в начале повести «Казачи», где рассказывается об отъезде на Кавказ князя Оленина, альтер эго автора. Толстой бежал на Кавказ, запутавшись в долгах, в женщинах, в «скотской» жизни, надеясь, что кавказская природа, воспетая русскими поэтами и прозаиками, а также опасная служба повернут его на путь истинный.

Не случайно черновое название повести было «Беглец». Поездка на Кавказ была организована братьями в стиле романтического приключения. До Саратова ехали на лошадях, а оттуда до Астрахани арендовали большую лодку с парусом, лоцманом и двумя гребцами. Лодка была настолько большой, что на ней поместилась их коляска. Почти месяц длился этот вояж. Впоследствии Толстой вспоминал о нем как о «лучших днях своей жизни».

По дороге, в Казани, как и положено в романтическом путешествии, он испытал любовь к Зинаиде Молоствовой, подруге сестры Маши по Родионовскому институту. «Она не была красавицей, — писала об этой девушке ее племянница, — но удивительно стройна, обаятельна и интересна». Зинаида была почти невестой чиновника особых поручений Николая Васильевича Тиле, и это придавало их любви какой-то зыбкий, призрачный и потому особенно волнующий

щий характер. На балу в Родионовском институте Зинаида Молоствовва танцевала мазурку почти исключительно с Толстым. Видимо, он тоже нравился девушке. На Кавказе он запишет в дневнике: «Помнишь Архиерейский сад, Зинаида, боковую дорожку. На языке висело у меня признание, и у тебя тоже. Мое дело было начать; но, знаешь, отчего, мне кажется, я ничего не сделал. Я был так счастлив, что мне нечего было желать, я боялся испортить свое... не свое, а наше счастье».

Он хотел отправить Зинаиде письмо с Кавказа, но... не знал ее отчества — Модестовна. Так, ничем, и закончилась эта первая в жизни Толстого история любви.

Оказавшись в казачьей станице Старогладковской, где служил Николенька, он 30 мая 1851 года пишет в дневнике: «Как я сюда попал? Не знаю. Зачем? Тоже...»

Тем не менее некоторые из его мечтаний оправдались. Природа Кавказа пленила Толстого. Особенно горы! «Вдруг он увидал, шагах в двадцати от себя, как ему показалось в первую минуту, чисто-белые громады с их нежными очертаниями и причудливую, отчетливую воздушную линию их вершин и далекого неба. И когда он понял всю даль между им и горами и небом, всю громадность гор, и когда почувствовалась ему вся бесконечность этой красоты, он испугался, что это призрак, сон. Он встряхнулся, чтобы проснуться. Горы были всё те же... “Теперь началось”, — как будто сказал ему какой-то торжественный голос...» («Казачи»).

Но сама станица Старогладковская была расположена в низине, горы оттуда не просматривались. Офицерские же нравы были не столько суровые, сколько грубые. Здесь офицер вполне мог сказать другому: «Здравствуй, морда!»

«Офицеры все, — писал Толстой тетушке, — совершенно необразованные, но славные люди и, главное, любящие Николеньку». Но Николай был здесь *своим*, а его младшему брату пришлось привыкать к новым отношениям.

«Какой-то офицер говорил, что он знает, какие я штуки хочу показать дамам, и предполагал только, принимая в соображение свой малый рост, что, несмотря на то, что у него в меньших размерах, он такие же показать может» (дневниковая запись от 4 июля 1851 года).

На Кавказе были разжалованные в рядовые из офицеров, лишенные дворянства за уголовные или политические преступления. Их собирательный образ Толстой дал в рассказе «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный». Это солдат Гуськов — неприятный и даже отвратительный, хотя

и жалкий, тип. Это другой взгляд на «бедного», «маленького» человека, нежели тот, что был принят в русской литературной традиции. Гуськов вызывает жалость, но не сострадание. Он выманивает у незнакомых офицеров деньги на водку, на карточную игру. Он старается быть с ними запанибрата, но при этом постоянно заискивает.

Одним из прототипов Гуськова был Александр Матвеевич Стасюлевич, разжалованный за неизвестный проступок, который он совершил, будучи начальником караула тифлисской тюрьмы. По одной версии, он за взятку помог бежать нескольким заключенным. По другой — его подчиненные отпускали по ночам закоренелых бандитов, которые грабили и убивали в ночном Тифлисе, а добычей делились с охраной. Он был родным братом известного историка и журналиста М. М. Стасюлевича, впоследствии редактора журнала «Вестник Европы», в котором печатались И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, А. Н. Островский, М. Е. Салтыков-Щедрин, П. Д. Боборыкин и другие писатели. А вот его брат, пройдя рядовым Кавказскую и Крымскую кампании и вернув себе офицерский чин, неожиданно покончил с собой довольно странным образом: вошел в реку в меховой шубе и утонул.

Другими прототипами Гуськова были Александр Иванович Европеус и Николай Сергеевич Кашкин — участники кружка Петрашевского, в котором состоял и Федор Михайлович Достоевский. Во время службы Толстого на Кавказе Достоевский отбывал наказание на каторге в Омске. Так, косвенным образом, пересеклись судьбы двух великих русских писателей.

Служба Толстого на Кавказе, где он провел два с половиной года (с июня 1851-го по январь 1854-го), оставляет сложное впечатление. Кавказские очерки (кроме «Разжалованного» — «Набег», «Рубка леса», «Дяденька Жданов и кавалер Чернов», «Как умирают русские солдаты») сильно отличаются от того, что Толстой затем написал в осажденном Севастополе. За исключением патетического рассказа о том, «как умирают русские солдаты», очерки написаны скорее в критическом ключе, несмотря на то, что Толстой был убежден в справедливости Кавказской войны.

Но он чувствовал, что своя правда есть и у горцев. Жесткая тактика войны с планомерным вытеснением местного населения с плодородных земель в бесплодные ущелья с разорением аулов и вырубкой лесов, которые могли быть удобными местами для засад, едва ли могла нравиться-

ся Толстому. Да, он понимал, что «в войне русских с горцами справедливость, вытекающая из чувства самосохранения, на нашей стороне. Ежели бы не было этой войны, что бы обеспечивало все смежные богатые и просвещенные русские владения от грабежа, убийств, набегов народов диких и воинственных?» (черновой вариант очерка «Набег»). К тому же горцев искусно поддерживали Англия и Турция, у которых имелись свои интересы в этом регионе.

Но Толстой не был политиком, да, в сущности, не был и военным по своей природе. Постепенно он привыкал к походному быту и даже стал находить в нем приятные стороны: охота, вольная жизнь, наслаждение природой... Толстого привлекали простые отношения между людьми, ежедневно подвергавшимися смертельной опасности. В среде солдат и офицеров он открыл немало прекрасных и мужественных людей. Например, батарейный командир Алексеев, с которым он переписывался еще девять лет после службы на Кавказе, или уральский казак Хилковский, «старый солдат, простой, но благородный, храбрый и добрый», или молодой офицер Бумеский, послуживший прототипом прапорщика Аланина в очерке «Набег», а возможно, и Пети Ростова в «Войне и мире».

Но обратимся к «Набегу», где описывается один из карательных походов против горцев, в котором участвовал Толстой. На его глазах нелепо погибает тот самый «хорошенький прапорщик» Аланин, который «беспрестанно подъезжал к капитану и просил его позволения броситься на ура...».

«— Мы их отобьем, — убедительно говорил он, — отобьем.

— Не нужно, — кротко отвечал капитан, — надо отступить».

При взятии чеченского аула русские не встретили сопротивления, но при отступлении в первом же перелеске попали в засаду. Вот почему мальчишка так рвался в бой... Ему не терпелось принять участие в настоящем деле! Он еще не понимал настоящей тактики. Он хотел *справедливой войны!*

«Прекрасные черные глаза его блестели отвагой».

Когда прапорщик умирал, «он был бледен, как платок, и хорошенькая головка, на которой заметна была только тень того воинственного восторга, который одушевлял ее за минуту перед этим, как-то странно углубилась между плеч и спустилась на грудь...».

Перед этим он спас козленка, которого хотели зарезать казаки в ауле. Жалобное бление козленка он принял за плач ребенка и бросился на его защиту!

«— Не трогайте, не бейте его! — кричал он детским голосом».

Кавказские очерки Толстого содержат немало сцен насилия, в том числе над своими же солдатами. В незавершенном очерке «Дяденька Жданов и кавалер Чернов» рассказывается о рекруте из Саратовской губернии. Паренька били все кому не лень за то, что этот «дурачок» не умел служить. «Его били на ученье, били на работе, били в казармах. Кротость и отсутствие дара слова внушали о нем самое дурное понятие начальникам; а у рекрутов начальников много: каждый солдат годом старше его мыкает им куда и как угодно... Его выгоняли на ученье, — он шел, давали в руку тесак и приказывали делать рукой так, — он делал, как мог, его били — он терпел. Его били не затем, чтобы он делал лучше, но затем, что он солдат, а солдата нужно бить. Выгоняли его на работу, он шел и работал, и его били, били опять не затем, чтобы он больше или лучше работал, но затем, что так нужно... Когда старший солдат подходил к нему, он снимал шапку, вытягивался в струнку и готов был со всех ног броситься, куда бы ни приказали ему, и, ежели солдат поднимал руку, чтоб почесать в затылке, он уже ожидал, что его будут бить, жмурился и морщился...»

В кавказских очерках Толстого проявилось то, что составит основу его мировоззрения. *Неприятие насилия любого рода*. Над козленком, ребенком или солдатом. Всё это вызывает в нем либо отвращение, либо задумчивую грусть, как в случае с гибелью Аланина. Эта смерть буквально напоминает гибель Пети Ростова, который за день до смерти угощал офицеров изюмом и жалел пленного французского мальчика.

Не случайно ни «Набег», ни «Рубка леса», ни «Разжалованный», которые печатались в журнале «Современник» тогда же, когда выходили «Детство», «Отрочество», «Юность» и «Севастопольские рассказы», принешие автору огромный читательский успех, почти не были замечены публикой и критикой. К *такому* Толстому еще нужно было привыкнуть. Принять (или не принять?) его правоту (или неправоту?) в крайне радикальном взгляде на мир, где никакое насилие не может иметь оправдания.

Да, на Кавказе Толстой во многом продолжает тот образ жизни, который он вел и в Москве, и в Петербурге, и

в Туле. Опять карты, девки... Он проигрывает свои деньги, деньги брата, залезает в долги и пишет покаянные письма тетушке Ёргольской. Кавказский период, увы, заканчивается тем же, чем и казанский, — лечением от неприятной болезни. Но, читая дневник Толстого этого времени, не говоря уже о «Детстве», мы видим, как неожиданно вырастает этот будущий духовный гигант. И всё это происходит *вдруг*.

Вдруг в первые же дни пребывания на Кавказе он испытывает сильнейшее религиозное потрясение, которое сам не может не только объяснить, но даже описать точными словами.

Запись от 12 июня: «Вчера я почти всю ночь не спал, пописавши дневник, я стал молиться Богу. — Сладость чувства, которое испытал я на молитве, передать невозможно. Я прочел молитвы, которые обыкновенно творю: Отче, Богородицу, Троицу, Милосердия Двери, воззвание к Ангелу хранителю и потом остался еще на молитве. Ежели определяют молитву просьбою или благодарностью, то я не молился. — Я желал чего-то высокого и хорошего; но чего, я передать не могу; хотя и ясно сознавал, чего я желаю. — Мне хотелось слиться с Существом всеобъемлющим. Я просил Его простить преступления мои; но нет, я не просил этого, ибо я чувствовал, что ежели Оно дало мне эту блаженную минуту, то Оно простило меня. Я просил и вместе с тем чувствовал, что мне нечего просить, и что я не могу и не умею просить. Я благодарил, да, но не словами, не мыслями. Я в одном чувстве соединял всё, и мольбу, и благодарность. Чувство страха совершенно исчезло. — Ни одного из чувств веры, надежды и любви я не мог бы отделить от общего чувства. Нет, вот оно чувство, которое я испытал вчера, — это любовь к Богу. — Любовь высокую, соединяющую в себе всё хорошее, отрицающую всё дурное».

Это потрясение закончилось вроде бы ничем: «...плотская — мелочная сторона опять взяла свое, и не прошло и часу, я почти сознательно слышал голос порока, тщеславия, пустой стороны жизни; знал, откуда этот голос, знал, что он погубит мое блаженство, боролся и поддался ему. Я заснул, мечтая о славе, о женщинах; но я не виноват, я не мог. — Вечное блаженство здесь невозможно. Страдания необходимы. Зачем? не знаю...»

И это напоминает его первое впечатление от приезда на Кавказ: «Как я сюда попал? Не знаю. Зачем? Тоже».

Кавказ пробудил в Толстом *нечто*. Это был второй по мощи внутренний толчок после того, который он испытал в университетской клинике. Еще один этап его духовного рождения.

Не случайно именно на Кавказе он пишет «Детство». Писать его он начал раньше, находясь в Москве и Ясной Поляне, но закончить смог именно на Кавказе. По-видимому, сама кавказская природа, прозрачный горный воздух, как и прозрачные отношения между людьми, способствовали этому. «Детство» — первая законченная вещь Толстого. И сразу — великое произведение. *Вдруг* в русскую и мировую литературу пришел новый гений.

С публикацией «Детства» в «Современнике» был связан один курьез. Посылая повесть в Петербург, Толстой не решился назвать себя полным именем и подписался инициалами «Л. Н.». Повесть он заканчивал в Пятигорске, где проходил курс лечения водами. Не имея постоянного места проживания, в письме Некрасову уже из станицы Старогладковской он дал обратный адрес своего брата Николая, тоже увлекавшегося писательством. Николай был известен среди родных и знакомых Толстых как человек умный и основательный, каковым в их представлении вовсе не был Лёвочка. Поэтому многие решили, что «Детство» — литературный дебют Николая. Ведь и имя главного героя было Николенька.

Отправляя рукопись Некрасову, таинственный «Л. Н.» в письме ясно дал ему понять, что «Детство» — только начало огромного романа под названием «Четыре эпохи развития» (Толстой предполагал, что будет четыре части: «Детство», «Отрочество», «Юность» и «Молодость»). Поэтому он был согласен на любые сокращения, но требовал печатать повесть «без прибавлений и перемен». И это понятно: прибавления и перемены могли бы нарушить целостность будущего «здания». Но Некрасов был опытным журналистом. Он по достоинству оценил талант неизвестного автора, но потакать ему в строительстве воздушных замков не стал. Он опубликовал повесть под скромным журнальным названием «История моего детства».

Толстой был возмущен! Сначала он написал Некрасову гневное письмо, которое благоразумно не отправил. «С крайним неудовольствием прочел я в IX № «Современника» повесть под заглавием «История моего детства» и узнал в нем роман «Детство», который я послал вам». В отправленном письме Толстой сильно смягчил тон, но тем не

менее не скрыл своего «неудовольствия»: «Кому какое дело до истории *моего* детства?» Молодой автор поставил известнейшему поэту и маститому журналисту жесткое условие: «Я буду просить Вас, милостивый государь, дать мне обещание, насчет будущего моего писания, ежели Вам угодно будет продолжать принимать его в свой журнал, — не изменять в нем ровно ничего».

И Толстой уже имел на это некоторое право. Успех «Детства» превзошел самые смелые ожидания. Талант молодого кавказского офицера оценили И. С. Тургенев, И. И. Панаев, П. В. Анненков и другие литературные авторитеты того времени.

Тем не менее, впервые подписывая письмо в «Современник» своим полным именем, Толстой просил Некрасова, «чтобы это было известно одной редакции».

Подпоручик Севастопольский

Жизнь и служба на Кавказе оказали громадное влияние на Толстого. В будущем он признается в «посмертной любви» к Кавказу. «Он (Лев Николаевич. — П. Б.) часто говорил мне, что лучшие воспоминания его жизни принадлежат Кавказу», — писала его жена Софья Андреевна. О Кавказе будут написаны шедевры Толстого — повести «Казаки» и «Хаджи-Мурат», рассказ «Кавказский пленник» и др.

А пока 20 января 1854 года он едет из Старогладковской в Старый Юрт в надежде получить Георгиевский крест. Однако его не представили к награде. Толстой покидает Кавказ обычным солдатом и без «Георгия». Только в Туле из газеты «Русский инвалид» он узнает, что еще 9 января 1854 года был произведен в самый нижний офицерский чин — прапорщика. Не слишком завидная карьера после двух с половиной лет на войне!

Однажды он чудом избежал смерти. Об этой истории он рассказывал личному врачу Душану Маковицкому в присутствии жены Софьи Андреевны.

«— Ехали мы в Грозный, шла этот раз оказия, солдаты идут спереди и сзади, и я ехал с моим кунаком Садо — мирным чеченцем.

— И с Полторацким, — добавила Софья Андреевна.

— И перед тем я только что купил кабардинскую лошадь — темно-серую, с широкой грудью, очень красивую,

с огромным пробездом (знаете, что такое пробезд? Что рыси равно; ходак — такую лошадь зовут ходаком) — но слабую для скачек. А сзади ехал Садо на светло-серой лошади, ногойской, степной (там были ногойцы-татары) — была на длинных ногах, с кадыком, большой головой, поджарая, очень некрасивая, но резвая. Поехали втроем. Садо кричит мне: «Попробуй мою лошадь», и мы пересели. И тут очень скоро после того выскочили из лесу, с левой стороны, на нас человек восемь—десять и кричат что-то по-своему. Садо первый увидел и понял. Полторацкий на артиллерийской лошади пустился скакать назад. Его очень скоро догнали и изрубили. У меня была шашка, а у Садо ружье незаряженное. Он им махал, прицеливался и таким способом уехал от них. Пока они переговаривались с Садо, я ускакал на лошади, а он за мной. Меня спас особенный случай — что я пересел на его лошадь».

Что он думал и чувствовал, когда покидал Кавказ простым солдатом? Его старший брат Сергей, прослужив в гвардии год и ведя там весьма привольный образ жизни, вышел в отставку в чине капитана. Толстой покидал Кавказ в смятенных чувствах.

Вот что он пишет в дневнике 7 июля 1854 года в Бухаресте:

«Что я такое? Один из четырех сыновей отставного подполковника, оставшийся с 7-летнего возраста без родителей под опекой женщин и посторонних, не получивший ни светского, ни ученого образования и вышедший на волю 17-ти лет, без большого состояния, без всякого общественного положения и, главное, без правил; человек, расстроивший свои дела до последней крайности, без цели и наслаждения проводивший лучшие годы своей жизни, наконец, изгнавший себя на Кавказ, чтоб бежать от долгов и, главное, привычек, а оттуда, придравшись к каким-то связям, существовавшим между его отцом и командующим армией, перешедший в Дунайскую армию 26 лет, прапорщиком, почти без средств, кроме жалования (потому что те средства, которые у него есть, он должен употребить на уплату оставшихся долгов), без покровителей, без умения жить в свете, без знания службы, без практических способностей; но — с огромным самолюбием!»

Толстой беспощадно казнит себя. Он и «дурен собой», и «нечистоплотен», и «раздражителен», и «скучен для других», и «нескромнен», и «нетерпим», и «стыдлив, как ребенок». Он «почти невежда». Он «невоздержан», «нерешите-

лен», «непостоянен», «глупо тщеславен» и «пылок, как все бесхарактерные люди». Он «не храбр». Он «ленив». Впрочем, он «умен», но «ум мой еще никогда не был ни на чем основательно испытан». Впрочем, он «честен» и любит «добро», «сделал привычку любить его». Но при этом «так честолюбив», что «боюсь, я могу выбрать между славой и добродетелью первую, ежели бы мне пришлось выбирать».

С одной стороны, осознание своих недостатков — огромный прогресс на пути их преодоления. С другой — человек, находящийся в состоянии непрерывного самобичевания, неспособен к практической деятельности. Это свое состояние Толстой описал в дневнике 4 июля 1851 года, в самом начале кавказской службы: «Я, когда просыпаюсь, испытываю то, что трусливая собака перед хозяином, когда виновата». И вот, спустя три года, ничего не изменилось! Невольно напрашивается мысль, что лучшим выбором для молодого Толстого было пойти в монахи. Там, под руководством сильного духовного наставника, он мог бы найти себя. Но эта мысль ни разу не встречается в его дневнике. Вместо этого он опять идет на войну. После службы в Румынии, где едва он не принял участие в штурме турецкой крепости Силистрия (штурм отменили за час до его начала), он оказывается в осажденном Севастополе.

Появление в Крыму, близ Евпатории, англо-франко-турецких войск 2 сентября 1854 года глубоко взволновало Толстого. «Высадка около Севастополя мучит меня», — пишет он, находясь в Кишиневе. И подает рапорт о переводе в Крым.

Происходит то, чего с ним не случилось на Кавказе. Он испытывает *патриотический подъем*.

Причинами тому были и коварство Англии и Франции, вместе с турками высадившихся в Крыму, и череда поражений русской армии еще на Балканах из-за слабого командования и плохой технической оснащенности. Почти во всех военных стычках русские теряли в разы больше солдат, чем их противники. Командный же состав русской армии, по мнению Толстого, страдал двумя главными недостатками — «самоуверенностью и изнеженностью». И, наконец, третьей причиной были известия о жестокости турок на захваченных ими землях. Эти известия он получал еще на Кавказе, а по прибытии в Дунайскую армию лично убедился в этом. В письме, адресованном Т. А. Ёргольской, он пишет: «По мере того, как мы покидали болгарские се-

ления, являлись турки и, кроме молодых женщин, которые годились в гарем, они уничтожали всех. Я ездил из лагеря в одну деревню за молоком и фруктами, так и там было вырезано почти всё население».

Болгары целыми деревнями уходили вместе с русской армией, желая принять русское подданство, и это создавало серьезные трудности для отступавших войск. Командующий Дунайской армией князь Михаил Дмитриевич Горчаков, которого Толстой глубоко уважал, в отличие от многих других командиров, и адъютантом которого мечтал стать, вынужден был «отказать тем, которые приходили последними». Князь «предлагал им бросить телеги и скотину, обеспечивая им пропитание до прихода их в Россию, оплачивал из собственных денег частные суда для их переправы, словом, делал, что мог, в помощь этим несчастным», — пишет Толстой своей тетушке.

Но и после того, что он видел на Кавказе и на Балканах, его продолжала привлекать *красота войны*. Он сообщает об этом тетушке из Бухареста даже с некоторым изумлением: «По правде сказать, странное удовольствие глядеть, как люди друг друга убивают, а между тем и утром и вечером я со своей *повозки* целыми часами смотрел на это. И не я один. Зрелище было поистине замечательное, и, в особенности, ночью... В первую ночь, которую я провел в лагере, этот страшный шум разбудил и напугал меня; думая, что это нападение, я поспешил велеть оседлать свою лошадь; но люди, проводшие уже некоторое время в лагере, сказали мне, что беспокоиться нечего, что и канонада такая, и ружейная стрельба вещь обычная, прозванная в шутку “Аллах”. Я лег, но не мог заснуть и стал забавляться тем, что, с часами в руках, считал пушечные выстрелы; насчитал я 100 взрывов в минуту». Толстой хладнокровно замечает, что эта война похожа на «соревнование», «кто больше потратит пороха», а между тем «тысячами пушечных выстрелов было убито самое большее человек 30 с той и другой стороны».

То есть — мало! На тысячи выстрелов пришлось *всего* 30 человеческих жизней. Толстой еще находится в плену «статистического» взгляда на войну, где жизнь человека может соизмеряться с количеством потраченного на ее уничтожение пороха.

Существует устойчивое представление, что «крымский период» Толстого отмечен прежде всего бурным подъемом патриотического чувства. Что Толстой в Крыму — это патриот России, певец русской армии и, наконец, просто от-

важный боевой офицер. Что неприятие войны как противоестественного поведения людей приходит к нему позже, уже после «духовного переворота». Это и так, и не так. Во всяком случае, это крайне поверхностный взгляд на севастопольского подпоручика Толстого.

Да, он был восхищен силой духа русских воинов! Тем, как они достойно погибают, переносят страдания и лишения. Об этом, находясь в Севастополе, он пишет очерк «Как умирают русские солдаты», где есть такие слова: «Велики судьбы славянского народа! Недаром дана ему эта спокойная сила души, эта великая простота и бессознательность силы!» Но этот очерк писался по кавказским воспоминаниям. И писался специально для журнала, который Толстой, еще находясь в Дунайской армии в Кишиневе, задумал издавать с несколькими офицерами, среди которых был, например, капитан Аркадий Дмитриевич Столыпин — отец будущего государственного деятеля Петра Столыпина. Всего же в группу издателей входило семь человек.

Журнал должен был называться «Военный листок». Одним из его редакторов планировал быть Толстой. Идея его состояла в том, чтобы о войне и армии писать в более свободном и художественном ключе, нежели в официальном армейском органе — газете «Русский инвалид». Толстой со всей страстью взялся за это дело. Именно на него он собирался потратить 1500 рублей, которые получил от своего зятя Валериана Толстого, продавшего по его просьбе на вывоз большой яснополянский дом. Это несколько поправляет известный факт, что в Крыму Толстой *проиграл свой родовой дом в карты*. Проиграл. Но дом был продан не из-за этого, как, впрочем, и не для журнала. Валериан продал его, когда Лев еще служил на Кавказе. И вот теперь он решил потратить деньги, вырученные от этой продажи, на издание военного журнала. Для него и писался исполненный патриотического духа очерк «Как умирают русские солдаты». Но одновременно он пишет и другой очерк — «Дяденька Жданов и кавалер Чернов», где рассказывает об истязании солдата-доходяги. Оба очерка остались незаконченными.

Почему?

Проект журнала был представлен на одобрение командующему Крымской армией князю Горчакову, и тот послал его в Петербург на рассмотрение военного министра с последующей передачей царю. Ответ министра был такой:

«Его Величество, отдавая полную справедливость бла-

гонамеренной цели, с каковою предположено было издавать сказанный журнал, изволил признать неудобным разрешить издание оного, так как все статьи, касающиеся военных действий наших войск, предварительно помещения оных в журналах и газетах, первоначально печатаются в газете “Русский инвалид” и из оной уже заимствуются в другие периодические издания. Вместе с сим Его Императорское Величество разрешает г. г. офицерам вверенных вашему сиятельству войск присылать статьи свои для помещения в “Русском инвалиде”».

Последняя фраза особенно возмутила Толстого! По сути, ему и другим офицерам *разрешалось* посылать свои статьи в официальный орган, что они могли бы делать и без высочайшего соизволения.

Но можно понять и царя. «Военный листок», так или иначе, задумывался как орган, «оппозиционный» «Русскому инвалиду». Сам дух этого журнала был рассчитан на свободное, *личное* понимание войны и состояния дел в армии. Но в условиях военного времени это было невозможно.

Запрет журнала тяжело переживался Толстым. Это была очередная его неудача, связанная со слишком идеальными представлениями о жизни. И вот тогда, на стоянке на реке Бельбек близ Севастополя, он во время непрерывной карточной игры и проиграл в штос* те полторы тысячи, что прислал ему Валериан. Толстой вполне осознавал постыдность этого поступка. Он пишет в дневнике: «Два дня и две ночи играл в штос. Результат понятный — проигрыш всего — яснополянского дома. Кажется, нечего писать — я себе до того гадок, что желал бы забыть про свое существование».

Трехэтажный дом, который начинал строить еще дед Толстого Н. С. Волконский, а закончил отец, был разобран на части и перевезен в село Долгое, где простоял пустым до 1913 года, когда его сломали местные крестьяне.

В «крымский период» Толстой продолжает внутренне метаться, как это ранее происходило на Кавказе. Он играет в карты, и всегда неудачно, так что офицеры, жалея его, иногда отказываются садиться с ним за игру. И в то же время пишет «Проект о переформировании армии», который намеревается подать новому царю. (После смерти Николая I 18 февраля 1855 года и воцарения Александра II всё

* Штос (штосс, стос, банк, фараон) — карточная игра, популярная в XVIII и XIX веках.

русское общество жило ожиданием серьезных реформ.) Но обратим внимание на тон записки в ее второй редакции:

«Русский офицер, по большинству, есть человек не способный ни на какой род деятельности, кроме военной службы. Главные цели его на службе суть приобретение денег. Средства к достижению ее — лихоимство и угнетение. Русский офицер необразован или потому, что не получал образования, или потому, что утратил его в сфере, где оно бесполезно и даже невозможно, или потому, что презирает его как бесполезное для успеха на службе».

Понятно, что подобный проект не мог быть подан государю.

По воспоминаниям служивших с Толстым в Севастополе офицеров, молодой подпоручик легко находил общий язык с боевыми товарищами и даже был душой офицерских собраний. Он был незаносчив, остроумен, азартен в игре, любил выпить (но никогда его не видели пьяным), рассказывал анекдоты, играл на рояле и пел шуточные песни на армейские темы собственного сочинения, самой известной из которых была песня о сражении на реке Черной 4 августа 1855 года: «Как четвертого числа / Нас нелегкая несла / Горы отбирать...» В этой песне незло высмеивалось всё высшее начальство, включая и любимого Толстым князя Горчакова. Есть легенда, что эту песню распевали не только офицеры, но и простые солдаты. Толстой был храбр и постоянно просился добровольцем на вылазки к врагам. Оказавшись в Севастополе на самом опасном 4-м бастионе, он ни разу не показал себя трусом.

Но вот что интересно. В старости, в разговоре с близкими и гостями Ясной Поляны, Толстой утверждал, что во время участия в двух войнах, Кавказской и Крымской, не убил ни одного человека. Не потому что избегал убийства. Так вышло.

В Севастополе Толстой начинал служить командиром взвода, а закончил кампанию командиром Горной батареи. Но по большей части он находился либо в резерве, как на реке Бельбек, либо в обороне, как на 4-м бастионе, но не принимал участия в прямых сражениях. Единственное серьезное столкновение с неприятелем, в котором Толстой принял участие, это печально известное сражение на реке Черной 4 августа 1855 года, где потери русских войск составили больше восьми тысяч человек и где погибли три генерала — Николай Андреевич Ред, Петр Владимирович Веймарн и Павел Александрович

Вревский. (Говорили, что барон Вревский, который был инициатором этого сражения, сознательно искал своей гибели.) В день битвы Толстой с двумя горными орудиями примкнул к конной батарее Порфирия Николаевича Глебова. Но стрелять ему не пришлось — не было приказа.

Другая особенность военной службы Толстого была в том, что он категорически отказывался присваивать казенные деньги. А это было нормой в армии и не только не признавалось преступлением, но считалось почти законной частью офицерского дохода. Запустить руку в полковую казну называлось «безгрешные доходы». Например, они выходили от неистраченного фуража. Из этих «доходов» складывалась и «благоразумная экономия» — деньги, которые должен был иметь на руках командир на случай непредвиденных расходов по своему подразделению. Все офицеры понимали и справедливость «безгрешных доходов», и необходимость «благоразумной экономии». Но не Толстой! По воспоминаниям полковника Юлиана Игнатьевича Одаховского, молодой подпоручик, «сделавшись командиром батареи, взял да и записал на приход весь остаток фуража по батарее. Прочие батарейные командиры, которых это било по карману и подводило в глазах начальства, подняли бунт...». О том же пишет и другой свидетель, Николай Александрович Крылов: «Рассказывали, что он до такой степени был брезглив к казенным деньгам, что проповедовал офицерам возвращать в казну даже те остатки казенных денег, когда офицерская лошадь не съест положенного ей по штату».

Одаховский также утверждает, что у его сослуживца «были вечные столкновения с начальством. Всякое замечание старшего в чине вызывало со стороны Толстого немедленную дерзость или едкую, обидную шутку».

Иными словами, Толстой был слишком сложной и тщеславной личностью, чтобы вполне вписаться в офицерскую среду. И он снова мечется, опять не находит себя.

Вот характерный факт. Прибыв в Севастополь в ноябре 1854 года, он испытал восторг от осознания, что оказался в том месте, где решается историческая судьба России. И сначала ему всё нравится! «Дух в войсках, — пишет он брату Сергею Николаевичу, — выше всякого описания. Во времена Древней Греции не было столько геройства. Корнилов, объезжая войска, вместо “Здорово, ребята!” говорил: “Нужно умирать, ребята, умрете?”», и войска кричали: “Умрем, ваше превосходительство! Ура!”».

Это написано 20 ноября. А три дня спустя в Эски-Орде, куда его направили в резерв, он пишет совсем иное: «В поездке этой я больше, чем прежде, убедился, что Россия или должна пасть, или совершенно преобразоваться. Всё идет наыворот, неприятелю не мешают укреплять своего лагеря, тогда как это было бы чрезвычайно легко, сами же мы с меньшими силами, ниоткуда не ожидая помощи, с генералами, как Горчаков, потерявшими и ум, и чувство, и энергию, не укрепляясь, стоим против неприятеля и ожидаем бурь и непогод, которые пошлет Николай Чудотворец, чтобы изгнать неприятеля. Казаки хотят грабить, но не драться, гусары и уланы полагают военное достоинство в пьянстве и разврате, пехота в воровстве и наживании денег. Грустное положение и войска и государства».

И уж совсем неожиданно, сравнивая русских солдат с французскими и английскими, он отдает предпочтение врагу: «Я часа два провел, болтая с ранеными французами и англичанами. Каждый солдат горд своим положением и ценит себя; ибо чувствует себя действительно пружиной в войске. Хорошее оружие, искусство действовать им, молодость, общие понятия о политике и искусствах дают ему сознание своего достоинства. У нас бессмысленные ученья о носках и хватках, бесполезное оружие, забитость, старость, необразование, дурное содержание и пища убивают в нем последнюю искру гордости и даже дают ему слишком высокое понятие о враге».

Неужели за три дня настроение так переменялось? Только что была «Древняя Греция»...

Эти перепады настроения можно объяснить одним: он не находит себя в армии. Конечно, он шел сюда еще и в расчете на военную карьеру. Пример старшего брата Николая, память о деде, генерале «времен Очаковских и покоренья Крыма», об отце, герое войны с Наполеоном, разогревали его здоровое тщеславие и давали надежду, что и он пойдет по их пути.

Но...

Он рвется в бой, а его направляют в резерв. «Стоянка в Бельбеке была очень скучная... — вспоминал Одаховский. — Стоянка с батареей в резерве, видимо, томила графа Толстого: он часто, без разрешения начальства, отправлялся на вылазки к чужим отрядам, просто из любопытства, как любитель сильных ощущений, быть может, и для изучения быта солдат и войны...»

Участие Толстого в этих вылазках остается неясным

местом в его биографии «крымского периода». На одну из таких вылазок его подбил капитан Аркадий Столыпин, когда Толстой, покинув резерв без разрешения начальства, на три дня приехал в Севастополь. Вылазка была очень кровопролитной: русские потеряли 387 человек убитыми и около тысячи ранеными. Но сам Толстой пишет об этом в дневнике лишь такие слова: «Имел слабость позволить Столыпину увлечь меня на вылазку, хотя теперь не только рад этому, но жалею, что не пошел с штурмовавшей колонной».

Но в чем тогда заключалось его участие в этой вылазке?

Поездка в Севастополь, по-видимому, была связана с желанием Толстого поступить на службу в штаб к князю Горчакову. Он встречался с ним и «был принят хорошо». Но — «...о переводе в штаб, которого весьма желаю, ничего не знаю. Просить не буду, но буду дожидаться, что он сам это сделает...».

Командующий приходился ему родственником по бабушке. Но, видимо, разговор с ним не дал Толстому надежды на карьерный рост. Он пишет в дневнике: «Военная карьера — не моя, и чем раньше я из нее выберусь, чтобы вновь предаться литературной, тем будет лучше».

В апреле 1855 года батарея Толстого была переведена в Севастополь на самый опасный 4-й бастион, находившийся ближе всего к французским позициям. С конца марта до середины апреля этот бастион бомбардировали дважды, первый раз — непрерывно в течение десяти дней. Потери противника тогда составили 1850 человек, русских — 6130 человек.

Командир бастиона капитан-лейтенант Вильгельм Густавович Реймерс писал: «От начала бомбардирования и, можно сказать, до конца четвертый бастион находился более всех под выстрелами неприятеля, и не проходило дня в продолжении всей моей восьмимесячной службы, который бы оставался без пальбы. В большие же праздники французы на свои места сажали турок и этим не давали нам ни минуты покоя. Случались дни и ночи, в которые на наш бастион падало до двух тысяч бомб и действовало несколько сот орудий».

Во время суточных дежурств на бастионе Толстой вел себя чрезвычайно храбро и даже, по воспоминаниям сослуживцев, излишне «молодечествовал». Он придумал для себя забаву проходить перед жерлом орудия за секунды меж-

ду зажжением фитиля и вылетом ядра. После дежурств он отправлялся на свою квартиру в центр Севастополя и писал «Юность» и первый из трех севастопольских очерков — «Севастополь в декабре месяце».

Публикация этого очерка в некрасовском «Современнике» вызвала настоящий фурор среди читающей публики, в литературных кругах и при дворе. Существует легенда, что Александр II отправил в Крым курьера с приказом перевести талантливого офицера в более безопасное место. Якобы над этим очерком рыдал и юный цесаревич — будущий Александр III.

Плакал над ним и Тургенев. «Статья Толстого о Севастополе — чудо! — пишет он из Спасского Ивану Ивановичу Панаеву. — Я прослезился, читая ее, и кричал ура!.. Статья Толстого произвела здесь фурор всеобщий».

Севастопольские очерки Толстого важны еще и тем, что писались непосредственно в центре событий. Второй очерк — «Севастополь в мае» — написан за несколько дней в июне 1855 года. Третий и последний очерк — «Севастополь в августе 1855 года» — был начат также в Крыму уже после падения Севастополя, а закончен в Петербурге. Он вышел в первом номере «Современника» за 1856 год. Так появился цикл, сегодня известный как «Севастопольские рассказы».

Это были репортажи с места сражения. Но именно в них Толстому удалось воплотить сразу две свои мечты. После неудачи с «Военным листком» он тем не менее стал знаменитым военным журналистом и в то же время одним из самых известных русских писателей.

Толстой находился в осажденном Севастополе до последнего дня. 28 августа 1855 года, когда город уже превратили в дымящиеся руины, он отмечал день рождения. Ему исполнилось 27 лет.

«Я плакал, когда увидел город, объятый пламенем, и французские знамена на наших бастионах», — писал он Ергольской.

В первых числах ноября Толстой выехал из Крыма в Петербург в качестве курьера. «За отличную храбрость и примерную стойкость, оказанные во время усиленного бомбардирования», он был награжден орденом Святой Анны 4-й степени, но всё еще оставался подпоручиком. Чин поручика ему присвоили только 26 марта 1856 года уже в Петербурге. В приказе о производстве было отмечено: «За отличную храбрость и мужество, оказанные в деле 4 августа

у Черной речки». В том деле, где он, по иронии судьбы, ни разу не стрелял.

Во время стояния на реке Бельбек в марте 1855 года Толстой записывает в дневнике: «Вчера разговор о божественном и вере навел меня на великую громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле».

Церковные критики Толстого часто приводят это высказывание как образец *религиозной гордыни*. В самом деле, молодой человек задумал основать не что-нибудь, а «новую религию»! При этом не замечают, что, перед тем как сделать эту запись, Толстой, по-видимому, *причастился* у армейского священника (отсюда «разговор о божественном и вере»). Так считает, например, исследователь религиозных взглядов священник Георгий Ореханов. Если так, это значит, что Толстой к исповеди подошел не формально и имел продолжительный разговор с батюшкой. Но куда более важно другое обстоятельство — когда сделана эта запись. Во время войны.

В первом же севастопольском очерке (он начат как раз в марте 1855 года) Толстой описывает не только мужество солдат и офицеров, но и страшные факты. Он рассказывает о здании Дворянского собрания, где расположились хирурги и солдатам ампутировали конечности в непрерывном режиме.

«Вы увидите, как острый кривой нож входит в белое здоровое тело; увидите, как с ужасным, раздирающим криком и проклятиями раненый вдруг приходит в чувство; увидите, как фельдшер бросит в угол отрезанную руку; увидите, как на носилках лежит, в той же комнате, другой раненый и, глядя на операцию товарища, корчится и стонет не столько от физической боли, сколько от моральных страданий ожидания...»

При выходе из собрания «вид чистого неба, блестящего солнца, красивого города, отворенной церкви и движущегося по разным направлениям военного люда скоро приведет ваш дух в нормальное состояние легкомыслия, маленьких забот и увлечения одним настоящим».

Тут же происходят похороны офицера, «с розовым гробом и музыкой и развевающимися хоругвями; до слуха ва-

шего долетят, может быть, звуки стрельбы с бастионов, но это не наведет вас на прежние мысли; похороны покажутся вам весьма красивым воинственным зрелищем, звуки — весьма красивыми воинственными звуками, и вы не соедините ни с этим зрелищем, ни с этими звуками мысли ясной, перенесенной на себя, о страданиях и смерти, как вы это сделали на перевязочном пункте».

А на Волынском редуте «одна бомба падала за другой. Никто не приходил и не выходил, мертвых раскачивали за ноги и за руки и бросали за бруствер» (запись в дневнике). А у матроса на четвертом бастионе взрывом бомбы была «вырвана часть груди», «на забрызганном грязью лице его видны один испуг и какое-то притворное преждевременное выражение страдания, свойственное человеку в таком положении».

«“Это вот каждый день этак человек семь или восемь”, — говорит морской офицер, отвечая на выражение ужаса, выражающегося на вашем лице, зевая и свертывая папиросу из желтой бумаги».

Мысль Толстого о «практической религии» не была порождением холодного ума. Но при этом он мучительно пытался *разумом* понять происходящее. И запись в дневнике заканчивается словами, которые не замечают его церковные критики: «Действовать *сознательно* к соединению людей с религией, вот основание мысли, которая, надеюсь, увлечет меня...»

Двадцать шестого ноября 1856 года Толстой вышел в отставку.

На этом была закончена его военная карьера.

Он, наконец, сделал первый серьезный, осознанный выбор. Он становится писателем.

Тургенев и другие

Всё подталкивало его к этому: и стремительный рост его литературной популярности, и то поистине дружеское расположение, с которым его приняли в столице самые известные литераторы того времени.

Достаточно сказать, что в Петербурге Толстой сразу же остановился на квартире Тургенева, главного литературного авторитета и самого известного русского писателя, с которым до этого был знаком лишь заочно.

Третьего октября 1855 года, когда Толстой еще на-

ходил в Крым, Тургенев написал ему письмо, в котором благодарил за посвящение ему рассказа «Рубка леса» («ничего еще во всей моей литературной карьере так не польстило моему самолюбию»); всячески превозносил его талант; опасался за его жизнь — как бы не погиб! — и настоятельно советовал оставить армию и целиком посвятить себя литературе. Он выражал готовность лично приехать к нему из Петербурга в Тульскую губернию, чтобы познакомиться. Но писалось это не в Петербурге, куда Тургенев только собирался поехать, а в имении родной сестры Толстого, Маши. Тургенев, несомненно, испытывал к Марии Николаевне более чем дружеские чувства. И когда она потом развелась с мужем, некоторое время между ней и Тургеневым существовал платонический роман, который, впрочем, окончился ничем — Тургенев всю жизнь оставался преданным певице Полине Виардо. В будущем Толстой не простит Тургеневу этого «романа» с его любимой сестрой.

Но первое письмо Тургенева, да еще из Покровского, находившегося аккурат между Ясной Поляной и Спасским-Лутовиновом, как бы связывая между собой эти важные для обоих писателей места, безусловно, окрылило Толстого. Они встретились в Петербурге, и Тургенев сразу же пригласил молодого литературного собрата пожить у него.

Здесь, на квартире писателя, он знакомится с Некрасовым, а затем на обеде у Некрасова — с Александром Васильевичем Дружининым, известнейшим критиком и автором популярной повести «Полинька Сакс». Потом Тургенев устраивает у себя литературный вечер, едва ли не для того, чтобы ввести Толстого в широкий писательский круг. Пришли Иван Александрович Гончаров, Аполлон Николаевич Майков, историк литературы и по совместительству цензор Александр Васильевич Никитенко и др. В короткий срок Толстой становится полноправным членом круга журнала «Современник». В новый круг его знакомств входят Афанасий Афанасьевич Фет, Александр Николаевич Островский, Василий Петрович Боткин, Дмитрий Васильевич Григорович, братья Александр, Алексей и Владимир Михайловичи Жемчужниковы... Его дружески принимают и литераторы старшего поколения — Языков, Одоевский, Полонский. Но только с одним писателем Толстой перешел на «ты» — с драматургом Островским.

Вероятно, у Тургенева и Некрасова было желание «пат-

ронировать» новому дарованию. В первом письме Тургенева Толстому нет-нет да и проявляются учительские интонации. У Некрасова был и практический интерес. Толстой был выгодный автор для «Современника».

Но по-настоящему в круг «Современника» молодой автор так и не вошел. В будущем он станет довольно резко отзываться о многих своих бывших «друзьях», называя их «чернокнижниками». К тому же он не принял появление в «Современнике» нового поколения журналистов — Николая Александровича Добролюбова и Николая Гавриловича Чернышевского с их «реальной критикой», которая претилла эстетизму Толстого. И когда редактор журнала «Русский вестник» Михаил Никифорович Катков предложил ему более выгодные, чем в «Современнике», условия, Толстой легко порвал с Некрасовым. Свои новые вещи — «Казаки», «Войну и мир» (журнальное название «1805 год»), «Анну Каренину» — он отдавал Каткову. Это, безусловно, обижало Некрасова, в свое время открывшего Толстого для читающей публики.

Не получилось дружбы и с Тургеневым. Уже 12 марта 1856 года, через три с небольшим месяца после знакомства, он пишет в дневнике: «С Тургеневым я, кажется, окончательно разошелся».

Поначалу Толстой симпатичен Тургеневу. Он с интересом наблюдает за этим талантливym офицером, так не похожим на других петербургских литераторов. Перед приездом в Петербург Толстой проиграл в долг три с половиной тысячи рублей. Но и в Петербурге он не берется за ум, порой возвращаясь на квартиру Тургенева под утро, чтобы проспать весь день до вечера.

Тургенева это скорее забавляет. «Ты уже знаешь от Некрасова, что Толстой здесь и живет у меня... — пишет он В. П. Боткину. — Человек он в высшей степени симпатичный и оригинальный».

Но очень скоро Тургенев начинает — пока еще шутя! — жаловаться на этого оригинала. Своим образом жизни Лев и гостеприимного хозяина «выбивает из колеи», о чем тот сообщает его сестре Маше: «Ну-с, доложу Вам — что у Вас за брат! Я его прозвал за буйность, дикое упорство и праздность — Троглодитом — и даже остервенелым Троглодитом — что не мешает мне, однако, любить его от души и ворчать на него беспрестанно, как рассудительный дядя на взбалмошного племянника».

Это была ошибка Тургенева. Да, он был старше Толс-

того почти на десять лет, опытнее в литературном отношении. Его знала вся читающая Россия, у него был большой успех в Европе. Перед ним преклонялись Флобер и братья Гонкуры. А Толстой всё-таки еще был новичком и сам понимал это. Но сделать из себя литературного «племянника» он никому не позволял. Это были даже не идейные разногласия, а несходство характеров и образа мыслей.

Уже через два месяца после знакомства с Толстым в письме Боткину Тургенев с досадой описывает скандал, который разгорелся в редакции «Современника». «С Толстым я едва не рассорился — нет, брат, невозможно, чтоб необразованность не отозвалась так или иначе. Третьего дня, за обедом у Некрасова, он по поводу Ж. Занд высказал столько пошлостей и грубостей, что передать нельзя. Спор зашел очень далеко — словом — он возмутил всех и показал себя в весьма невыгодном свете».

Об этом же скандале в своих воспоминаниях пишет Д. В. Григорович: «Толстой был довольно молчалив, но к концу не выдержал! Услышав похвальбу новому роману Ж. Занд, он резко объявил себя ее ненавистником, прибавив, что героинь ее романов, если б они существовали в действительности, следовало бы, ради назидания, привязывать к позорной колеснице и возить по петербургским улицам».

Об этом или о другом скандале он рассказывал и Фету:

«— Я не могу признать, — заявлял он (Толстой. — П. Б.), — чтобы высказанное вами было вашими убеждениями. Я стою с кинжалом и саблею в дверях и говорю: “Пока я жив, никто сюда не войдет!” Вот это убеждение. А вы друг от друга стараетесь скрыть сущность ваших мыслей и называете это убеждением.

— Зачем же вы к нам ходите? — задыхаясь и голосом, переходящим в тонкий фальцет (при горячих спорах это постоянно бывало), говорил Тургенев. — Здесь не ваше знамя! Ступайте к княжне...

— Зачем мне спрашивать у вас, куда мне ходить!»

«Голубчик, голубчик, — говорил захлебываясь и со слезами смеха на глазах Григорович (Фету. — П. Б.) — Вы себе представить не можете, какие тут были сцены. Ах, боже мой! Тургенев пищит, пищит, зажмет рукою горло и с глазами умирающей газели прошепчет:

— Не могу больше! у меня бронхит! — и громадными шагами начинает ходить вдоль трех комнат.

— Бронхит, — ворчит Толстой вослед, — бронхит — воображаемая болезнь. Бронхит это металл!

Конечно, у хозяина — Некрасова — душа замирает: он боится упустить и Тургенева, и Толстого, в котором чувствует капитальную опору “Современника”, и приходится лавировать... В предупреждение катастрофы подхожу к дивану и говорю:

— Голубчик, Толстой, не волнуйтесь! Вы не знаете, как он вас ценит и любит!

— Я не позволю, — говорит с раздувающимися ноздрями Толстой, — ничего делать мне назло! Это вот он нарочно теперь ходит взад и вперед мимо меня и виляет своими демократическими ляжками!»

В дальнейшем отношения между Толстым и Тургеневым испортились настолько, что дело едва не кончилось дуэлью.

Хроника этой несостоявшейся дуэли такова...

Двадцать пятого мая 1861 года Толстой приехал к Тургеневу в Спасское. Тургенев вслух читал в рукописи свой новый роман «Отцы и дети». Во время чтения Толстой демонстративно заснул.

На следующий день они отправились к Фету в имение Степановка. За утренним кофе Тургенев рассказал о своей внебрачной дочери Полине, живущей во Франции, в доме Виардо. О том, что потом случилось, пишет в воспоминаниях Фет:

«Тургенев сел по правую руку хозяйки, а Толстой по левую. Зная важность, которую в это время Тургенев придавал воспитанию своей дочери, жена моя спросила его, доволен ли он своей английской гувернанткой. Тургенев стал изливаться в похвалах гувернантке и, между прочим, рассказал, что гувернантка с английской пунктуальностью просила Тургенева определить сумму, которою его дочь может располагать для благотворительных целей.

— Теперь, — сказал Тургенев, — англичанка требует, чтобы моя дочь забирала на руки худую одежду бедняков и, собственноручно вычинив оную, возвращала по принадлежности.

— И это вы считаете хорошим? — спросил Толстой.

— Конечно, это сближает благотворительницу с насущною нуждой.

— А я считаю, что разряженная девушка, держащая на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет неискреннюю, театральную сцену.

— Я вас прошу этого не говорить! — воскликнул Тургенев с раздувающимися ноздрями.

— Отчего же мне не говорить того, в чем я убежден?»

Фет вспоминает, что разъяренный Тургенев пообещал «дать в рожу» Толстому, если тот немедленно не замолчит.

Щекотливость ситуации состояла в том, что это было сказано в присутствии супруги Афанасия Афанасьевича. Сразу же после ссоры Толстой уехал к своему другу Ивану Петровичу Борисову в имение Новоселки и оттуда отправил Тургеневу письмо с требованием извиниться. Причем он оговаривал, что это письменное извинение отправит Фетам. Письмо он будет ждать на станции «Богослов». Тургенев написал такое письмо, но почему-то отправил его по неверному адресу. Долго не получая письма, Толстой послал Тургеневу вызов на дуэль. Письмо это не сохранилось, но, по воспоминаниям С. А. Толстой, Лев Николаевич говорил в нем, что «не желает стреляться пошлым образом, т. е. чтобы два литератора приехали с третьим литератором, с пистолетами, и дуэль бы кончилась шампанским, а желает стреляться по-настоящему и просит Тургенева приехать в Богослов к опушке леса с ружьями». Тургенев написал новое письмо с извинениями. Не распечатывая, Толстой отослал его Фетам.

Казалось, инцидент был исчерпан. Но эта история получила нелепое продолжение. Тургенев уехал в Париж. Видимо, устыдившись своего поступка, Толстой написал ему примирительное письмо, текст которого до нас не дошел. Но прежде, чем его получить, Тургенев по каким-то слухам узнал, что Толстой якобы распространяет в Москве копию своего письма с вызовом на дуэль и называет его трусом. И он пишет Толстому письмо, в котором предлагает драться будущей весной, когда он вернется из Парижа.

Это предложение (дуэль через полгода, когда Тургенев, видите ли, соизволит возвратиться из Парижа) рассмешило Толстого. Он ответил своему «дяде» коротким убийственным посланием, которое отчетливо характеризует его:

«Милостивый государь,

Вы называете в письме своем мой поступок *бесчестным*, кроме того, Вы лично сказали мне, что Вы *“дадите мне в рожу”*, а я прошу у Вас извинения, признаю себя виноватым — и от вызова отказываюсь».

Конечно, моральная победа в этой истории была на стороне Толстого. Тургенев струсил. Но здесь проявился и невозможный характер Толстого. В гостях у Фетов он уязвил Тургенева в его самое слабое место. Судьба внебрачной дочери, рожденной от белошвейки в имении его матери Вар-

вары Петровны и подвергавшейся там издевательствам со стороны барыни, которая таким образом мстила сыну за его бегство за границу к Виардо, стала крестом Тургенева на всю жизнь. Он перевез девочку во Францию, к Виардо, и назвал ее именем своей любимой женщины. Тем не менее маленькая Полина ревновала отца к своей опекунше. Она совсем забыла русский язык и стала совершенной француженкой, крайне неудачно вышла замуж за владельца стекольной фабрики Гастона Брюэра. Муж пил и быстро разорялся, а временами грозил убить себя и жену. Тургенев настоял, чтобы она оставила мужа и с двумя детьми переехала в Швейцарию. До конца своей жизни он поддерживал дочь и внуков, которых очень любил. Но после его смерти в 1883 году его законной наследницей оказалась Полина Виардо. Дочь пыталась оспорить права Виардо, но проиграла судебный процесс и осталась с двумя маленькими детьми без средств к существованию. Она вынуждена была давать уроки музыки, чтобы прокормить детей и дать им образование. Умерла Полина в 1918 году. Сохранилось свидетельство о ее смерти: «12 октября тысяча девятьсот восемнадцатого года в 7 часов 30 минут скончалась в своей квартире... Пелагея Полина Тургенеф... без определенных занятий, дочь Ивана Тургенева...»

В Степановке у Фетов Толстой поступил жестоко. Конечно, он не мог знать всех обстоятельств рождения этой девочки и ее мытарств у бабушки в Спасском. Не мог знать, что ее держали на самых черных работах, но иногда Варвара Петровна приказывала одеть ее в богатое платье, и, когда та представляла пред ее очами, удивленно спрашивала слуг: «Скажите, на кого эта девочка так похожа?»

Но его неведение — слабое оправдание. По-видимому, Толстой был в принципе настроен на конфликт с Тургеневым. Возможно, ему не нравились его либеральные взгляды. Возможно, он ревновал к его литературному авторитету. А может быть, он просто боялся в очередной раз попасть под влияние более успешного и удачливого человека.

Толстой за границей

Русский дворянин не был бы русским дворянином, если хотя бы один раз не побывал за границей. То есть в Европе. Толстой посетил Европу дважды: в 1857 и в 1860—1861 годах. Но, судя по тому, что после этого в Европу он

больше никогда не ездил да особенно туда и не стремился, европейские турне не были важнейшими событиями в его жизни. Проще говоря, Толстой не стал «западником». Впрочем, и «славянофилом» он тоже не стал, хотя этим направлением русской мысли интересовался и общался с его представителями: Иваном и Константином Сергеевичами Аксаковыми, Иваном Васильевичем Киреевским, Юрием Федоровичем Самариным. Однако идейная партийность была не в его вкусе.

Сначала он, разумеется, поехал в Париж. Куда же еще? В Париж его тянуло не только желание увидеть «столицу мира», но и память об отце, который был здесь в плену в 1813—1814 годах. Он поехал налегке и без слуги. Столица Франции поразила его «бешенством балов», картинными галереями, музеями, театрами, соборами. Ему всё было интересно! Толстой посещает Национальную библиотеку, консерваторию, слушает лекции в Сорбонне. В Доме инвалидов рассматривает громадный саркофаг, в котором покоится тело Наполеона. Пишет в записной книжке: «Обожествление злодея, ужасно».

Париж переполняет его самыми разными впечатлениями.

Здесь много русских, в том числе и родственников: Трубецкие, Мансуровы, Мещерские... Здесь живет и Тургенев, с которым они еще не рассорились окончательно. Толстой встречается с ним каждый день. Вместе посещают концерт Полины Виардо. Тургенев продолжает с добродушной иронией наблюдать за литературным «племянником». В письмах друзьям и знакомым он обязательно упоминает Толстого и расхваливает его как главную надежду русской литературы. Вместе они отправляются в Дижон, селятся в одной гостинице. Февраль, холодно... Тургенев пишет Павлу Васильевичу Анненкову, что они с Толстым сидят «не близ камина, но в самом камине, на самом пылу огня».

Толстой прожил в Париже два месяца. И бежал из него. Все приятные впечатления рухнули в один день, 25 марта, когда он увидел публичную казнь на гильотине. Казнили Франсуа Рише, закоренелого преступника, виновного в убийстве и кражах. В этой казни не было ничего необычного. Больше того, многие правоведы того времени, в том числе и русские, считали публичную казнь более «нравственным» актом, нежели убийство в застенках или на закрытых тюремных дворах. В случае публичной казни ответствен-

ность за нее брали на себя не только судьи и палачи, но и городское общество.

Но Толстой увидел в этом совсем другую мораль.

В дневнике он пишет: «Больной встал в 7 час. И поехал смотреть экзекуцию. Толстая, белая, здоровая шея и грудь. Целовал Евангелие и потом — смерть, что за бессмыслица!»

На следующий день он спешно покидает Париж. В письме В. П. Боткину объясняет это внезапное решение: «Я видел много ужасов на войне и на Кавказе, но ежели бы при мне изорвали в куски человека, это не было бы так отвратительно, как эта искусная и элегантная машина, посредством которой в одно мгновение убили сильного, свежего, здорового человека... А толпа отвратительная, отец, который толкует дочери, каким искусным удобным механизмом это делается, и т. п. Закон человеческий — вздор! Правда, что государство есть заговор не только для эксплуатации, но главное для развращения граждан».

В этом же письме Толстой делает для себя принципиальный вывод: «...никогда не буду служить нигде *никакому* правительству».

И замечает: «...жизнь французская и народ мне нравятся, но человека ни из общества, ни из народа, ни одного не встретил путного».

Из Парижа он отправляется в Швейцарию. Женева, Кларан. Виды Женевского озера и горы, куда он несколько раз поднимался, восхищают его, связываясь в памяти с картинами прозы любимого Руссо. Но в Люцерне (позже он напишет рассказ «Люцерн») Толстого вдруг охватывает мистический страх, возможно, предвестник «арзамасского ужаса». Он пишет в дневнике: «Ночь чудо. Чего хочется, страстно желается? не знаю, только не благ мира сего. И не верить в бессмертие души! — когда чувствуешь в душе такое неизмеримое величие. Взглянул в окно. Черно, разорванно и светло. Хоть умереть. Боже мой! Боже мой! Что я? и куда? и где я?»

Из Швейцарии — в Германию. Там он опять пускается во все тяжкие. В Баден-Бадене за ночь игры в рулетку проиграл три тысячи рублей. Пишет письмо Тургеневу с просьбой выслать 500 франков. Тот едет спасать Толстого и находит его в Баден-Бадене в ужасающем состоянии, о чем сообщает в письме Боткину. Мало того что он проиграл все деньги, но еще и заболел сильным... (название болезни в публикации письма благо разумно опущено). Одновремен-

но ему пришло письмо от Сергея, где сообщалось, что сестра Маша ушла от мужа, узнав о его многочисленных связях с другими женщинами. В дневнике Толстой пишет, что эта новость «задушила» его.

Он мчится в Россию спасать сестру. Через Франкфурт, Дрезден, Берлин добирается до Штеттина, а оттуда пароходом в Кронштадт. Впрочем, в Дрездене он успел посетить картинную галерею, где его «сразу сильно тронула» «Сикстинская мадонна» Рафаэля. Литографию с этой картины потом подарит ему тетушка, фрейлина царского двора Александра Андреевна Толстая, с которой он познакомился в этой первой заграничной поездке. Эта картина и сегодня находится на стене в яснополянском кабинете Толстого.

Но что он мог сделать для сестры? Распущенный образ жизни ее мужа Валериана не был секретом ни для кого. Свояченица Толстого Татьяна Андреевна Кузминская в 1924 году писала литературоведу Мстиславу Александровичу Цявловскому, готовившему к изданию ее мемуары: «Муж Марии Николаевны был невозможен. Он изменял ей даже с домашними кормилицами, горничными и пр. На чердаке в Покровском найдены были скелетца, один-два новорожденных».

В конце концов Мария Николаевна заявила мужу: «Я не хочу быть старшей султаншей в вашем гареме».

Но это был XIX век. Женщина, ушедшая от мужа, да еще с тремя детьми, становилась персоной нон грата в светском обществе. Вспомним, как Анна Каренина уговаривала Долли не разводиться со Стивой, который грешил тем же, что и Валериан Толстой. Развод в то время был крайне сложной процедурой. К тому же Валериан до 1864 года не давал Марии развода.

Специально для сестры и ее детей Толстой снимал в Москве квартиру и некоторое время жил вместе с ними. И его второе заграничное путешествие отчасти было связано с необходимостью вывезти сестру в Европу, где ее «позор» не был бы бельмом на глазу светского общества.

Но, по-видимому, у самой Марии Николаевны был довольно авантюрный характер. Во французском курортном городке Экс-ле-Бене она познакомилась со шведским моряком Гектором де Кленом, простудившимся в плавании, заболевшим ревматизмом и приехавшим лечиться. Клен был красив, но болезнен — всегда ходил в теплых башмаках и с палкой. Их дружба перешла в пылкую любовь.

Три зимы они провели в Алжире. 8 сентября 1863 года Мария произвела на свет незаконнорожденную дочь Елену.

После смерти Валериана Мария Николаевна переехала в Покровское, серьезно занялась хозяйством. Дети подрастали. В 1871 году ее дочь Елизавета Валериановна вышла замуж за князя Леонида Дмитриевича Оболенского. Спустя четверть века их сын Николай Леонидович женится на самой любимой дочери Толстого, Марии, которая приходилась своему супругу... троюродной теткой. Так причудливо переплетались родственные связи дворянских семей того времени.

Выдав замуж обеих законных дочерей, Мария Николаевна часто ездила за границу. В 1873 году умер Клен. Она тяжело переживала его смерть и всерьез подумывала о самоубийстве. Тогда-то и появилось ее письмо брату Льву, навеянное чтением выходившей в свет частями в «Русском вестнике» «Анны Карениной»: «Боже, если бы знали все Анны Каренины, что их ожидает, как бы они бежали от минутных наслаждений, потому что всё то, что *незаконно*, никогда не может быть счастьем...»

Другой, еще более важной причиной второй поездки Толстого в Европу была болезнь старшего брата Николая. Он умирал от чахотки в немецком городке Содене. Лев перевез его на курорт Гиер близ Ниццы, где Николай в муках скончался на его руках 20 сентября 1860 года.

Толстой считал, что эта смерть была «самым сильным впечатлением» в его жизни. За четыре года до этого, тоже от чахотки, скончался в Орле Дмитрий. Лев посетил брата перед его смертью, но последний вздох Дмитрий Николаевич испустил в его отсутствие. А вот угасание Николеньки происходило на глазах Льва. Старший брат держался чрезвычайно мужественно, не показывая своих страданий. «До последнего дня он с своей необычайной силой характера и сосредоточенностью делал всё, чтобы не быть мне в тягость, — писал Лев брату Сергею. — В день своей смерти он сам оделся и умылся, и утром я его застал одетого на кресле. Это было часов за 9 до смерти, что он покорился болезни и попросил себя раздеть... Он умер совсем без страданий (наружных, по крайней мере). Реже, реже дышал, и кончилось. На другой день я сошел к нему и боялся открыть лицо. Мне казалось, что оно будет еще страдальчеее, страшнее, чем во время болезни, и ты не можешь вообразить, что это было за прелестное лицо с его лучшим, веселым и спокойным выражением. Вчера его похоронили тут».

В письме Александре Андреевне Толстой, которая была очень набожной и воцерковленной женщиной, он размышляет, что смерть брата ясно показала ему всю бессмысленность жизни. «Незачем жить, коли он умер — и умер мучительно; так что же тебе будет? — Еще хуже. Вам хорошо, ваши мертвые живут там, вы свидитесь с ними (хотя мне всегда кажется, что искренно нельзя этому верить — было бы слишком хорошо); а мои мертвые исчезли, как сгоревшее дерево».

Толстой отказывается везти тело умершего брата на родину, да и сам подумывает уже не возвращаться. «В Россию ехать незачем. Тут я живу, тут могу жить. Кстати, сестра здесь с детьми».

И в этом состоянии он делает в дневнике еще одну запись о «новой религии», которую будто бы хочет создать: «Во время самих похорон пришла мне мысль написать матерьялистическое Евангелие, жизнь Христа-матерьялиста...»

И вновь, как в случае с крымской записью в дневнике 1855 года, церковная критика обрушивается на Толстого за его «гордыню». Вот же чего вздумал, *свое* Евангелие написать! Да еще и *матерьялистическое*! Но при этом не учитывается жизненный контекст, который породил эту запись.

Брат Николай, безусловно, был атеистом. Перед смертью он не причащался. Мы не знаем, отпевали ли его в православном храме и был ли такой храм в маленьком городке Гиере, в котором даже сегодня проживает около семи тысяч человек.

Толстой обожал Николая, преклонялся перед ним. Тот больше остальных братьев служил младшему образцом для подражания, а после ранней смерти отца стал для него *отцом*...

И вот брат умирает у Льва на руках, как истинный стоик, без страха и упрека, но и без малейшей надежды на какую-либо загробную жизнь. Для младшего брата он и в кончине остается примером высокого мужества и достоинства. Однако Лев *так* не умеет. Даже если бы очень захотел. И на Кавказе, и в Крыму, и в первой заграничной поездке он испытал несколько религиозных потрясений, которые отчетливо показали ему: *без Бога он жить не может*. Но не может и согласиться с тем, что брат его жил неправильно. Отсюда эта странная запись.

Что касается «матерьялистического Евангелия», то пер-

вым его напишет не Толстой, а французский философ и писатель Эрнест Ренан, который как раз в 1860 году, когда Лев потерял брата, в составе археологической экспедиции путешествовал по Ближнему Востоку. Там у него и зародилась идея биографии Христа, из которой он убрал всё чудесное, закончив ее смертью Иисуса на кресте.

Толстой этой книги еще не читал — она выйдет в 1863 году. В 1902-м «Жизнь Иисуса» будет издана в России на русском языке, через год после того, как за похожие мысли Толстого отлучат от Церкви, а все его писания по этим вопросам будут запрещены цензурой. Что позволено французам — нельзя русскому.

В Россию он, конечно, вернулся. И, несмотря на смерть брата, второе заграничное путешествие оказалось куда плодотворнее первого. Он провел за границей девять с половиной месяцев, посетил Францию, Германию, Бельгию и Англию, изучая опыт преподавания в школах в разных странах, потому что в России хотел вернуться к педагогической деятельности. В феврале 1861 года в Лондоне он познакомился с Александром Ивановичем Герценом и Николаем Платоновичем Огаревым и часто бывал в их доме. Он все-речь увлекался музыкой и театром. В апреле, перед тем как покинуть Европу, он писал тетушке Ёргольской: «Я везу с собой столько впечатлений и столько знаний, что мне придется долго работать, чтобы уместить всё это в порядке в голове».

Запись в дневнике: «Граница. Здоров, весел».

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ (1862—1877)

Подколесин

Двадцать третьего сентября 1862 года в кремлевской церкви Рождества Богородицы на Сениях Лев Толстой обвенчался с Софьей Берс, дочерью московского врача-немца Андрея Евстафьевича Берса и его супруги Любо-ви Александровны (в девичестве Иславиной). Толстому к тому времени было 34 года, его жене только что исполнилось 18.

Присутствовавший на венчании народ ахал: «Какая молоденькая! За старика идет! Видать, богатый!»

Этому событию предшествовал целый ряд попыток Толстого жениться. В отличие от братьев — закоренелого холостяка Николая, Сергея, жившего гражданским браком с цыганкой, и Мити, скончавшегося на руках выкупленной из публичного дома проститутки; в отличие от сестры Марии, чье замужество потерпело фиаско, Лев подошел к проблеме брака основательно. Он хотел нарушить традицию семейных неудач своих братьев и сестры.

Как-то он признался, что мечтал о женитьбе с пятнадцатилетнего возраста. Он был убежден, что семейное счастье — его стезя. Он много размышлял об этом. В письме к Ёргольской, отправленном в 1852 году с Кавказа, за десять с лишним лет до женитьбы, он в подробностях описал свою будущую семейную жизнь: «Я женат — моя жена кроткая, добрая, любящая, и она Вас любит так же, как и я. Наши дети Вас зовут “бабушкой”; Вы живете в большом доме, наверху, в той комнате, где когда-то жила бабушка; всё в доме по-прежнему, в том порядке, который был при жизни папá, и мы продолжаем ту же жизнь, только переменив роли; Вы берете роль бабушки, но Вы еще добрее ее, я — роль папá, но я не надеюсь когда-нибудь ее заслужить; моя жена — мамá...»

Из этой «семейной программы» можно понять, что 24-летний Толстой представлял себе свою семейную жизнь как точную копию той, что была в Ясной Поляне при жизни его отца и матери. Ёргольской он отводит роль, прежде исполнявшуюся бабушкой Пелагеей Николаевной. Себе — роль отца, Николая Ильича. Жене — роль матери, Марии Николаевны. А дети? «...наши дети — наши роли», — пишет он Ёргольской. То есть его дети — это его братья, сестра и он сам в детстве, но... при живых родителях. Таким образом, «семейная программа» Толстого предполагала не только копирование прошлого, но и его, если можно так выразиться, *исправление*. Всё то же, но без постигшего семью несчастья, которое оставило детей Толстых сиротами. Толстой как бы хочет исправить ошибку Бога.

Отсюда становится понятным, почему при разделе наследства он мечтал получить Ясную Поляну, самое недоходное из имений. Он поставил себе целью восстановить семейный рай. И конечно, это могло случиться только в родовом гнезде, в Ясной!

Но жизнь вносила коррективы в осуществление «генерального» плана молодого Толстого. Кавказ, Крымская война, литературные занятия, две поездки за границу... Однако он не отказывался от плана, а лишь откладывал его реализацию. И тому были не только внешние, но и внутренние причины.

Во-первых, он считал себя некрасивым: большие оттопыренные уши, утиный нос, близко и глубоко посаженные глаза, слишком высокий рост... Он робел в присутствии женщин, даже не обязательно светских. В «Казаках» князь Оленин робеет наедине с казачкой Марьяной, хотя цель их свидания понятна обоим и вполне вписывается в этику казачьей станицы. Но Оленин чувствует, что не нравится женщинам. И проницательный дед Ерошка не случайно говорит ему на прощание: «Нелюбимый ты какой-то!» По кавказскому дневнику Толстого мы знаем, что у Марьяны был реальный прототип, ее звали Соломонида, и у Толстого были с ней те же проблемы, что у Оленина с Марьяной. Так он и убедил себя, что он какой-то *нелюбимый*.

И то, что в Казани, по пути на Кавказ, он не признался в любви Зинаиде Молоствовой, тоже не случайно. Она вспоминала о их свидании в Архиерейском саду: «С ним было интересно, но трудно».

С ним было трудно не только молодым девицам. Когда Толстой был в Швейцарии, он едва не влюбился в двоюрод-

ную тетушку Alexandrine — Александру Андреевну Толстую. Между ними возникла глубокая духовная близость. При этом они постоянно спорили о вере, о Церкви. Затем это вылилось в многолетнюю переписку, которую Толстой однажды назвал своей «духовной биографией». Увы, Alexandrine была старше его на целых 11 лет. Да и ее жизнь при дворе, где она была фрейлиной и воспитывала великих княжон, была не по душе Толстому. После успеха «Севастопольских рассказов», первый из которых царь распорядился перевести на французский язык и издать во Франции, у молодого писателя появились возможности быть обласканным царской фамилией. Вместо этого Толстой сторонился двора и называл его Трубой. Понятно, что и Alexandrine с ним было *трудно*.

В 1856 году у него возникла мысль жениться на Валерии Арсеньевой. Имение Арсеньевых Судаково находилось в десяти верстах от Ясной Поляны, и Толстые поддерживали с ним добрососедские отношения. После смерти Владимира Михайловича Арсеньева и его жены Евгении Львовны четверо их детей остались сиротами, и Лев Толстой взял опеку над ними. Валерии Арсеньевой было 20 лет, когда в дневнике Толстого стали появляться первые нежные записи о ней. Друг детства, тульский помещик Дмитрий Алексеевич Дьяков, убеждал его жениться на Валерии и готов был выступить «свахой».

Вместо этого Толстой затеял с девушкой какую-то странную и, как потом оказалось, жестокую игру. Он придумал «семейный роман», где действовали два героя, Храповицкий и Дембицкая. Они «любят друг друга» и собираются пожениться, но являются людьми «с противоположными наклонностями». В переписке с Валерией, которая длилась целый год, он играл с ней в этот воображаемый «роман», где описывал будущий образ жизни Храповицкого и Дембицкой во всех подробностях, вплоть до расположения комнат в их доме. Одновременно он «воспитывал» девушку, отмечая все ее слабости, все недостатки, даже в интимных элементах одежды. Что должна была при этом думать Валерия? Кажется, ясно! Дело идет к браку! Просто жених старше ее на восемь лет и хочет подготовить ее к семейной жизни.

В начале 1857 года, перед первым отъездом за границу, Толстой написал Арсеньевой письмо:

«Что я виноват перед собою и перед Вами ужасно виноват — это несомненно. Но что же делать?.. Прощайте, ми-

лая Валерия Владимировна. Христос с Вами; перед Вами так же, как и передо мной, своя большая, прекрасная дорога, и дай Бог Вам по ней прийти к счастью, которого Вы 1000 раз заслуживаете...

Ваш *гр. Л. Толстой*».

Трудно сказать, чего больше было в этом «романе» — жестокости или нелепости. Но очевидно, что в какой-то момент Толстой понял, что Арсеньева не может быть его женой. Ей будет *трудно* с ним. И он ставит точку в отношениях с Валерией.

Судьба ее не была несчастной. Она дважды выходила замуж, сперва за орловского чиновника, затем за петербургского. Скончалась в 73 года в Базеле, где и была похоронена...

«Тютчева, Свербеева, Щербатова, Чичерина, Олсуфьева, — я во всех был влюблен, — пишет Толстой в дневнике через год после бегства от Арсеньевой. И еще в круг его любовных интересов входят сестры Львовы, Менгден, Трубецкая, Дондукова-Корсакова... Со стороны может показаться, что Толстой стал светским ловеласом. Но это не так. Он поставил себе твердой целью жениться, продолжить дело отца и деда, продлить толстовский род. Именно поэтому он крайне разборчив в выборе невесты. А жених он, при всей своей некрасивой внешности, конечно, был завидный! Граф, потомок многих древних родов — Толстых, Волконских, Горчаковых, Трубецких... всех и не перечислишь. Боевой офицер, герой Севастополя. Небедный помещик. И, наконец, знаменитый писатель.

Поэтому он медлит. Ближе всего он был к женитьбе на Екатерине Тютчевой, дочери поэта Федора Ивановича Тютчева. Толстой боготворил его. Вместе с Пушкиным это был его любимый поэт. Возможно, поэтому и к дочери его он присматривался.

Она часто упоминается в его дневнике 1857—1858 годов: «...очень мила»; «...захватывает меня серьезно и всего»; «...занимает меня неотступно»; «...шел с готовой любовью к Тютчевой» и т. п. И в то же время: «Тютчева, вздор!»; «...это не любовь, не имеет ее прелести»; «...ни то, ни сё»; «Вообще она плоха». Его раздражает ее набожность: «К. Т. любит людей только потому, что ей Бог приказал».

Тем не менее в сентябре 1858 года он идет к Тютчевой с намерением сделать предложение. Но почему-то именно в этот день девушка приняла его холодно. И Толстой отказался от этой идеи.

Екатерина Тютчева (Кити, как называли ее близкие) была миловидная и образованная девушка, выпускница Смольного института. К моменту знакомства с Толстым ей исполнилось 22 года. Она писала в журналы, перевела на английский язык проповеди митрополита Филарета (Дроздова). В доме ее тетушки Дарьи Сушковой она была звездой литературного салона. Ей посвятил стихотворение «Вечер» Петр Андреевич Вяземский. «Она была девушкой замечательного ума и образования, — писал о ней ее современник, — у нее была приятная наружность, живые черные глаза; при твердом уме она была сдержанного характера, но не обладала тою женскою грацией, которая служит притягательною силою для мужчин. А так как требования ее естественно были высоки, то ей трудно было найти себе пару. Она пережила стариков и умерла, не выйдя замуж».

Тютчева стала фрейлиной императрицы Марии Александровны. В конце жизни, а прожила она 47 лет, занималась благотворительностью, построила ветеринарную лечебницу, открывала народные школы, писала учебники для крестьянских детей.

Что же не устроило Толстого в Кити Тютчевой? Позже он писал тетушке А. А. Толстой: «Прекрасная девушка К. — слишком оранжерейное растение, слишком воспитана на “безобязательном наслаждении”, чтобы не только разделять, но и сочувствовать моим трудам. Она привыкла печь моральные конфетки, а я вожусь с землей, с навозом... Ей это грубо и чуждо, как для меня чужды и ничтожны стали моральные конфетки...»

Еще в письме, отправленном Ёргольской с Кавказа, где он распределял роли всем в будущем семейном раю, Толстой писал, что его жена будет «хлопотать». А в рассказе «Утро помещика» он видел свою жену идущей в простом платье по грязи к бабам и мужикам. Они смотрят на нее, «как на какого-то ангела, как на провидение». Вернувшись домой, она скрывает от мужа, что ходила к простолюдинам оказывать помощь, но он всё понимает и нежно целует «ее прелестные глаза, стыдливо краснеющие щеки и улыбающиеся румяные губы».

Что-то подсказывает, что Екатерина Тютчева никак не подходила для этой роли.

С другой стороны, может быть, не случайно в «Анне Карениной» невесту, а затем жену Константина Левина зовут Кити.

Мария Николаевна пыталась принять участие в сердеч-

ных делах брата. Уж очень ей хотелось его женить! «Хоть бы кто-нибудь из нашего семейства был счастлив!» — писала она ему во время их общей заграничной поездки.

В это время в Брюсселе Толстой познакомился с Екатериной Дондуковой-Корсаковой, племянницей вице-президента Академии наук, о котором Пушкин однажды написал злую и несправедливую эпиграмму:

В Академии наук
Заседает князь Дундук.
Говорят, не подобает
Дундуку такая честь;
Почему ж он заседает?
Потому что ж... есть.

Княжна понравилась Толстому, о чем он сообщил сестре, находившейся тогда в Гиере. И Мария Николаевна решила во что бы то ни стало женить брата на Екатерине.

«Ради Бога, не беги от своего счастья, — пишет она, — лучше девушки по себе ты не встретишь; и семейная жизнь окончательно привяжет тебя к Ясной Поляне и к твоему делу».

Но она хорошо знала брата. Знала о его слишком «умственном» отношении к браку. О его нерешительности, о том, что он бесконечно взвешивает в голове все «за» и «против», как Подколесин в комедии Гоголя «Женитьба».

«Но я именно боюсь в тебе *подколесинскую закваску*, — пишет Мария. — Если это устроится, вдруг тебе покажется, зачем я это всё делаю. К. А., если не влюблена в тебя, чего я не думаю, то, вероятно, полюбит, сделавшись твоей женой, и в ее лета, конечно, можно наверное сказать, не разлюбит и имеет все данные, чтоб быть хорошей, понимающей женой и помощницей и хорошей матерью... Ради Бога, — не анализируй слишком, потому что ты, если начнешь анализировать, непременно во всяком обыкновенном вопросе найдешь камень преткновения и, не зная, как сам отвечать на *что* и *почему*, обратишься в *бегство*...»

Мария Николаевна оказалась права.

Толстой сбежал и от Екатерины Корсаковой.

Дьявол

На пути к семейному счастью было и еще одно препятствие.

Укоренилось мнение, что Толстой и после женитьбы, и

уж конечно до нее вел какой-то невозможно *порочный* образ жизни. Это даже вошло в фольклор — анекдоты, песенки и забавные стишки о якобы разгульной жизни Толстого в Ясной Поляне. Понятное дело — кругом же деревенские девки! Как тут устоять?

Поставим в этом вопросе жирную точку.

Женившись на Софье Андреевне Берс и прожив в браке 48 лет, Толстой *ни разу* не изменял жене. Софья Андреевна была очень ревнива, но и она написала в поздних мемуарах «Моя жизнь», что всегда была уверена в непорочности мужа. Ибо благородство по отношению к женщине, пишет она, «в породе Толстых».

К этому вопросу можно больше не возвращаться. Но вот что касается жизни Толстого до брака... Здесь всё куда сложнее.

В раннем дневнике Толстого вопрос о похоти занимает большое и важное место. По-видимому, это чувство, которое он выразительно называет «чувством оленя», было в нем сильно развито, но едва ли превышало чувство всякого молодого и здорового мужчины. А вот степень вины и жгучего стыда, которые он испытывал каждый раз, когда похоти уступал, превосходила разумные пределы. Толстой с такой тщательностью отмечал в дневнике любое «грехопадение», что действительно возникает ощущение какой-то крайней моральной нечистоплотности и неразборчивости в половых связях. Но вспомним, зачем Толстой начал вести свой дневник еще в Казани и почему часть дневника называл «франклиновским».

Крестьянки, горничные в гостиницах и, наконец, проститутки были к его услугам. Но почему-то связь с ними не доставляла ничего, кроме досады и муки. Похоть, был уверен Толстой, в буквальном смысле «мешала жить». Не давала развиваться в том направлении, о котором он мечтал и которое поставил своей целью. А мечтал он о внутренней свободе и независимости от внешних обстоятельств. Но похоть не была внешним обстоятельством. Бороться с похотью было куда труднее, чем с тщеславием и желанием подражать, как он считал, более успешным и талантливым людям. С похотью было невозможно бороться разумом. Это внеразумный, животный инстинкт — «чувство оленя». Можно заставить себя не обращать внимания на мнение окружающих. Трудно, но можно. Можно с иронией относиться к своему желанию прославиться. Можно презирать деньги. Но заставить себя *не желать женщину* физически



Nels Thompson



Прапрапрадед писателя
Петр Андреевич Толстой,
родоначальник графской
ветви рода. *И. Таннауэр. 1719 г.*



Герб графского рода Толстых

Дед и бабушка Льва Толстого по отцовской линии Илья Андреевич
и Пелагея Николаевна





Дед писателя по материнской
линии князь Николай Сергеевич
Волконский



Бабушка писателя по материнской
линии Екатерина Дмитриевна.
Ф. Рокотов. 1790-е гг.

«Дом Волконского» — самое старое здание в Ясной Поляне,
построенное Н. С. Волконским. Во времена писателя там жила
прислуга, располагались прачечная и «черная кухня»





Единственное сохранившееся изображение матери писателя Марии Николаевны — силуэт в девятилетнем возрасте



Николай Ильич Толстой, отец писателя. *Акварель с картины А. Молинари. 1815 г.*

Дом в Ясной Поляне, где родился Лев Толстой, впоследствии был продан им на вывоз. *Фото П. Преображенского. 1898 г.*





Тетушки писателя по отцовской линии Александра Ильинична, в замужестве Остен-Сакен, и Пелагея Ильинична, в замужестве Юшкова

Никольская церковь в селе Кочаки близ Ясной Поляны, возле которой находится фамильное захоронение Толстых





Толстой-студент.
Самое раннее
из сохранившихся
изображений
будущего писателя.
*Рисунок второй
половины 1840-х гг.*

В Казанском
университете
Толстой учился
с 1844 по 1847 год.
*Гравюра В. Турина.
1834 г.*





Толстой в поисках карьеры. *Санкт-Петербург, 1849 г.*



Икона Божьей Матери
«Трех Радостей»,
подаренная Толстому
тетушкой Татьяной
Александровной
Ёргольской перед его
отъездом на Кавказ

Севастополь
во время Крымской
войны. Четвертый
бастион. Литография
Д. Россова по рисунку
с натуры Н. Берга.
1854—1855 гг.





Толстой-прапорщик. 1854 г.



Братья Сергей, Николай,
Дмитрий и Лев Толстые.
Москва, 1854 г.



Сестра Мария.
1861 (?) г.



Писательский круг журнала «Современник». Сидят: И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, А. В. Дружинин, А. Н. Островский; стоят: Л. Н. Толстой, Д. В. Григорович. *Фото С. Левицкого. Санкт-Петербург, 1856 г.*

На втором этаже дома на Литейном проспекте размещалась редакция «Современника» и жили его редакторы Н. А. Некрасов и И. И. Панаев





Московский врач
Андрей Евстафьевич
Берс, тесть Толстого



Екатерина
Александровна,
теща Толстого

Сестры Берс:
Соня, Таня, Лиза.
1858—1859 гг.



С. А. Берс
и Л. Н. Толстой —
невеста и жених.
Фото Н. Тулинова.
1862 г.





Въезд в яснополянскую усадьбу. Фото К. Буллы. 1908 г.

Дом Толстых в Ясной Поляне



Дети Толстых:
Илюша, Лева, Таня,
Сереза. Тула,
1870—1871 гг.



Браслет
С. А. Толстой
с портретом мужа





Портрет Л. Н. Толстого кисти И. Н. Крамского. *Ясная Поляна, 1873 г.*

невозможно. Понимая это, Толстой вступает в сложную игру с этим сильнейшим из искушений. По сути, в игру с дьяволом. Повесть «Дьявол» — самое сильное произведение Толстого, посвященное этой теме.

«Девки сбили меня с толку», «девки мешают», «из-за девок... убиваю лучшие годы своей жизни» — постоянный мотив раннего дневника. Это дневник внутреннего «монаха». Он не видит в половой страсти ни единого светлого момента. Но от нее некуда бежать, как бежал он от светских развлечений и карточной игры. Она настигает его везде — в Ясной Поляне, в Москве, в Петербурге, на Кавказе, за границей... Возможно, его почти счастливое состояние в осажденном Севастополе под бомбами и картечью объясняется еще и тем, что бомбы и картечь лучше всего иного позволяли забыть о похоти. Страх смерти оказался острее «чувства оленя».

Заграничный дневник 1857 года создает впечатление, что Толстой был просто-таки эротоманом. Париж, Женева, Кларан, Берн... Почему-то о красотах и достопримечательностях этих мест он пишет скупно, но зато постоянно обращает внимание на «хорошеньких». «Бойкая госпожа, замер от конфуза»; «кокетничал с англичанкой»; «преlestная, голубоглазая швейцарка»; «служанка тревожит меня»; «красавицы везде с белой грудью»; «красавица с веснушками». «Женщину хочу ужасно». «Красавица на гулянье — толстенькая». «*Девочки. Две девочки из Штанца заигрывали, и у одной чудные глаза*». «Славная церковь с органом, полная *хорошеньких*». «Пропасть *общительных и полухорошеньких...*» «Встреча с молодым красивым немцем у старого дома на перекрестке, где две *хорошеньких...*» «Встретил *маленькую*, но убежал от нее».

И в это время из Парижа Тургенев пишет П. В. Анненкову о молодом Толстом: «...странный он человек, я таких не встречал и не совсем его понимаю. Смесь поэта, кальвиниста, фанатика, барича — что-то, напоминающее Руссо, но честнее Руссо — высоконравственное и в то же время несимпатическое существо».

Почему «несимпатическое»? Потому что из него всё *торчит*. Нет цельности, гармонии. Почему «высоконравственное»? Тургенев, который позже будет спасать Толстого в Бадене, проигравшегося, задолжавшего кучу денег и вдобавок заболевшего неприличной болезнью, прекрасно понимал, что тот — не образец морали. Но Тургенев был глубоким психологом. Он видел внутренний стержень этого

странного молодого человека. Порочные страсти — не его стезя.

«Хорошенькие», «полненькие», «с белой грудью» — это от дьявола, которому Толстой часто уступает, но не прощает себе ни одного поражения. Всё записывает в дневник! Потом, в старости, перечитывая записки своей молодости, он думал уничтожить их. Он понимал, какое впечатление они произведут на неподготовленного читателя. Однако — оставил. Зачем? А для того, чтобы люди знали, что даже такого грязного, порочного и отвратительного молодого человека, каким он себя считал, не оставил Бог. Ведь в результате получилось же из него *нечто*. Всего-то — Лев Толстой, мировая величина. Значит, он выиграл сражение с дьяволом?

Нет, всё не так просто. Повесть с названием «Дьявол» Толстой написал в ноябре 1889 года за десять дней. И 20 лет прятал рукопись в обшивке стула, так и не напечатав. Объяснения, что он просто боялся показать эту повесть жене, тут явно недостаточно. Дело в том, что эта повесть была свидетельством самого главного поражения Толстого в игре с дьяволом.

«Софья Андреевна сегодня охвачена злом, — пишет доктор Толстого Душан Маковицкий 13 мая 1909 года, — гневно, злобно упрекала Л. Н. за повесть, которую нашла в его столе и которую он и не помнил, что и когда написал».

Как же не помнил? 19 февраля того же года Толстой написал в дневнике: «Просмотрел “Дьявола”. Тяжело, неприятно».

В повести рассказывалось о связи Толстого с замужней крестьянкой Аксиной Базыкиной, его самом продолжительном и мучительном романе до женитьбы. Результатом этой связи был внебрачный сын.

Двадцать шестого апреля 1909 года зять Толстого Михаил Сергеевич Сухотин пишет в дневнике:

«Ездил со Л. Н. к Чертковым. По дороге заехали к одной бабе, у которой умер ночью неизвестный странник. Покойный лежал на полу, на соломе, лицо было прикрыто какой-то тряпкой. Л. Н. приказал открыть лицо и долго вглядывался в него. Лицо было благообразное, спокойное. Тут же сидело несколько мужиков. Л. Н. обратился к одному из них:

— Ты кто такой?

— Староста, ваше сиятельство.

— Как же тебя зовут?

— Тимофей Аниканов*.

— Ах, да, да, — произнес Л. Н. и вышел в сени. За ним последовала хозяйка.

— Какой же это Аниканов? — спросил Л. Н.

— Да Тимофей, сын Аксиньи, ваше сиятельство.

— Ах, да, да, — задумчиво произнес Л. Н.

Мы сели в пролетку.

— Да ведь у вас был другой староста, Шукаев, — произнес Л. Н., обращаясь к кучеру Ивану.

— Отставили, ваше сиятельство.

— За что же отставили?

— Очень слабо стал себя вести, ваше сиятельство. Пил уж очень.

— А этот не пьет?

— Тоже пьет, ваше сиятельство.

Я всё время наблюдал за Л. Н. и никакого смущения в нем не заметил. Дело в том, что этот Тимофей — незаконный сын Л. Н., поразительно на него похожий, только более рослый и красивый. Тимофей — прекрасный кучер, живший по очереди у своих трех законных братьев, но нигде не уживавшийся из-за пристрастия к водке. Забыл ли Л. Н. свою страстную любовь к бабе Аксинье, о которой он так откровенно упоминает в своих старых дневниках, или же он счел нужным показать свое полное равнодушие к своему прошлому, решить не берусь».

Тимофей Базыкин родился в 1860 году. Толстой вступил в связь с крестьянкой Аксиньей через год после возвращения из первой поездки за границу. Это было на Троицу, в мае 1858 года. «Чудный Троицын день, — пишет Толстой в дневнике. — Вянущая черемуха в корявых руках; захлебывающийся голос Василия Давыдкина. Видел мельком Аксинью. Очень хороша. Все эти дни ждал тщетно. Нынче в большом старом лесу, сноха, я дурак. Скотина. Красный загар шеи... Я влюблен, как никогда в жизни. Нет другой мысли. Мучаюсь. *Завтра все силы*».

Эта связь продолжалась два года и стала для него «исключительной». В замужней крестьянке он впервые почувствовал то, чего не находил в провинциальных и столичных барышнях, — не просто женщину, но *жену*. Не чужую, а *свою*.

И он понимает, что запутался окончательно. «Ее нигде

* Так называли в Ясной Поляне сына Аксиньи Базыкиной от Толстого.

нет — искал. Уж не чувство оленя, а мужа к жене. Странно, стараюсь возобновить бывшее чувство пресыщения и не могу».

Вернувшись из Севастополя и живя в Ясной Поляне и Москве, Толстой отмечает в себе «уже не темперамент», а «привычку разврата». «Похоть ужасная, доходящая до физической боли». «Шлялся в саду со смутной, сладострастной надеждой поймать кого-то в кусту. Ничто мне так не мешает работать. Поэтому решился, где бы то и как бы то ни было, завести на эти два месяца любовницу». «Я невыносимо гадок этим бессильным поползновением к пороку, — признается он себе. — Лучше бы был самый порок».

В «Дьяволе» помещик Евгений Иртенев — это, несомненно, он сам. Толстой даже не скрывает этого. Евгений окончил юридический факультет, Толстой пытался получить диплом юриста в Петербурге экстерном. Евгений получил наследство после раздела с братьями, точно так же было в жизни Толстого. Евгений начинал служить в Министерстве внутренних дел, там же хотел одно время служить Толстой. Евгений очень силен физически, «среднего роста, сильного сложения с развитыми гимнастикой мускулами, сангвиник с ярким румянцем во всю щеку, с яркими зубами и губами». Толстой был очень сильным мужчиной, гимнастом. С юности до старости поднимал гири, крутился на турнике.

Главное, что мучает Евгения, — похоть. «Он не был развратником, но и не был, как он сам себе говорил, монахом. А предавался этому только настолько, насколько это было необходимо для физического здоровья и умственной свободы, как он говорил...»

И тогда в жизни Евгения появляется Степанида. В конце повести Евгений говорит о ней: «Ведь она черт. Прямо черт. Ведь она против воли моей завладела мною». В другом варианте это звучит так: «Господи! Да нет никакого Бога. Есть дьявол. И это она. Он овладел мной. А я не хочу, не хочу. Дьявол, да, дьявол».

В первом варианте финала повести Евгений застрелился. Во втором — убил Степаниду. В обоих вариантах Евгения признали умалишенным. Последние фразы обоих вариантов почти идентичны. «И действительно, если Евгений Иртенев был душевнобольной, то все люди такие же душевнобольные, самые же душевнобольные — это несомненно те, которые в других людях видят признаки сумасшествия, которых в себе не видят».

После связи с Аксиньей Толстой вдруг понимает, что его ситуация универсальна. Это ловушка для всех мужчин. Возможно, испугавшись этой мысли, он в дневнике 1859 года ставит себе твердую цель: «Надо жениться в нынешнем году — или никогда».

Однако ему потребовалось еще почти три года поисков, чтобы найти себе ту девушку, которая могла бы стать его женой.

Берсы

В конце концов в поисках невесты взгляд Толстого остановился на семье Берс.

С 1856 года он часто бывает в Покровском под Москвой, где Берсы снимают дачу. Он приезжает туда в мае вместе с Константином Иславиным, братом его будущей тещи Любви Александровны Берс. Для Толстого Любовь Александровна была просто Любочкой, подругой детства, в которую он был по-детски влюблен и, по слухам, как-то в порыве «ревности» столкнул с балкона яснополянского дома, потому что говорила она не с ним, а с другими мальчиками.

У Любочки была сложная судьба. Ее отец, помещик Александр Михайлович Исленьев, сосед по имению Николая Ильича Толстого, был настоящий русский *барин*. Считается, что он даже в большей степени послужил прототипом отца Николеньки в «Детстве», чем Николай Ильич.

Имение Исленьевых Красное находилось в 35 верстах от Ясной Поляны. Соседи вместе охотились и порой гостили друг у друга семьями, целыми неделями, со своими поварами, лакеями и горничными. Ночевали в комнатах и коридорах, спали на полу на войлоках и рогожах. Так что Исленьевых Толстой знал с детства.

Любовь Александровна была незаконной дочерью Александра Михайловича от его брака с княгиней Софьей Петровной Козловской, которая бежала от мужа и тайно обвенчалась с Исленьевым в селе Красном. История наделала много шума, потому что Козловская в девушках была фрейлиной при дворе. По жалобе Козловского ее второй брак был признан незаконным. Дети Исленьева от незаконной жены должны были «исправить» фамилию на Иславиных.

Муж Любви Александровны, Андрей Евстафьевич Берс, немец по происхождению, работал кремлевским вра-

чом, а также сверхштатным врачом московских театров. И хотя он имел звание гоф-медика, но никаким придворным врачом не был. До революции Кремль являлся жилым районом Москвы, и обитали здесь не самые богатые люди — купцы, мещане, мастеровые. Говоря современным языком, будущий тесть Толстого был районным врачом. Семья жила довольно бедно, ютилась в тесных комнатах.

Андрей Евстафьевич Берс был человек честный, прямодушный и вспыльчивый. По-видимому, у него был трудный характер, что не мешало ему любить своих детей и жену, но в то же время иметь репутацию ловеласа. В его жизни была загадочная история. По окончании университета в 1827 году он в качестве домашнего врача поехал в Париж вместе с родителями будущего писателя Тургенева. После этой поездки у Варвары Петровны Тургеневой родилась от него дочь, единоутробная сестра Ивана Сергеевича Тургенева. Затем она оставила после себя интересные воспоминания. Ходили слухи, что незаконным сыном Берса был и анархист князь Петр Кропоткин, чья мать тоже была его пациенткой.

Так или иначе, но семья Берс жила дружно. Любовь Александровна была прекрасной хозяйкой (отменной хозяйкой стала и Софья Андреевна). Берсы общались с князем Сергеем Михайловичем Голицыным, профессором Московского университета Николаем Богдановичем Анке, А. А. Фетом, И. С. Тургеневым. Вернувшись из Севастополя, к Берсам стал вхож и Толстой.

Во время первого посещения дома Берсов в центре его внимания сразу оказались три дочери — Лиза, Соня и Таня. Лизе было 13 лет, Соне — 11, Тане — 9. Все трое «важно» прислуживали гостям за столом. Можно только догадываться, что они чувствовали при этом. Ведь Толстой в их глазах был уже известным писателем и героем Севастополя!

Толстой пишет в дневнике: «Дети нам прислуживали, что за милые, веселые девочки».

После возвращения из второй заграничной поездки, во время которой он потерял любимого брата Николая, Толстой чувствовал себя одиноким. Похоронив брата в Гиере, он писал Фету: «Для чего хлопотать, стараться, коли от того, что было Н. Н. Толстого... ничего не осталось».

Он решает отказаться от литературного творчества. Зачем оно? Ведь «завтра начнутся муки смерти со всей мерзостью подлости, лжи, самообманыванья, и кончатся ничтожеством, нулем для себя».

В семье Берс он находит душевное успокоение. Здесь ему приятно находиться. Приятно получать такие, к примеру, приглашения:

«20 августа 1862 года. Покровское.

Во главе всех пишуших приношу Вам, любезный Граф Лев Николаевич, мое задушевное поздравление со днем Вашего рождения и прошу Вас приехать к нам сегодня обедать и ночевать. В среду утром я обязуюсь доставить Вас в Москву, если Вам угодно будет со мной ехать. Надеюсь, что добрый Лев Николаевич не откажется всех нас утешить — подавно в такой день, который многих утешил появлением и теперешним Вашим пребыванием на белом свете. — И так надеюсь, что до свидания.

Ваш искренно любящий Берс».

На обороте листа — другим почерком:

«В старину Лёвочка и Любочка танцевали в этот день, теперь же, на старости лет, не худо нам вместе попокойнее отобедать, в Покровском, в кругу моей семьи вспомнить молодость и детство.

Л. Берс».

В начале 1860-х годов старшая из сестер, Лиза, достигла совершеннолетия. Порядок требовал, чтобы первой замуж вышла старшая сестра. Лиза была девушка милая, серьезная. Ее постоянно видели с книгой в руках.

— Лиза, иди играть с нами, — звали ее младшие сестры.

— Погоди, мне хочется дочитать до конца.

Казалось, именно Лизина серьезность должна была привлечь Толстого. И он поначалу ее оценил и привлек Лизу к сотрудничеству в своем педагогическом журнале «Ясная Поляна». И в это же время он заявил сестре, которая была очень дружна с Любой Берс:

— Машенька, семья Берс мне симпатична, если бы я когда-нибудь женился, то только в их семье.

Эти слова подслушала гувернантка детей Марии Николаевны и передала своей сестре, гувернантке детей Берсов. И их родители решили, что речь, конечно, шла о Лизе.

У Берсов Толстой «танцевал» со всеми тремя сестрами. С Соней он еще и музицировал вдвоем. А самая младшая, Танечка, использовала его как верховую лошадь, с воинственным криком разъезжая на его спине по комнате.

Эта забава — использовать Толстого как лошадь — сохранилась у Тани и после того, как Толстой женился на Соне. «То-то пойдет у нас верховая езда по зале, — писал Андрей Евстафьевич в Ясную Поляну, уговаривая Льва Ни-

колаевича и Соню приехать в Москву. — Танька того и ждет только, чтобы взобраться на спину твоего мужа».

Толстой стал кумиром для всех трех сестер. Каждое его посещение было для них событием.

И Толстой это понимал, чувствовал и дышал этим воздухом всеобщей в него влюбленности.

И вот в августе 1862 года он решил, что *участь его решена*. Но выбор был сделан в пользу не старшей, Лизы, а средней, Софьи.

Берсы были классической семьей. Баловал дочек папá, а воспитывала из них настоящих женщин, будущих жен, мамá. Танечку как самую младшую баловали больше всех. Лиза считалась девушкой ученой, «книжной». А вот среднюю, Соню, с раннего детства приучили к хозяйству. «Кроме уроков, — вспоминала Софья Андреевна, — мы, две сестры, должны были сами шить и чинить белье, вышивать... Хозяйство тоже было отчасти в наших с сестрой Лизой руках. Уже с 11-ти летнего возраста мы должны были рано встать и варить отцу кофе. Потом мы выдавали кухарке из кладовой провизию, после чего к 9-ти часам готовили всё к классу... Отец вообще баловал нас и любил доставлять нам не только нужное, но даже роскошное. У матери были свои, довольно своеобразные взгляды. Она боялась доставлять нам роскошь, приучать к ней, заставляла нас шить на себя белье, вышивать, чинить, хозяйничать, убирать всё... А между тем она не могла представить, чтобы мы, девочки, гуляли без ливрейного лакея или ездили бы на извозчике».

У Сони были свои представления о том, каким должен быть ее муж. «Когда мне было 15 лет, — пишет Софья Андреевна в мемуарах, — приехала к нам гостить двоюродная сестра Люба Берс, у которой только что вышла замуж сестра Наташа. Эта Люба под большим секретом сообщила мне и сестре Лизе все тайны брачных отношений. Это открытие мне, всё идеализирующей девочке, было просто ужасно. Со мной сделалась истерика, и я бросилась на постель и начала так рыдать, что прибежала мать, и на вопросы, что со мной, я только одно могла ответить: “Мама, сделайте так, чтоб я забыла...”

...и вот я решила тогда, что если я когда-нибудь выйду замуж, то не иначе как за человека, который будет так же чист, как я...»

Что она тогда знала о Толстом? Могла ли всерьез думать, что этот поживший, повоевавший 34-летний мужчина «так же чист», как она? В это трудно поверить. Тем более

что она была дочерью врача и, конечно, знала, каким образом появляются на свет дети.

Но недаром бабушка Мария Ивановна Вульферт говорила о Сонечке, которую любила больше всех: «*Sophie a la tete abonnée*» (игра слов: «У Сони голова в чепце» или «У Сони голова абонирована»). Это означало, что Соня первой выйдет замуж.

Толстой пристально всматривался в сестер. Даже после женитьбы на Соне он не прекратил наблюдать за Таней, которая стала прототипом Наташи Ростовой в «Войне и мире». Образ Наташи Ростовой наиболее ярко отражает всю сложность отношения Толстого к сестрам Берс. «Я взял Таню, перетолок ее с Соней, и вышла Наташа», — шутил Толстой.

И еще в присутствии жены и свояченицы он любил говорить: «Если бы вы были лошади, то на заводе дорого бы дали за такую пару; вы удивительно паристы, Соня и Таня». Едва ли Софья Андреевна была рада прочитать в дневнике своего мужа признание, сделанное через три месяца после их свадьбы: «В Таню всё вглядываюсь». И еще через три дня: «Боязнь Тани — чувственность».

В этом раскладе самая незавидная роль отводилась Лизе. Между тем она убедила себя, что граф сделает ей предложение, и готовилась к этому. Как вспоминала Татьяна Андреевна, «в ней заговорило не то женское самолюбие, не то как будто сердце... Она стала оживленнее, добрее, обращала на свой туалет больше внимания, чем прежде. Она подолгу просиживала у зеркала, как бы спрашивая его: “Какая я? Какое произвожу впечатление?” Она меняла прическу, ее серьезные глаза иногда мечтательно глядели вдаль».

Танечка ей сочувствовала. А Соня? Соня знала, что в соперничестве со старшей сестрой на ее стороне женское обаяние и привлекательность. Она не была красивой, но в нее влюблялись и совсем мальчишки, и взрослые мужчины. Забавный случай произошел в Покровском. К Берсам приехали их друзья Перфильевы и с ними четырнадцатилетний Саша, «недоразвитый, наивный мальчик». «Он сидел около Сони, — пишет Татьяна Кузминская в воспоминаниях, — всё время умильно глядя на нее. Вдруг взяв рукав ее платья, он стал усиленно перебирать его пальцами. Соня конфузливо улыбалась, не зная, что бы это значило.

— *Pourquoi touchez la robe de m-lle Sophie?** — послы-

* Зачем ты трогаешь платье Софи? (*фр.*).

шался вдруг резкий голос Анастасии Сергеевны, матери Саши.

— Влюблен».

И 35-летний профессор Нил Александрович Попов, «степенный, с медлительными движениями и выразительными серыми глазами», тоже влюбился в Сонечку. И учитель русского языка Василий Иванович Богданов — пришлось даже отказать ему от дома. И сын придворного аптекаря. И сын партизана и поэта Дениса Давыдова. И Янихин, сын акушера.

В Соне было сильно развито женское начало. Она рано проявила себя как будущая мать.

«Лиза всегда почему-то с легким презрением относилась к семейным, будничным заботам, — вспоминала Кузминская. — Маленькие дети, их кормление, пеленки, всё это вызывало в ней не то брезгливость, не то скуку. Соня, напротив, часто сидела в детской, играла с маленькими братьями, забавляла их во время их болезни, выучилась для них играть на гармонии и часто помогала матери в ее хозяйственных заботах».

В Соне была какая-то загадка.

«Она имела очень живой характер, — пишет Татьяна Андреевна, — с легким оттенком сентиментальности, которая легко переходила в грусть. Соня никогда не отдавалась полному веселью или счастью, чем баловала ее юная жизнь... Она как будто не доверяла счастью, не умела его взять и всецело пользоваться им. Ей всё казалось, что сейчас что-нибудь помешает ему... Отец знал в ней эту черту характера и говорил: “бедная Сонюшка никогда не будет вполне счастлива”».

Но Сонюшка была практичной и рассудительной.

— Соня, *tu aimes le comte*?* — однажды спросила сестру Танечка.

— *Je ne sais pas*** — тихо ответила та, нисколько не удивившись.

— Ах, Таня, — немного погодя заговорила она, — у него два брата умерли чахоткой.

Соня уже испытала влюбленность — в кадета Митрофана Поливанова, друга ее брата Саши. «Это был высокий, белокурый юноша, умный, милый, вполне порядочный». Она была тайно «помолвлена» с ним, так же как Таня — со своим кузеном Сашей Кузминским.

* Ты любишь графа? (фр.).

** Не знаю (фр.).

Соня и Таня догадались о влюбленности графа раньше родителей и Лизы. Лиза старательно убеждала себя, что влюблена в графа. По Москве уже ходили слухи о скорой женитьбе Толстого на Лизе Берс. А сам Толстой не только не чувствовал себя влюбленным в нее, но и был уверен, что на Лизе не женится.

Двадцать второго сентября 1861 года он пишет: «Лиза Берс искушает меня; но это не будет». После этого он прерывает ведение дневника на полгода и возобновляет его в мае 1862-го, когда уезжает в самарские степи лечиться курью. Он в самом деле серьезно болен, худеет, хиреет на глазах. Призрак чахотки, стубившей двух его братьев, преследует и его.

Но поездка в Башкирию, похоже, была и бегством от Лизы. Так когда-то он бежал от Арсеньевой. На пароходе Толстой «возрождается к жизни» и «к осознанию ее». «...меня немного отпустили на волю», — пишет он в дневнике, имея в виду отношения с Лизой. «Боже мой! Как бы она была красиво несчастлива, ежели бы была моей женой». «Я начинаю всей душой ненавидеть Лизу».

И, наконец, в его дневнике появляется запись о Соне: «Я влюблен, как не верил, чтобы можно было любить...»

В сентябре 1862 года Толстой не спит ночами и страдает. Он боится! Не того, что сделает неправильный выбор, а что ему откажут. Он ревнует Соню к Поливанову. Он чувствует себя очень старым и в то же время «16-летним мальчиком». Носит с собой письмо с объяснением в любви и не решается его отдать. Попросту говоря, он сходит с ума. «Я сумасшедший, я застрелюсь, ежели это так будет продолжаться».

Все помнят, как Константин Левин в «Анне Карениной» писал Кити на ломберном столике начальные буквы слов объяснения в любви. В реальной жизни эта история имела ряд деталей, которые не вошли в роман.

Во-первых, в романе нет Лизы и соперничающей с ней сестры, тогда как Соня, по сути, отбила жениха у старшей сестры.

Во-вторых, в этой сцене нет третьего лица, Танечки, будущей Наташи Ростовской. Когда Толстой в сельце Ивицы, принадлежавшем деду сестер Берс, Исленьеву, писал на столике: «В. м. и п. с. с. ж. н. м. м. с. и н. с.» («Ваша молодость и потребность счастья слишком живо напоминают мне мою старость и невозможность счастья»), они были в гостинной не одни. Под роялем сидела Таня, спрятавшая

яся от взрослых. Она стала свидетелем того, что Толстой скрыл в своем романе. Соня, в отличие от Кити, не разобрала сложной аббревиатуры. Некоторые слова Толстой ей подсказывал. Потом Соня призналась сестре: понять, что написал ей граф на ломберном столе, она вовсе не смогла.

В реальности Толстой писал на ломберном столе не только слова о «невозможности счастья». Он писал еще и о том, что в семье Берс сложились превратные представления о его отношениях с Лизой, и просил Соню вместе с Танечкой помочь ему выпутаться из щепетильной ситуации. По сути, он предлагал Сонечке вступить в заговор против старшей сестры.

«Перед тем как приехать в Ивицы, — вспоминала Кузминская, — Берсы остановились в Ясной Поляне. Это был август 1862 года. Девушкам отвели “комнату под сводами”, где раньше была кладовая, а теперь находился кабинет Толстого. Одного спального места не хватало, и хозяин предложил использовать раздвижное кресло.

— А тут я буду спать, — немедленно заявила Соня.

— Я вам сейчас всё приготовлю, — сказал хозяин».

И Толстой стал стелить Соне постель. В воспоминаниях Кузминской описано с юмором, как Толстой «непривычными, неопытными руками стал разворачивать простыни, класть подушки, и так трогательно выходила у него материальная, домашняя забота». Но в воспоминаниях Софьи Андреевны эта сцена выглядит иначе:

«Мы стелили с Дуняшей, горничной тетеньки, как вдруг вошел Лев Николаевич, и Дуняша обратилась к нему, говоря, что троим на диванах постелили, а вот четвертой — места нет. “А на кресле можно”, — сказал Лев Николаевич и, выдвинув длинное кресло, приставил к нему табуретку. “Я буду спать на кресле”, — сказала я. “А я вам сам постелю постель”, — сказал Лев Николаевич и неловкими движениями стал разворачивать простыню. Мне стало и совестно, и было что-то приятное, интимное в этом совместном приготовлении ночлегов...»

Когда Толстой вышел, Лиза устроила Соне сцену.

Но было уже поздно.

Толстой мечтал о женитьбе с пятнадцатилетнего возраста. С Софьей Андреевной он прожил почти полвека. А вот период его жениховства занял всего месяц, с конца августа до конца сентября 1862 года. По-настоящему ни Толстой не успел почувствовать себя женихом, ни Сонечка — невестой. Сразу — муж и жена.

Шестнадцатого сентября 1862 года Толстой пришел к Берсам, держа в кармане письмо с предложением руки и сердца. «Предложение было написано на грязной четвертушке простой писчей бумаги, и Лев Николаевич носил его в кармане целую неделю, не решаясь мне его подать», — вспоминала его супруга.

«Софья Андреевна!

Мне становится невыносимо. Три недели я каждый день говорю: “нынче всё скажу”, и ухожу с той же тоской, раскаяньем, страхом и счастьем в душе. И каждую ночь, как и теперь, я перебираю прошлое, мучаюсь и говорю: зачем я не сказал, и как, и что бы я сказал. Я беру с собой это письмо, чтобы отдать его Вам, ежели опять мне нельзя или недостанет духу сказать Вам всё. Ложный взгляд Вашего семейства на меня состоит в том, как мне кажется, что я влюблен в Вашу сестру Лизу. Это несправедливо... В Ивицах я писал: “Ваше присутствие слишком живо напоминает мне мою старость и невозможность счастья, и именно Вы...”

Но и тогда, и после я лгал перед собой. Еще тогда я бы мог оборвать всё и опять пойти в свой монастырь одинокого труда и увлечения делом. Теперь я ничего не могу, а чувствую, что я напугал у Вас в семействе, что простые, дорогие отношения с Вами как с другом, честным человеком, — потеряны. А я не могу уехать и не смею остаться. Вы, честный человек, руку на сердце, не торопясь, ради Бога не торопясь, скажите, что мне делать. Чему посмеетесь, тому поработаешь. Я бы помер со смеху, ежели бы месяц назад мне сказали, что можно мучаться так, как я мучаюсь, и счастливо мучаюсь, это время. Скажите как честный человек, хотите ли Вы быть моей женой? Только ежели от всей души, смело Вы можете сказать: “да”, а то лучше скажите “нет”, ежели есть в Вас тень сомнения в себе.

Ради Бога, спросите себя хорошо. Мне страшно будет услышать “нет”, но я его предвижу и найду в себе силы снести; но ежели никогда мужем я не буду любимым так, как я люблю, это будет ужасней».

Получив письмо, Соня пошла в девичью комнату и заперлась на ключ. Лиза стала стучать в дверь.

— Соня! — кричала она. — Отвори дверь, отвори сейчас!

Дверь открылась. Соня молчала, держа в руке письмо.

— Говори, что *le comte** пишет тебе! — закричала Лиза.

* Граф (*фр.*).

— Il m'a fait la proposition*.

— Откажись! Откажись сейчас же!

Соня пошла в комнату, где ее ждал Толстой.

— Разумеется «да»! — сказала она.

Через несколько минут начались поздравления. Лиза в своей комнате рыдала. Потом, узнав о решении Сони, будет рыдать кадет Поливанов. Когда Соня и Толстой венчались в кремлевской церкви, он держал над головой невесты венец. «Поливанов испил чашу до дна», — вспоминала Софья Андреевна.

«Молодые» уехали в Ясную Поляну в тот же день, когда состоялось венчание. Провожая Соню, рыдала вся семья Берс, кроме Андрея Евстафьевича, который был болен и не в духе. Новобрачные зашли к нему в комнату попрощаться.

Для поездки Толстой специально купил дормез, огромную карету, в которой можно лечь во весь рост. «В день свадьбы страх, недоверие и желанье бегства. Торжество обряда. Она заплаканная. В карете. Она всё знает и просто. В Бирюлеве. Ее напуганность. Болезненное что-то. Ясная Поляна... Ночь, тяжелый сон. Не она».

Не она? Что значили эти слова?

И еще он пишет в дневнике о странном видении, которое возникло в доме Берсов, когда они остались с Соней вдвоем как жених и невеста. «Непонятно, как прошла неделя. Я ничего не помню; только поцелуй у фортепьяно и появление сатаны».

Двадцать четвертого сентября 1862 года граф Лев Толстой и графиня Софья Толстая прибыли в яснополянское имение...

Роковая ошибка

«В день свадьбы страх, недоверие и желанье бегства».

В самом деле, он чуть не сбежал, как Подколесин в «Женитьбе». Тем более что и повод обнаружился. Вдруг не оказалось чистой сорочки, все вещи были уже в карете с чемоданами. Не ехать же венчаться в старой! Впрочем, сорочку нашли. Но в храме Толстого долго ждали, и возникла заминка.

Утром в день свадьбы он неожиданно появился в дом

* Он сделал мне предложение (фр.).

Берсов и прошел прямо к Соне. Таня побежала докладывать матери о внезапном приезде жениха. Любовь Александровна была недовольна: в день свадьбы жениху не полагалось приходить в дом невесты. Она пошла в девичью и застала их вдвоем «между важами, чемоданами и разложенными вещами». Соня плакала. Оказалось, что жених не спал всю ночь и теперь допытывался, любит ли она его, «может быть, воспоминания прошлого с Поливановым смущают ее», и не «лучше ли было бы разойтись тогда». Соня убеждала его, что это не так. В конце концов она просто разрыдалась.

Но всё это — и отсутствие рубашки, и приход жениха в дом Берсов в день свадьбы, и даже его нелепое предложение остановить свадьбу, потому что он недостойн своей невесты, — всё это были сущие пустяки в сравнении с той роковой ошибкой, которую Толстой совершил накануне женитьбы.

По-видимому, Соня вела какой-то девичий дневничок, как почти все девочки и девушки ее круга. Но она его благо-разумно уничтожила. Она понимала, что если его прочитает муж, ему будут неприятны, например, записи о ее любви к Поливанову или другие подробности ее хотя и вполне невинной, но всё-таки интимной жизни. А вот Толстой свой ранний дневник не только не уничтожил, но и показал своей невесте и *заставил* его прочитать. Так же поступает Константин Левин в «Анне Карениной». И мы знаем, какой шок это вызывает у Кити.

Зачем он это сделал? Как ни странно, но здесь-то и проявилась черта Толстого, о которой писал Тургенев Анненкову: «высоконравственное и несимпатическое существо».

Толстой хотел быть честен с невестой, но при этом не щадил ее чувств. Он сразу давал ей понять, что она выходит замуж за мужчину с достаточно богатым сексуальным опытом. На самом деле этика XIX века такое положение вещей не только не осуждала, но даже приветствовала. Опытный в сексуальном отношении муж — лучше, чем ничего не знающий в этих вопросах юноша. И конечно, Берсы (наверное, и сама Сонечка) догадывались, что у графа были связи с женщинами. Возможно, они знали и о том, что в Ясной Поляне живет внебрачный сын Толстого. Это были «скелеты в шкафу», которые рано или поздно открылись бы. Но Толстой не стал тянуть с этим. Он сразу обрушил на невесту всю правду.

«Всё то нечистое, что я узнала и прочла в прошлых днев-

никах Льва Николаевича, никогда не изгладилось из моего сердца и осталось страданием на всю жизнь», — пишет она в «Моей жизни».

«Всё его (мужа) прошедшее так ужасно для меня, что я, кажется, никогда не помирюсь с ним, — жалуется она в дневнике в первый год замужества. — Разве когда будут другие цели в жизни, дети, которых я так желаю, чтоб у меня было целое будущее, чтоб я в детях своих могла видеть эту чистоту без прошедшего, без гадостей, без всего, что теперь так горько видеть в муже. Он не понимает, что его прошедшее — целая жизнь с тысячами разных чувств хороших и дурных, которые мне уж принадлежать не могут, точно так же, как не будет мне принадлежать его молодость, потраченная Бог знает на кого и на что...»

Конечно, ее возмутили записи об Аксинье! Не «баба», не «любовница», а «жена»! Это слово буквально взбесило ее!

Между тем в их доме вместе с другими крестьянками в качестве помощницы начинает появляться Аксинья. И хотя никакой связи с Толстым у нее давно не было, Соня чудовищно страдает, когда видит эту женщину.

«Мне кажется, я когда-нибудь себя хвачу от ревности, — пишет она в дневнике через три месяца после свадьбы, увидев Аксинью в своем доме. — “Влюблен как никогда!” И просто баба, толстая, белая, ужасно. Я с таким удовольствием смотрела на кинжал, ружья. Один удар — легко. Пока нет ребенка. И она тут, в нескольких шагах. Я просто как сумасшедшая... Если б я могла и его убить, а потом создать нового, точно такого же, я и то бы сделала с удовольствием».

Через четыре месяца после свадьбы она описывает в дневнике свой кошмарный сон:

«Пришли к нам в какой-то огромный сад наши ясенские деревенские девушки и бабы, а одеты они все как бабыни. Выходят откуда-то одна за другой, последней вышла Аксинья, в черном шелковом платье. Я с ней заговорила, и такая меня злость взяла, что я откуда-то достала ее ребеночка и стала рвать его на клочки. И ноги, голову — всё оторвала, а сама в страшном бешенстве. Пришел Лёвочка, я говорю ему, что меня в Сибирь сошлют, а он собрал ноги, руки, все части и говорит, что ничего, это кукла».

Но это была не «кукла». Это был двухгодовалый мальчик, первенец Льва Николаевича.

И он тоже жил в Ясной Поляне. Его-то Сонечка и разрывала на куски в своем сне. Она не могла простить мужу,

что его первый сын рожден не от нее, а от какой-то «бабы», «толстой», «белой», «ужасной». Это было выше ее сил.

И еще, благодаря дневнику, она чувствовала себя второй женой после Аксиньи.

Отдав свои молодые дневники невесте, Толстой совершил и еще одну роковую ошибку. Он подарил Соне право считать себя «жертвой». Это чувство жертвы она культивировала в себе с самого начала их совместной жизни. Дневники будут «аукаться» Толстому на протяжении всех их семейных отношений. «Скелет в шкафу» обрастет плотью, напитается кровью и станет причиной тяжелых конфликтов.

Но, возможно, Толстой не мог поступить иначе. Вопросы о прежней жизни так или иначе поднимались бы.

Так и началась их семья.

Неимоверное счастье

С приездом в Ясную Поляну всё началось плохо.

Это было как бы продолжение тяжелого отъезда из Москвы. Толстой был недоволен, что его молодая жена горько плакала при расставании с прежней семьей. «Он тогда не понял, — писала Софья Андреевна, — что если я так страстно, горячо любила свою семью, — то ту же способность любви я перенесу на него и на детей наших».

Встречали их хлебом-солью Ёргольская и брат Сергей Николаевич. Татьяна Александровна придирчиво осматривала новую хозяйку. Едва ли она была счастлива оттого, что уступала ей свое главное женское место в доме. А новоиспеченной графине недавно исполнилось 18 лет. Справится ли она с домом?

По всей видимости, сама Ёргольская не была образцовой хозяйкой, тем более что в этом доме она всегда чувствовала себя приживалкой. Дом показался Соне *грязным*. Когда-то братья Толстые спали здесь просто на полу, на сене, без простыней. И по всему дому стоял запах сена, как на сеновале. Вокруг дома рос бурьян. Слуги были неопрятны. И сам хозяин расхаживал по дому в одном халате с отстегивающимися полами, который ночью служил ему пижамой. Ели железными вилками. Повар часто был пьян. Однажды Соня с ужасом нашла в своей тарелке с супом «отвратительного паразита».

Первая же ночь, проведенная с молодой женой в усадьбе,

оказалась для Толстого «тяжелой». За утренним кофе оба чувствовали себя неловко. Словом, всё шло как-то не так...

Тем не менее в первый день пребывания с Соней в Ясной Поляне Толстой записывает в дневнике: «Неимоверное счастье... Не может быть, чтобы это всё кончилось только жизнью».

«Неутомимая Sophie», как называла Соню Александра Андреевна Толстая, оказалась превосходной хозяйкой. В доме был наведен, насколько это было вообще возможно в деревне, идеальный порядок. Появились простыни, скатерти, столовое серебро (единственное приданое Сонечки). На всех слуг были надеты белые колпаки, чтобы «отвратительные паразиты» больше не падали в тарелки с супом. На лакеев — белые перчатки. Все дорожки вокруг дома были расчищены, бурьян выполот и посажены цветы.

На животе хозяйки неизменно висела большая связка ключей от всего дома. Когда Сонечка забеременела, эта связка на ее животе бренчала довольно забавно. Деньгами заведовал муж, но всегда давал жене столько, сколько она просила, не спрашивая, на что.

Свой кабинет Толстой поначалу организовал в «комнате под сводами» (есть знаменитый рисунок Ильи Ефимовича Репина, где Толстой пишет в «комнате под сводами»). На самом деле изначально эта комната была просто полуподвалом, где хранились продукты. И сегодня можно видеть в ее стенах кольца, на которых раньше висели окорока.

Быстро освоившись в домашнем и приусадебном хозяйстве и полюбив яснополянскую природу, Сонечка тем не менее всё-таки тяготилась деревенской жизнью. Уж слишком она отличалась от того, что она видела в Москве, в Кремле и даже в милом Покровском.

В апреле 1863 года, на Пасху, она пишет младшей сестре в Москву: «Скучно мне было встречать праздники, ты ведь понимаешь, всегда в праздники всё больше чувствуешь, вот я и почувствовала, что не с вами, мне и стало грустно. Не было у нас ни веселого крашения яиц, ни всенощной с утомительными 12-ю Евангелиями, ни плащаницы, ни Трифоновны (экономки Берсов. — П. Б.) с громадным куличом на брюхе, ни ожидания заутрени, ничего... И такое на меня напало уныние в Страстную Субботу вечером, что принялась я благим матом разливаться, плакать. Стало мне скучно, что нет праздника. И совестно мне было перед Лёвочкой, и делать нечего...»

Конечно, жизнь в деревне сильно отличалась от московской. В Ясной Поляне исстари проживали очень странные люди! Например, Агафья Михайловна — бывшая горничная бабушки Толстого Пелагеи Николаевны. Старуха, вечно одетая в старую кофту, собирала по округе бездомных собак, живших в ее флигеле на тех же правах, что и хозяйка. Ее называли «собачьей гувернанткой». Агафья Михайловна была «девушкой» и жила исключительно ради других. И не только людей, но и мух, мышей, тараканов, которых она кормила и которые становились ручными. «Умерла Агафья Михайловна, когда никого из нас в Ясной Поляне не было, — вспоминала дочь Толстого Татьяна Львовна. — Умерла она спокойно, без ропота и страха. Перед смертью она поручила передать всей нашей семье благодарность за нашу любовь. Рассказывали, что когда ее понесли на погост, то все собаки с псарки с воем проводили ее далеко за деревню по дороге на кладбище».

«В доме жили странные люди... — пишет Татьяна Львовна. — Живал подолгу монах Воейков. Он был брат опекуна моего отца и его братьев и сестры. Ходил Воейков в монашеском платье, что очень не вязалось с его пристрастием к вину. Жил еще карлик. На его обязанности лежала колка дров, но, кроме того, он всегда играл большую роль в разных забавах и маскарадах Ясной Поляны. Живала старуха странница Марья Герасимовна, ходившая в мужском платье. Она была крестной матерью моей тетки Марьи Николаевны».

В Ясной можно было увидеть и цыган с медведем...

— Михайло Иваныч, поклонись господам.

Медведь кряхтел, вставал на задние лапы и, звеня цепью, кланялся в ноги.

— Покажи, как поповы ребята горох воруют.

Медведь ложился на землю и крался к воображаемому гороху.

— Покажи, как барышни прихорашиваются.

Медведь садился на задние ноги, перед ним держали зеркальце, и он передними лапами гладил себе морду.

— Умри!

Медведь, кряхтя, ложился и лежал неподвижно.

«Кончалось всё это обыкновенно тем, — писал старший сын Толстых Сергей Львович, — что всем, в том числе и медведю, подносилась водка. Выпивши, медведь делался добродушным, ложился на спину и как будто улыбался...»

А еще, вспоминала Софья Андреевна, «приходил с деревни дурачок, по прозвищу Алеша Горшок, и его заставляли производить неприличные звуки, и все хохотали, а мне было гадко и хотелось плакать». Это был тот самый Алеша Горшок, которого ее муж обессмертил в одноименном рассказе.

Разные они были люди. Порой Соне казалось, что муж подавляет ее. И своим мужским авторитетом, и просто мужской, «животной» силой. «Мощь физическая и опытность прожившего мужчины в области любви — зверская страстность и сила — подавляли меня физически», — вспоминала она.

Но на ее стороне были молодость и красота. Не будучи красавицей, Софья Андреевна оставалась привлекательной до поздних лет жизни.

Иногда в письмах Толстого в первые годы семейной жизни звучат сентиментальные и даже какие-то глупые нотки счастья молодожена. Вот он пишет свояченице: «Таня! Знаешь, что Соня в минуты дружбы называет меня *пупок*. Не вели ей называть меня “пупок”, это обидно. А я так люблю, когда ты и Соня называете меня Дрысинькой...»

И почти во всех письмах Толстого первых лет их совместной с Сонею жизни звучат эти сентиментальные мотивы. Он счастлив! *Неимоверно счастлив!*

«...пишу и слышу наверху голос жены, которая говорит с братом и которую я люблю больше всего на свете, — общается он А. А. Толстой. — Я дожил до 34 лет и не знал, что можно так любить и быть так счастливым... Теперь у меня постоянно чувство, как будто я украл незаслуженное, незаконное, не мне назначенное счастье. Вот она идет, я ее слышу, и так хорошо».

А. А. Фету: «Фетушка, дядинька и просто милый друг Афанасий Афанасьевич. — Я две недели женат и счастлив и новый, совсем новый человек».

Е. П. Ковалевскому: «...вот месяц, как я женат и счастлив так, как никогда бы не поверил, что могут быть люди».

М. Н. Толстой: «Я великая свинья, милая Маша, за то, что не писал тебе давно. Счастливые люди эгоисты».

И. П. Борисову: «Дома у нас всё слава Богу, и живем мы так, что умирать не надо».

То же мы читаем и в его дневнике. «Люблю я ее, когда ночью или утром я проснусь и вижу — она смотрит на меня и любит. И никто — главное, я — не мешаю ей любить, как она знает, по-своему. Люблю я, когда она сидит близко ко

мне, и мы знаем, что любим друг друга, как можем, и она скажет: Лёвочка, — и остановится, — отчего трубы в камине проведены прямо, или лошади не умирают долго и т. п. Люблю, когда мы долго одни и я говорю: что нам делать? Соня, что нам делать? Она смеется. Люблю, когда она рассердится на меня и вдруг, в мгновение ока, у ней и мысль и слово иногда резкое: оставь, скучно; через минуту она уже робко улыбается мне. Люблю я, когда она меня не видит и не знает, и я ее люблю по-своему. Люблю, когда она девочка в желтом платье и выставит нижнюю челюсть и язык, люблю, когда я вижу ее голову, запрокинутую назад, и серьезное и испуганное, и детское, и страстное лицо, люблю, когда...»

Их взаимная любовь настолько сильна, что рождает... страх смерти. Толстой не боялся умереть на Кавказе и в Севастополе, а тут вдруг начинает бояться смерти. Ведь смерть — это конец их счастья. А это так несправедливо!

«Нынче я проснулся, она плачет и целует мне руки. Что? Ты умер во сне... Люблю всё лучше и больше».

«Мы недавно почувствовали, что страшно наше счастье. Смерть и всё кончено. Неужели кончено? Бог. Мы молились».

Яши Поляновы

Семейный «проект» Толстого предполагал, конечно, рождение детей. «Наши дети — наши роли», — писал он любимой тетеньке, имея в виду, что его семья будет не менее многодетной, чем семья его родителей. Толстой с самого начала был нацелен на то, чтобы его род умножался. Он не представлял себе семейной жизни без рождения детей. Его молодая жена безоговорочно согласилась с этой «программой». Соня и сама выросла в многодетной семье. Удивительным образом Софья Андреевна в точности повторила судьбу своей матери. Как и Соня, Любовь Александровна была гораздо моложе мужа — на 18 лет. В браке она родила 13 детей, пятеро из которых умерли в младенчестве. При уровне медицины того времени детская смертность даже в дворянских семьях была обычным явлением. Из детей выжили три дочери и пятеро сыновей. Точно такая же история произошла и с Софьей Андреевной.

Первым на свет появился Сергей. Он родился в Ясной Поляне, где родились почти все дети Толстых. Он прожил

долгую жизнь и умер в 1947 году в Москве, последние годы фактически проживая в Ясной Поляне, уже ставшей советским музеем-усадьбой. С его рождением была связана забавная история. Лев Николаевич родился 28 августа 1828 года. Толстой был суеверен и считал число 28 счастливым для себя. Сонечка начала рожать Сережу 27 июня. Толстой, сидя возле роженицы, чуть не со слезами уговаривал ее:

— Душенька, подожди до полуночи!

Верная жена выполнила его просьбу. Сергей родился после полуночи — 28 июня 1863 года.

Следующей была дочь Таня (1864). Затем — сын Илья (1866). И снова сын — Лев (1869). Потом дочь — Маша (1871)... Последнего, тринадцатого ребенка, Ванечку, Софья Андреевна родила в 1888 году, в возрасте сорока четырех лет.

Илья Львович Толстой в воспоминаниях подсчитал, сколько времени его мать отдала на рождение и кормление детей: «Из тринадцати детей, которых она родила, она одиннадцать выкормила собственной грудью. Из первых тридцати лет замужней жизни она была беременна сто семнадцать месяцев, то есть десять лет, и кормила грудью больше тринадцати лет...»

В то же время, замечает Илья Львович, «она успевала вести всё сложное хозяйство большой семьи, и сама переписывала “Войну и мир”, “Анну Каренину” и другие вещи по восемь, десять, а иногда и двадцать раз каждую».

Здесь есть некоторое преувеличение. Она не переписывала «Войну и мир» и «Анну Каренину» ни двадцать, ни десять, ни восемь раз. Это было бы физически невозможно. Она *частями* переписывала отдельные главы его больших романов. У Толстого был ужасный почерк. Иногда он и сам не мог разобрать некоторые слова в своих черновиках. У Софьи Андреевны почерк был отменный. Правил же Толстой свои рукописи беспощадно. И вот, чтобы облегчить ему работу, жена переписывала по ночам его рукописи, чтобы с утра он мог вносить в них правку. Но всё-таки *частями*. Когда это было особенно нужно. Слухи о том, что Софья Андреевна *двадцать раз* переписала «Войну и мир», всё-таки являются героическим мифом. Но не миф — то, сколько времени уходило у нее на рождение и кормление детей. Не говоря уже о воспитании.

Конечно, у нее были помощницы. Была няня — простая деревенская женщина Мария Афанасьевна Арбузова, которая нянчила еще Льва Николаевича. Затем, по мере под-

растания детей, их передавали на руки гувернантке Ханне Тардзей, молодой девушке, дочери садовника Виндзорского дворца в Лондоне. И если Николая, Сергея, Дмитрия и Льва Толстых воспитывали гувернеры, немец и француз (отсюда свободное знание немецкого и французского), то Сергея, Илюшу, Льва и Машу «вела» англичанка. Так что, например, Маша в детстве по-английски говорила лучше, чем по-русски.

Но главная забота о воспитании детей ложилась на Софью Андреевну. Не случайно в воспоминаниях детей мать занимает едва ли не главенствующее место. Отец всё-таки был *далеко*. «Тише! Папá пишет!» — эти слова часто звучали в доме. Работа над романами шла трудно. Поэтому состояние духа Толстого и его отношение к семье во многом зависели от того, удавался ему тот или иной эпизод или нет. Если да, Толстой был светел и радостен. И во всём доме царило приподнятое настроение. Если же нет... «Папá не в духе, не в духе!» — эти слова тоже звучали весьма часто.

К тому же Толстой в это время вновь начинает серьезно увлекаться сельским хозяйством. Он ищет, экспериментирует... Заводит особую породу японских свиней. Но они все вдруг сдохли. Оказалось, что свинарь, бывший кучер, их просто... не кормил, обидевшись на то, что его перевели из кучеров в свинари. Толстой насаждает леса, разводит яблонево-ые сады. Его привлекает пчеловодство. Он целыми днями пропадает на пасеке, куда жена приносит ему хлеб и молоко.

Толстой возобновил педагогическую деятельность: открыл в Ясной Поляне школу для крестьянских детей, пригласив учителей из разночинцев. Но молодые люди так много шумели и курили, что Соне, уже беременной, это не понравилось. И Льву Николаевичу на время пришлось расстаться со своей, как он сам выразился, «последней любовью» — педагогикой.

Толстой всегда в работе, всегда в трудах. Но он делает только то, что хочет и что ему нравится. Яснополянский мир сам собой организовался таким образом, что весь вращается вокруг Толстого, как планеты вокруг солнца. А солнце может осветить землю, пригреть, но может и уйти за тучи.

«Папá днем уходил в свой кабинет и “занимался”, — вспоминал Илья Львович, — и тогда мы не должны были шуметь, и никто не смел к нему входить. Чем он там “занимался”, мы, конечно, не знали, но с самого раннего детства мы

привыкли его уважать и бояться. Мама́ — это другое дело. Она — наша, и она тоже боится папа́. Она должна всё для нас делать. Она следит за нашей едой, она шьет нам рубашки, лифчики и штопает наши чулки, она бранит нас, когда мы по росе намочим башмаки, она “переписывает”, она — всё. Что бы ни случилось: “Я пойду к мамá”. “Мамá, меня Таня дразнит”. — “Позови ее сюда”. “Таня, не дразни Илюшу, он маленький”. “Где мамá?” На кухне, или шьет, или в детской, или переписывает. Ее легкие шаги то и дело раздаются по всем комнатам дома, и везде она успевает всё сделать и обо всех позаботиться... Никому из нас в голову не могло прийти, чтобы мамá могла когда-нибудь устать, или быть не в духе, или чтобы мамá что-нибудь захотела для себя. Мамá живет для меня, для Сережи, для Тани, для Лёли, для всех нас, и другой жизни у нее и не может и не должно быть».

Однажды Софья Андреевна с обидой написала в дневнике: «И мудр, и счастлив Л. Н. Он всегда работал по своему выбору, а не по необходимости. Хотел — писал, хотел — пахал. Вздумал шить сапоги — упорно их шил. Задумал учить детей — учил. Надоело — бросил. Попробовала бы я так жить?!»

Уже в шестидесятые годы в письмах младшей сестре она начинает жаловаться на свою жизнь: «...то отсасываюсь, то кормлю, то прижигаю, то промываю, а кроме того, дети, варенье, соленья, грибы, пастилы, переписыванье для Лёвы, а для beaux arts* еле-еле минутку выберешь, и то, если дождь идет».

Толстой выступал категорически против того, чтобы для детей брали кормилиц, хотя его самого выкормили кормилицы. У Сонечки началась грудница. Кормилиц для Сережи и других детей всё-таки пришлось брать. Это стало поводом для первого серьезного конфликта между супругами. Поначалу он даже был против няни для Сережи, считая, что молодая жена должна одна заниматься ребенком. Разумеется, и няню взяли. И гувернантку для детей Толстой нашел сам.

Существует миф, что семейная жизнь в Ясной Поляне строилась на принципе жесткого мужского деспотизма, отягощенного еще и тем, что Толстой был гениальным писателем. Возникло даже устойчивое выражение: «Легко ли жить с гением?» Да, нелегко. И Соня это понимала. Она частенько жалуется в дневнике: «Любви нет, жизни нет...»;

* Изящных искусств (фр.).

«Иду на жертву к сыну...»; «А детей у него больше не будет...»; «Я — удовлетворение, я — нянька, я — привычная мебель, я — *женщина*».

Но стоит Толстому ненадолго уехать из Ясной Поляны, и жена почти ежедневно пишет ему, как и он ей. И в письмах звучат совсем другие слова...

«Я жду тебя непременно нынче в ночь. Приедешь-ли? Я не дождусь, кажется, тебя, а как хочется увидаться скорее с тобой».

«Твое письмо меня так обрадовало, что передать тебе не могу».

«Мне нынче что-то так взгрустнулось, милый Лёвочка, вся моя бодрость пропала, и так захотелось скорей, скорей увидаться с тобой. Это всё сделало твое милое письмо, твоя ко мне любовь и то, что нам всё делается лучше и лучше жить на свете вместе».

«А как нам хорошо было последнее время, так счастливо, так дружно... Грустно без тебя ужасно, и всё приходит в голову: его нет, так к чему всё это? Зачем надо всё так же обедать, зачем так же печи топятся и все суетятся и такое же солнце яркое...»

Без него и солнышко светит не так.

Но лучшая проверка семейных отношений — дети. Кстати, отца они не только боялись, как пишет Илья Львович, но и несомненно любили. Пожалуй, даже боготворили. С ним было интереснее, чем с мамá. Ведь отец — это не только кабинет и «Тише! Папá пишет!». Отец — это охота, рыбалка, физкультура. Это бег наперегонки с залиvistым смехом, который мешал резвым детишкам обогнать тяжеловесного отца. Это — чистка зимой катка на Большом пруду и затем катание на коньках, в котором их отец был большой мастер. Это — «pas-de-géant» («гигантские шаги»), привезенные отцом из Москвы. Это и множество других удовольствий...

Толстой имел какой-то тайный ключик к сердцам маленьких детей. Татьяна Львовна вспоминала:

«Была одна игра, в которую папá с нами играл и которую мы очень любили. Это была придуманная им игра. Вот в чем она состояла: безо всякого предупреждения папá вдруг делал испуганное лицо, начинал озираться во все стороны, хватал двоих из нас за руки и, вскакивая с места, на цыпочках, высоко поднимая ноги и стараясь не шуметь, бежал и прятался куда-нибудь в угол, таща за руку тех из нас, кто ему попадались».

“Идет... идет...” — испуганным шепотом говорил.

Тот из нас троих, которого он не успел захватить с собой, стремглав бросался к нему и цеплялся за его блузу. Все мы, вчетвером, с испугом забиваемся в угол и с бьющимися сердцами ждем, чтобы “он” прошел. Папá сидит с нами на полу на корточках и делает вид, что он напряженно следит за кем-то воображаемым, который и есть самый “он”. Папá провожает его глазами, а мы сидим молча, испуганно прижавшись друг к другу, боясь, как бы “он” нас не увидел. Сердца наши так стучат, что мне кажется, что “он” может услышать это биение и по нем найти нас. Наконец, после нескольких минут напряженного молчания, у папá лицо делается спокойным и веселым...

— Ушел! — говорит он нам о “нем”.

Мы весело вскакиваем и идем с папá по комнатам, как вдруг... брови у папá поднимаются, глаза таращатся, он делает страшное лицо и останавливается: оказывается, что “он” опять откуда-то появился.

— Идет! Идет! — шепчем мы все вместе и начинаем метаться из стороны в сторону, ища укромного места, чтобы спрятаться от “него”. Опять мы забиваемся куда-нибудь в угол и опять с волнением ждем, пока папá проводит “его” глазами. Наконец, “он” опять уходит, не открыв нас, мы опять вскакиваем, и всё начинается сначала, пока папá не надоедает с нами играть и он не отсылает нас к Ханне».

Читая воспоминания старших детей о их яснополянском детстве, приходишь к мысли, что если Толстой мечтал устроить в Ясной Поляне отдельно взятый рай, ему это удалось. Для детей...

И не случайно лучшее произведение, написанное его сыном Львом Львовичем, который тоже пытался стать писателем, называется «Яша Полянов». В этом замечательном имени-названии соединились личность ребенка и личность усадьбы. Они становятся одним целым. Лев писал в воспоминаниях: «Мать, отец, братья, сестры, няни, гувернантки, прислуга, гости, собаки, редко медведь с медвежатником, лошади, охота отца и братьев, праздники Рождества, елка, Масляница и Пасха, зима — со снегом, санями, снегирями и коньками; весна — с мутными ручьями и блестящими коврами серебряного тающего снега, с первым листом березы и смородиной, с тягой, с первыми цветами и первой прогулкой “без пальто”, лето — с грибами, с купаньем, со всевозможными играми, с верховой ездой и рыбной лов-

лей; осень — с началом ученья и труда всей семьи, с желтыми листьями в аллеях сада и вкусными антоновскими яблоками, с первой порошей — вот счастливая жизнь моего детства».

Солнце в зените

С середины шестидесятых и до конца семидесятых годов он почти не пишет дневник. В жизни Толстого это всегда был верный признак того, что в его душе не происходило серьезных душевных перемен, всё шло своим порядком. И такая жизнь его в общем-то устраивала. Но при этом происходил процесс накопления нового душевного и умственного опыта.

Громада «Войны и мира», романа-эпопеи, написанного в 1863—1869 годах, и сегодня потрясает. Кажется, нет ни одного мирового писателя, на которого этот роман не оказал бы какого-то влияния. И Толстой признавался, что этот «исключительный труд» был выполнен им «при наилучших условиях жизни».

«Исключительность» труда была такова, что современники не сразу ее оценили. Тем более что печатался роман частями в «Русском вестнике» и поначалу имел скромное название «1805 год». Но даже когда он появился целиком, только критик Николай Николаевич Страхов написал о нем: «Какая громада и какая стройность! Тысячи лиц, тысячи сцен, всевозможные сферы государственной и частной жизни, история, война, все ужасы, какие есть на земле, все страсти, все моменты человеческой жизни, от крика новорожденного ребенка до последней вспышки чувства умирающего старика, все радости и горести, доступные человеку, всевозможные душевные настроения, от ощущений вора, укравшего червонцы у своего товарища, до высочайших движений героизма и дум внутреннего просветления, — всё есть в этой картине... “Война и мир” произведение гениальное».

Над Страховым смеялись. В газете «Петербургский листок» писали: «Гением признает графа Толстого один только Страхов». «Петербургская газета» утверждала, что над такими критиками «можно порой посмеяться, когда они измыслили что-нибудь особенно дикое, вроде, например, заявления о мировом значении романов графа Льва Толстого». Пародист Дмитрий Минаев напечатал стихи:

Поврежденный критик (бредит):
Да, гений он!..

Постой, постой!..
Кто — Бенедиктов?

К р и т и к:
Лев Толстой!..

Н е к т о:
Ты покраснел, я вижу... Дело!..
Болтать нельзя, без краски, зря.

Достоевский сперва назвал «Войну и мир» «помещичьей литературой» и только позже в «пушкинской речи» поставил в один ряд Татьяну Ларину и Наташу Ростову.

Салтыков-Щедрин говорил, что это «болтовня нянюшек и мамушек», что все военные сцены — «ложь и суета», а Багратион и Кутузов — «кукольные генералы».

Тургенев писал: «...как это всё мелко и хитро, и неужели не надоели Толстому эти вечные рассуждения о том — трус, мол, я или нет? — Вся эта патология сражения? Где тут черты эпохи? Где краски исторические?» Потом он признает, что «в этом романе столько красот первоклассных, такая жизненность, и правда, и свежесть, что нельзя не согласиться, что с появлением “Войны и мира” Толстой стал на первое место между всеми нашими современными писателями».

Работа над «Войной и миром» подорвала здоровье Толстого. Последние главы он писал, преодолевая мучительные головные боли.

Наконец, это привело к серьезному психическому срыву, который в биографической литературе о Толстом называют «арзамасским ужасом», придавая этому событию знаменательное и судьбоносное значение. В «арзамасском ужасе» пытаются найти разгадку «духовного переворота» Толстого, который случится десять лет спустя, и даже объяснение его «уходу» из Ясной Поляны в 1910 году. На самом деле — это тоже мифология.

В реальности же было вот что. В сентябре 1869 года, когда Толстой работал над последними корректурами «Войны и мира», он решил отвлечься и, найдя в газете объявление о продаже имения в Нижегородской губернии по дешевой, как он решил, цене, отправился его «приобретать». В то время Толстой — не только писатель, но и помещик, «стя-

жатель», верный наследник своего отца, который потратил много сил на приобретение земли.

Толстой в течение первых семи лет семейной жизни редко покидал Ясную Поляну. И каждый такой отъезд был для него не простым событием. Жизнь в усадьбе шла размеренная, по часам: ранние прогулки и кофе, поздние завтраки и обеды, писательство, работы по имению, занятия с детьми и т. д. И вот, оказавшись в сентябре 1869 года в арзамасской гостинице, Толстой неожиданно испытал «ужас». Жене он написал об этом на следующий день: «Третьего дня в ночь я ночевал в Арзамасе, и со мной было что-то необыкновенное. Было 2 часа ночи, я устал страшно, хотелось спать, и ничего не болело. Но вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас такие, каких я никогда не испытывал».

При нем был слуга Сергей Арбузов. В воспоминаниях о жизни с графом, впоследствии опубликованных, Сергей ни слова не говорит об «арзамасском ужасе», хотя видно, что глаз у него был острый. На следующий день в дороге Толстой вновь испытал это чувство, но, как он пишет жене, уже был готов к нему и потому не так испугался.

Однако спустя 15 лет, в «Записках сумасшедшего», Толстой вспомнил об «арзамасском ужасе» и придал ему совсем другой смысл. Он объяснил это *страхом смерти*. Но в письмах жене 1869 года он ничего не говорил о страхе смерти. В то время эта проблема еще не так волновала его, как будет волновать через 15 лет, в 1884 году, в разгар «духовного переворота».

Есть подозрение, что Толстой по-писательски «обманул» с «арзамасским ужасом». Пусть и необычный, но не исключительный случай из своей жизни он использовал для литературного произведения уже в символическом ключе.

В семидесятые годы написаны «Анна Каренина» и «Кавказский пленник» — два шедевра Толстого, большой и маленький. Об «Анне Карениной» Владимир Набоков сказал, что это «лучший русский роман», а затем добавил: «А, собственно, почему только русский? И мировой — тоже». Тогда же создается «Азбука» — книга-хрестоматия, которую, гордо считал Толстой, должны прочитать все дети, от крестьянских до императорских.

Толстой — в зените славы! Его образ этого времени точно отражен в портрете Ивана Николаевича Крамского. Перед нами — русский богатырь, и физический, и духовный. История создания этого портрета была забавной. Толстой категорически не желал «позировать». Между тем меценат

Павел Михайлович Третьяков для своей коллекции заказал Крамскому, уже очень известному в то время художнику, портрет Толстого. Крамской ответил письмом: «...употреблю все старания, чтобы написать портрет графа Толстого». Но как? «Модель» капризничает! И тогда Крамской летом 1873 года снял дачу на станции Козлова Засека близ Ясной Поляны. Он стал наблюдать за Толстым, стараясь схватить его подлинные черты. Наконец в дело вмешалась Софья Андреевна. Она уговорила мужа позировать Крамскому, но с условием, что тот сделает еще копию — лично для нее.

Забавна реакция Крамского на знакомство с Толстым. Он писал И. Е. Репину: «А граф Толстой, которого я писал, интересный человек... Даже на гения смахивает».

По воспоминаниям Сергея Львовича Толстого, отец всё-таки устал от позирования, и туловище Крамской дописывал уже без него, набив соломой его рубаху. И это чувствуется в портрете — голова и кисть руки существуют как бы отдельно от туловища.

После «Анны Карениной» Толстой вновь берется за исторический труд. Он хочет написать роман о Петре I. Больше тридцати раз он начинал писать роман, собрав огромное количество документального материала. Но Петра I в версии Льва Толстого мы так и не имеем. Эту миссию выполнит другой, «третий» (после Алексея Константиновича и Льва Николаевича) Толстой, «красный граф» Алексей Николаевич.

Есть несколько объяснений, почему «первый» Толстой не осилил первого Петра.

Во-первых, он понял, что не чувствует глубоко быта и языка той эпохи. Это мешало ему проникнуться ее духом.

Во-вторых, почти все главные герои «Войны и мира» — фактически его родственники. Это его деды (Ростов и старый Болконский), мать (княжна Марья), отец (Николай Ростов), Таня и Соня Берс (Наташа). То же и с «Анной Карениной», где история любви, женитьбы и семейной жизни Левина и Кити почти в точности повторяет историю самого Льва Николаевича и Сонечки.

А кто были ему Петр I и Меншиков? Только исторические фигуры. При всем масштабе художественного дара и мощи фантазии Толстой — очень *интимный* писатель. Может быть, в этом и состоит главный секрет того, почему «Война и мир» и «Анна Каренина» и сегодня читаются как живые и трепетно современные вещи.

В-третьих, Толстой признавался, что Петр I просто оп-

ротивел ему как личность. В 1905 году он скажет своему секретарю и биографу Н. Н. Гусеву: «По-моему, он был не то что жестокий, а просто пьяный дурак. Был он у немцев, понравилось ему, как там пьют...» Но это, конечно, слишком простое и грубое объяснение. Просто не удалось.

Куда дольше и серьезнее занимала его идея романа о декабристах, из которой поначалу и вырос роман «Война и мир». Судьбы декабристов вели его в Сибирь. В конце 1870-х годов Толстой задумывает роман о великом *переселении* русских на Восток — вплоть до Китая.

В шестидесятые—семидесятые годы Толстой живет невероятно напряженной творческой жизнью. У него опора — семья. Любимое место на земле — Ясная Поляна. Есть чувство, что жизнь удалась. Вот же оно, счастье!

Всё это рухнуло в одночасье.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ПЕРЕВОРОТ

(1877—1892)

Еще не катастрофа

Всё-таки не в одночасье.

Читая дневники Толстого в самом начале его счастливой семейной жизни, вдруг замечаешь такие слова:

«Мне становится тяжела эта праздность. Я себя не могу уважать... Мне всё досадно и на мою жизнь, и даже на нее. *Необходимо работать...*»

«Я очень был недоволен ей, сравнивал ее с другими, чуть не раскаивался, но знал, что это временно, и выжидал, и прошло...»

«С утра платье. Она вызывала меня на то, чтоб сказать против, я и был против, я сказал — слезы, пошлые объяснения... Мы замазали кое-как. Я всегда собой недоволен в этих случаях, особенно поцелуями, это ложная замазка... За обедом замазка соскочила, слезы, истерика...»

«Ее характер портится с каждым днем... Я пересмотрел ее дневник — затаенная злоба на меня дышит из-под слов нежности...»

«С утра я прихожу счастливый (после прогулки. — П. Б.), веселый, и вижу *графиню*, которая гневается и которой *девка Душка* расчесывает волосики... и я, как ошпаренный, *боюсь* всего и вижу, что только там, где я один, мне хорошо и поэтично».

«Уже 1 ночи, а я не могу спать, еще меньше идти спать в ее комнату с тем чувством, которое давит меня, а она постоит, когда ее слышат, а теперь спокойно храпит».

Вдруг на пике семейного счастья в начале «Войны и мира» появляется монолог князя Андрея, обращенный к Пьеру Безухову: «Никогда, никогда не женись, мой друг; вот тебе мой совет: не женись до тех пор, пока ты не скажешь себе, что ты сделал всё, что мог, и до тех пор, пока ты не перестанешь любить ту женщину, какую ты выбрал, пока ты

не увидишь ее ясно; а то ты ошибешься жестоко и непоправимо. Женись стариком, никуда не годным... А то пропадет всё, что в тебе есть хорошего и высокого. Всё истратится по мелочам... Моя жена... прекрасная женщина. Это одна из тех редких женщин, с которой можно быть покойным за свою честь; но, Боже мой, чего бы я не дал теперь, чтобы не быть женатым!»

Вдруг в «Анне Карениной» читаем: «И, счастливый семьянин, здоровый человек, Левин был несколько раз так близок к самоубийству, что спрятал шнурок, чтобы не повеситься на нем, и боялся ходить с ружьем, чтобы не застрелиться».

Откуда эти мысли?

Толстому *тесно* в семье. *Тесно* быть помещиком. И даже писателем. Его могучая натура влечет его куда-то еще. Он только не может понять — куда? При этом он парадоксальным образом отдает все свои силы писательству, помещицкому хозяйству и настаивает на том, чтобы жена непрерывно рожала и рожала.

И зачем-то учит греческий язык.

Будто бы для того, чтобы читать Гомера в оригинале. Его товарищ Фет, в отличие от Толстого получивший классическое филологическое образование, шутил, что, если Толстой выучит греческий, он собственноручно вручит ему диплом, переплетенный собственной кожей.

Толстой выучил язык за полтора месяца — зимой 1870/71 года.

В это время его жена была на сносях. 12 февраля 1871 года родилась Маша — вторая, после Тани, дочь и пятый по счету ребенок. Маша появилась на свет слабой, болезненной, а Софья Андреевна заболела родовой горячкой и едва не умерла. Врачи советовали ей не иметь больше детей. И она, в общем, была согласна. Она устала. Но взбунтовался муж. Он не представлял себе семейной жизни без постоянного продолжения рода. Конфликт в семье едва не дошел до развода.

После Маши Софья Андреевна родила еще восьмерых детей. Впрочем, первые трое — Петр (1872), Николай (1874) и Варя (1875) — умерли во младенчестве. Видимо, у врачей были основания не советовать жене Толстого рожать дальше. Однако затем рождается Андрей (1877). Он проживет довольно долго, до 1916 года, и умрет от редкого заражения крови. В 1879-м появляется Михаил, который окажется долгожителем и скончается в эмиграции, в Марокко. Но

родившийся в 1881 году Алеша умер в пятилетнем возрасте. Долгожительницей оказалась Саша, родившаяся в 1884-м. Наконец, последний — Ванечка (1888) — не прожил и семи лет.

Кто победил в конфликте 1871 года? Не нам судить. Сегодня во всём мире, от России до Западной Европы и Америки, живет более 350 прямых потомков Толстых.

Лев Николаевич взвалил на свою жену тяжелейший крест. Но она его приняла. Их жизнь после 1871 года снова пошла на лад.

Остановка жизни

До сих пор остается неразрешенным вопрос: что случилось с Толстым в конце семидесятых — начале восьмидесятых годов? Почему из счастливого мужа, отца шестерых детей, успешного писателя и помещика он становится несчастнейшим человеком на земле? По крайней мере, до того момента, пока он не осознает свое новое мирозерцание и не утвердится в нем до конца жизни. С этого момента Толстой, напротив, будет считать себя счастливым человеком, который обрел цель жизни. А тех, кто ее не обрел, включая жену и многих членов семьи, будет считать людьми не то что несчастными, но прямо сумасшедшими. Он так и напишет в дневнике, что ему кажется, будто он живет в каком-то сумасшедшем доме, которым управляют сумасшедшие.

В позднем возрасте Толстой утверждал, что его духовный переворот произошел *не вдруг*. Он говорил, что «собственно кризиса, перелома в его жизни и не было, что он всегда стремился к отысканию смысла жизни и только сложные внешние явления и события и его собственные страсти и увлечения отодвигали это решение вопросов жизни и сконцентрировали таившиеся силы в один могущественный внутренний порыв, который и опрокинул ветхое здание».

Но этим «ветхим зданием» оказались семья, литература и занятия сельским хозяйством, то есть *всё*, чем жил Толстой с 1862 по 1877 год (именно 1877-й он считал началом своего духовного кризиса). Стоило ли ломать «ветхое здание»? Ради чего? Пожалуй, это самый больной вопрос.

Ради чего?!

Факты есть факты. До 1877 года Толстой жил на гребне литературного успеха и семейного счастья. С конца се-

мидесятых он стал несчастен сам и сделал несчастной свою семью.

Сам Толстой назвал это *остановкой жизни*. Как если бы человек жил — и вдруг перестал жить, при этом оставаясь физически здоровым. Он описал это чувство в своем первом религиозном произведении «Исповедь»:

«...со мною стало случаться что-то очень странное: на меня стали находить минуты сначала недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уныние. Но это проходило, и я продолжал жить по-прежнему. Потом эти минуты недоумения стали повторяться чаще и чаще и всё в той же форме. Эти остановки жизни выражались всегда одинаковыми вопросами: Зачем? Ну, а что потом?.. Вопросы казались такими глупыми, простыми, детскими вопросами. Но только я тронул их и попытался разрешить, я тотчас же убедился, во-первых, в том, что это не детские и глупые вопросы, а самые важные и глубокие вопросы в жизни, и, во-вторых, в том, что я не могу и не могу, сколько бы я ни думал, разрешить их. Прежде чем заняться самарским именем, воспитанием сына, писанием книги, надо знать, зачем я это буду делать. Среди моих мыслей о хозяйстве, которые очень занимали меня в то время, мне вдруг приходил в голову вопрос: “Ну хорошо, у тебя будет 6000 десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей, а потом?..” И я совершенно опешивал и не знал, что думать дальше. Или, начиная думать о том, как я воспитаю детей, я говорил себе: “Зачем?” Или, рассуждая о том, как народ может достигнуть благосостояния, я вдруг говорил себе: “А мне что за дело?” Или, думая о той славе, которую приобретут мне мои сочинения, я говорил себе: “Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, — ну и что ж!..” И я ничего и ничего не мог ответить. Жизнь моя остановилась. Я мог дышать, есть, пить, спать и не мог не дышать, не есть, не пить, не спать, но жизни не было...»

Софья Андреевна заметила эти перемены в настроении мужа. Она пишет в дневнике и письмах младшей сестре:

«Лёвочка что-то мрачен; или целыми днями на охоте, или сидит в другой комнате, молча, и читает; если спорит, то мрачно и не весело».

«Лёвочка постоянно говорит, что всё кончено для него, скоро умирать, ничего не радуется, нечего больше ждать от жизни».

«Лёвочка теперь совсем ушел в свое писание. У него ос-

тановившиеся, странные глаза, он почти ничего не разговаривает, совсем стал не от мира сего, и о житейских делах решительно неспособен думать».

Что это за «писание»? «Анна Каренина» закончена, издана и принесла автору неслыханный успех, поставив вровень с главным литературным авторитетом того времени, Тургеневым, и даже, пожалуй, выше его. Но этот успех не греет Толстого. Другие мысли занимают его. Тяжелые, непонятные, а порой и просто страшные.

Спустя семь лет, в 1884 году, когда его духовный переворот фактически свершится окончательно, он вспомнит об «арзамасском ужасе» и попытается объяснить то, что мучило его на самом деле в начале этого кризиса. Это был *страх смерти*.

Зачем жить, если нужно умирать?

«Я убегаю от чего-то страшного и не могу убежать. Я всегда с собою, и я-то и мучителен себе. Я, вот он, я весь тут. Ни пензенское, ни какое именье ничего не прибавит и не убавит мне. А я-то, я-то надоел себе, несносен, мучителен себе. Я хочу заснуть, забыться и не могу. Не могу уйти от себя... Я вышел в коридор, думая уйти от того, что мучило меня. Но оно вышло за мной и омрачало всё. Мне так же, еще больше страшно было. “Да что это за глупость, — сказал я себе. — Чего я тоскую, чего боюсь”. — “Меня, — неслышно отвечал голос смерти. — Я тут”»... («Записки сумасшедшего»).

В середине семидесятых годов, накануне духовного кризиса, с ним случился повторный «арзамасский ужас». Толстой заблудился... в собственном доме. Вдруг среди ночи раздался его страшный крик: «Соня! Соня!» Она со свечой в руках бросилась на крик и увидела мужа на лестнице, взволнованного и дрожащего. «Что с тобой, Лёвочка?!» Он ответил: «Ничего, я заблудился...»

В конце семидесятых Толстой приближается к своему пятидесятилетию. Это крепкий, сильный и, в общем, здоровый человек в расцвете мужских сил. Но он... заблудился. Жизнь лишилась смысла. Он понимает, что жизнь, по сути, и есть смерть.

И она всегда в тебе.

Она — это и есть ты.

Но тогда зачем всё?

Можно победить в себе алчность, тщеславие. Можно, наконец, справиться с похотью, не давая этому инстинкту одолеть себя. Но как справиться со смертью?

На этот вопрос он еще не знает ответа. И потому, как Левин, ходит на охоту без ружья, боясь застрелиться. Прячет от самого себя веревки, боясь повеситься...

Соблазн и безумие

Иногда с удивлением спрашивают: разве Достоевский и Толстой не были знакомы? Как? Ведь они жили в одно время и принадлежали примерно к одному поколению — Достоевский родился в 1821 году, а Толстой в 1828-м. У них был общий товарищ — Н. Н. Страхов, критик и философ. Был общий, скажем так, оппонент и конкурент, отношения с которым у обоих сразу не сложились, — И. С. Тургенев. Оба, хотя и в разное время, «окормлялись» возле издателя и редактора журнала «Современник» Н. А. Некрасова.

Наконец, это было бы просто логично — познакомиться двум величайшим прозаикам мира, раз уж довелось им родиться в одной стране и в одно время. Правда, Толстой жил под Тулой, а Достоевский — в Петербурге или за границей. Но Толстой бывал в Петербурге по делам, а в Ясную Поляну к нему приезжали писатели и рангом поменьше, чем Достоевский, и всех он охотно принимал. Неужели Страхову не пришлось в голову свести двух наших гениев? Неужели им самим не приходило в голову, что надо бы встретиться и поговорить? Тем более что оба читали и ценили друг друга. Интересная была бы встреча!

Нет, им не удалось познакомиться. Хотя такая возможность была дважды.

В «Исповеди» Толстой смутно упоминает о каких-то шести тысячах десятин земли, приобретенных им в Самарской губернии, и о лошадях, заведенных там. Это был «стяжательский» поступок Толстого, когда он решил разбогатеть на дешевых самарских целинных землях, которые, как он полагал (и не ошибся), являются «золотым дном» и со временем будут стоить гораздо дороже.

Самарские степи были своего рода Меккой для Толстого. Впервые он поехал туда в 1862 году по совету своего будущего тестя А. Е. Берса. Призрак чахотки всегда преследовал Толстого, ведь это была родовая болезнь. В 1862-м Толстой, почувствовав себя плохо, твердо решил, что у него чахотка. Берс порекомендовал ему отправиться в башкирские степи на лечение кумысом. Степная жизнь прилась Толстому по вкусу. Полуголый и полупьяный от постоян-

ного употребления хмельного конского молока, которое он очень полюбил, Толстой расхаживал по степи или ездил по ней на низкорослых, но выносливых «башкирцах» и чувствовал себя чуть ли не античным героем. По его мнению, степь «пахнет Геродотом».

Впрочем, это он напишет в семидесятые годы. С 1871-го Толстой выезжает в самарские степи лечиться кумысом почти ежегодно — вплоть до духовного переворота. Затем начинает делать кумыс самостоятельно, на одном из своих хуторов.

В одной из поездок его сопровождал старший сын Сергей. В воспоминаниях он описал, как в степи его отец буквально перерождался — и душевно, и физически. Среди башкир он слыл настоящим героем. Так, однажды он устроил скачки с ценными призами, а перед скачками — «борьбу на палке». Борцы садились друг против друга, брались за концы длинной крепкой палки и пытались поднять один другого в воздух. «Отец всех перетянул, — вспоминал Сергей Львович, — кроме землянского старшины; он не смог его поднять просто потому, что старшина весил не менее десяти пудов (то есть более 160 килограммов. — П. Б.)».

Самарские земли настолько полюбили Толстому, что он решил приобрести здесь имение и разводить особую породу лошадей, скрещивая «башкирцев» с «англичанками». «Башкирцы» выносливы, но низкорослы, «англичанки» быстроходны и красивы. Идеальная, по мечте Толстого, должна была получиться лошадь для русской кавалерии. Из этого «проекта», впрочем, ничего не вышло, как и из многих других задумок Толстого.

Но приобретение самарских земель едва не привело к знакомству Толстого и Достоевского.

Десятого марта 1878 года, находясь в Петербурге, где он оформил купчую крепость на приобретенную у барона Бистрома самарскую землю, Толстой посетил публичную лекцию входившего в моду 24-летнего философа, магистра Петербургского университета Владимира Соловьева, будущего «отца» русского символизма. На лекции были Страхов и Достоевский. Казалось, всё говорило за то, чтобы близко знакомый и с Толстым, и с Достоевским Страхов свел лицом к лицу двух главных прозаиков современности, которые давно желали встретиться друг с другом.

Но Страхов этого не сделал.

В воспоминаниях вдовы Достоевского Анны Григорьевны это объясняется тем, что Толстой сам просил Страхо-

ва ни с кем его не знакомить. Это очень похоже на поведение Толстого в ненавистном Петербурге, где он чувствовал себя чужим.

Но почему и после лекции Страхов не рассказал или не написал Толстому, что в зале был Достоевский? Позже, после смерти Страхова, узнав о словах Анны Григорьевны, Толстой возмутился: почему Страхов не познакомил его с Достоевским? Есть версия, что Страхову было *невыгодно* их знакомить. Ведь он являлся единственным посредником между ними, состоя в переписке с обоими и рассказывая в письмах Толстому о Достоевском, а Достоевскому — о Толстом. В случае их личного знакомства посредник стал бы не нужен. Страхов оказался бы «третьим лишним».

Но это зыбкая версия.

Интересной была реакция Достоевского на духовный переворот Толстого. В мае 1880 года во время торжественного открытия памятника Пушкину в Москве Достоевский произносил знаменитую «пушкинскую речь». Среди собравшихся писателей Толстого не было. Между тем в Москве распространился слух, что Толстой... лишился рассудка. 27 мая Достоевский писал жене: «Сегодня Григорович сообщил, что Тургенев, воротившийся от Льва Толстого, болен, а Толстой почти с ума сошел и даже, может быть, совсем сошел».

Это означает, что слух о «сумасшествии» Толстого, возможно, пустил Тургенев. Перед этим он посетил Толстого в Ясной Поляне, они помирились, и хозяин рассказал ему о своих новых взглядах. Но как же легко приняли братья-писатели этот слух, если на следующий день в письме жене Достоевский сообщает: «О Льве Толстом и Катков подтвердил, что, слышно, он совсем помешался. Юрьев* подбивал меня съездить к нему в Ясную Поляну: всего туда, там и обратно менее двух суток. Но я не поеду, хотя очень бы любопытно было».

Смущенный слухами о «сумасшествии» Толстого, он решил не рисковать. Таким образом, еще одна возможность знакомства писателей была упущена... из-за светского злословия.

Но у Толстого с Достоевским был еще один общий

* Сергей Андреевич Юрьев (1821—1888) — писатель и переводчик, председатель Общества любителей российской словесности при Московском университете, знакомый Толстого.

друг — графиня Alexandrine Толстая. Зимой 1881 года, незадолго до кончины Достоевского, она близко сошлась с ним. «Он любит Вас, — писала она Толстому, — много расспрашивал меня, много слышал об Вашем настоящем направлении и, наконец, спросил меня, нет ли у меня чего-либо писанного, где бы он мог лучше ознакомиться с этим направлением, которое его чрезвычайно интересует». Alexandrine дала Достоевскому прочесть адресованные ей письма Толстого февраля 1880 года, написанные в период, когда тот, по общему мнению, «сошел с ума». В «Воспоминаниях» она писала:

«Вижу еще теперь перед собой Достоевского, как он хватался за голову и отчаянным голосом повторял: “Не то, не то!..” Он не сочувствовал ни единой мысли Льва Николаевича».

Совсем другим был отклик Толстого на смерть Достоевского. 5 февраля 1881 года (Достоевский умер 28 января) Лев Николаевич писал Страхову в ответ на его письмо: «Я никогда не видал этого человека и никогда не имел прямых отношений с ним, и вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый близкий, дорогой, нужный мне человек... И никогда мне в голову не приходило меряться с ним — никогда. Всё, что он делал (хорошее, настоящее, что он делал), было такое, что чем больше он сделает, тем мне лучше. Искусство вызывает во мне зависть, ум тоже, но дело сердца только радость. — Я его так и считал своим другом, и иначе не думал, как то, что мы увидимся, и что теперь только не пришлось, но что это мое. И вдруг за обедом — я один обедал, опоздал — читаю: умер. Опора какая-то отскочила от меня. Я растерялся, а потом стало ясно, как он мне был дорог, и я плакал, и теперь плачу».

За два дня до этого Страхов писал Толстому: «Он один равнялся (по влиянию на читателей) нескольким журналам. Он стоял особняком среди литературы, почти сплошь враждебной, и смело говорил о том, что давно было признано за “соблазн и безумие”».

Но что было «соблазном и безумием» с точки зрения литературной среды того времени? Как раз проповедь христианства как последней истины.

На этом, по мнению писателей, помешался перед смертью Гоголь, это стало пунктом «безумия» Достоевского, и от этого же «сошел с ума» Толстой. И Толстой действительно принимает эстафету «безумия» от Достоевского. Случайно или нет, но именно после его смерти, с рассказа «Чем лю-

ди живы», написанного в 1881 году, по сути, и начинается «поздний» Толстой, взгляды которого на жизнь, религию, искусство противоположны тем, что были приняты в так называемом «просвещенном» обществе.

Отречение от Церкви

Существует устойчивое убеждение, особенно среди людей церковных, что конфликт Толстого с Русской православной церковью возник чуть ли не в его ранней юности. Что духовный переворот с самого начала означал разрыв с церковной традицией понимания христианской веры. Что, иными словами, Толстой всегда был еретиком. Церковные критики Толстого как на неоспоримый факт указывают на его собственное признание, что уже в 15 лет в Казани вместо нательного крестика у него был медальон с портретом Жана Жака Руссо. Но откуда это признание?

П. И. Бирюков сообщает, что в 1901 году Толстого посетил французский профессор Поль Буайе (Paul Boyer), затем описавший в женевской газете «Ле Темпс» впечатления от трех дней, проведенных в Ясной Поляне. Там приводятся *устные слова Толстого*:

«К Руссо были несправедливы, величие его мысли не было признано, на него всячески клеветали. Я прочел всего Руссо, все двадцать томов, включая “Словарь музыки”. Я более чем восхищался им, — я боготворил его. В 15 лет я носил на шее медальон с его портретом вместо нательного креста».

Но здесь возникает много возражений.

Во-первых, это признание мы получили из вторых рук. Во-вторых, не забудем, что, оставшись сиротами, братья Толстые воспитывались тремя богобоязненными тетушками, у одной из которых, Юшковой, они жили в Казани в сороковые годы, когда юный Лев якобы носил на шее портрет Руссо. Могла ли не заметить Юшкова «богохульного» жеста племянника? Если заметила, то как на это отреагировала? Мы ничего об этом не знаем. В-третьих, в разговоре с Буайе Толстой несколько преуменьшил своей тогдашний возраст — на самом деле он впервые прочитал Руссо в 18 лет.

Никакого «нательного» Руссо в музейных собраниях Толстого мы не найдем. Зато и по сей день в Ясной Поляне находятся 20 икон семьи Толстых. Из них пять прина-

длежали лично Льву Николаевичу. Лишь после отречения Толстого от Церкви они были «сосланы» в комнату Софьи Андреевны. Одна из этих икон особенно важна.

Это даже не икона, а маленький образок Божией Матери «Три Радости» — подарок Т. А. Ёргольской любимому племяннику. История его появления у Толстого не совсем ясна. Со слов Софьи Андреевны, он был подарен, когда Толстой отправлялся на Крымскую войну. Это напоминает сцену из «Войны и мира», когда княжна Марья уговаривает брата Андрея надеть образок, который носил на войне еще его дедушка. В это время князь Андрей — полный атеист, но ради сестры он соглашается.

Однако из переписки Ёргольской с племянником в период Кавказской войны мы узнаём, что еще в мае 1853 года она с оказией отправила ему образок «Трех Радостей». В сопроводительном письме она писала: «...я поручаю тебя Ее (Богородицы. — П. Б.) святому покровительству, да будет Она тебе в помощь во всех случаях жизни, пусть Она руководит тобой, поддерживает тебя, охраняет и вернет нам живым и здоровым. Эту горячую молитву я обращаю к Ней денно и ночью за тебя, мое милое дитя, мой обожаемый Лёва».

Именно этот образок, а не портрет Руссо Толстой пронес на себе через две войны. И ни пуля, ни сабля не тронули его.

Ёргольская была глубоко верующей женщиной. И церковные настроения княжны Марьи в «Войне и мире» списаны с нее (как и *черные лучистые* глаза), а не с матери Толстого. Но главным прототипом княжны Марьи была, несомненно, мать, которую Толстой не знал, не помнил и, следовательно, вынужден был сочинять ее образ. Очень важно, в каком направлении автор «Войны и мира» идеализировал его.

Неоспоримо также, что в начале духовного кризиса Толстой не только не отрекается от Церкви, а как раз *приходит* в нее. Толстой хватается за Церковь, как за спасительную соломинку в море своих сомнений и разочарований.

Двадцать второго июля 1877 года он впервые отправляется в Оптину пустынь (если не считать посещения монастыря еще мальчиком, когда там хоронили тетюшку Остен-Сакен). Это совпадает с началом духовного кризиса. Несколько часов он беседует со знаменитым оптинским старцем Амвросием. О чем шла речь, мы не знаем. Мнения биографов на этот счет расходятся: В. А. Жданов считает,

что речь шла о семейном конфликте. Н. Н. Гусев пишет, что никакого семейного конфликта в 1877 году не было. В тот год супруги с большой тревогой ожидали рождения ребенка (сына Андрея) после трех ранних детских смертей. К тому времени Толстой еще не был «еретиком», не написал ни одного из своих религиозных сочинений.

Из воспоминаний Софьи Андреевны мы знаем, что Толстой остался встречей «очень доволен, признав мудрость старцев и духовную силу отца Амвросия...».

Вместе с Толстым в Оптину пустынь приехал Н. Н. Страхов. Затем (правда, это известно с чужих слов) он написал Толстому: «Отцы хвалят Вас необыкновенно, находят в Вас прекрасную душу. Они приравнивают Вас к Гоголю и вспоминают, что тот был ужасно горд своим умом, а у Вас вовсе нет этой гордости...»

Гоголь бывал в Оптиной трижды. Но его горячее обращение к Церкви было, в сущности, предсмертным актом. Толстой же приезжает в пустынь в расцвете сил. Привлечь такого писателя, уже прославившегося «властителем дум», на свою сторону было, конечно, важно для Церкви. Речь здесь шла даже не о выгоде (хотя и этот момент мог присутствовать), а о том, что раскол между обществом и Церковью ослаблял Россию, «раскачивал лодку» и стал одной из причин русской революции. Так или иначе, но Толстого в Оптиной приняли с радостью и надеждой, что после Гоголя к Церкви пришел еще один выдающийся русский писатель.

Что там было на самом деле, мы всё-таки в точности не знаем. В летописи скита Оптиной пустыни о первом посещении Толстого сказано всего несколько слов. Сам писатель в 1877 году дневник не вел. Но все косвенные свидетельства подтверждают, что в начале своего кризиса Толстой был принят *ласково* в одном из самых духовно сильных монастырей России. И он оценил это. Ни о каком его конфликте с Русской православной церковью речь еще не шла.

Но вот показательный пример. Год спустя в Оптину пустынь впервые приезжает Ф. М. Достоевский. И его тоже сопровождает философ — еще молодой Владимир Соловьев. Незадолго до этого семью Достоевских постигло горе: их младший сын Алеша умер от эпилепсии, страшной болезни, унаследованной от отца. Двое суток, проведенные в монастыре, и встречи со старцем Амвросием оставили у Достоевского неизгладимое впечатление.

Анна Григорьевна Достоевская вспоминала: «Вернулся Федор Михайлович из Оптиной Пустыни как бы умиротво-

ренный и значительно успокоившийся и много рассказывал мне про обычаи Пустыни, где ему привелось пробыть двое суток. С тогдашним знаменитым “старцем”, о. Амвросием, Федор Михайлович виделся три раза: раз в толпе при народе и два раза наедине, и вынес из его бесед глубокое и проникновенное впечатление. Когда Федор Михайлович рассказал “старцу” о постигшем нас несчастии и моем слишком бурно проявившемся горе, то “старец” спросил его, верующая ли я, и когда Федор Михайлович отвечал утвердительно, то просил его передать мне его благословение, а также те слова, которые потом в романе старец Зосима сказал опечаленной матери... Из рассказов Федора Михайловича видно было, каким глубоким сердцеvedом и провидцем был этот всеми уважаемый “старец”. Старец Амвросий обещал Федору Михайловичу “помянуть на молитве Алешу” и “печаль мою”, а также “помянуть нас и детей наших за здравие”. Федор Михайлович был глубоко тронут беседою со старцем и его обещанием за нас помолиться».

Совсем иная тональность... Более личная, теплая. И не случайно отец Амвросий стал прототипом старца Зосимы в «Братьях Карамазовых». У Толстого мы знаем два ярких образа старцев — отец Сергей и Федор Кузмич в «Посмертных записках старца Федора Кузмича». Причем вторая повесть связана с сомнительной легендой о фиктивной смерти царя Александра I в Таганроге: будто, приказав выдать за себя покойника-«двойника», он отправился странствовать по Сибири.

Толстой встречался с отцом Амвросием трижды. В 1881 году он отправился в Оптину пешком, в одежде простого крестьянина, со слугой Сергеем Арбузовым. Он хотел поселиться в самом бедном странноприимном доме, но монахи быстро распознали его и отвели ему лучшую комнату в лучшей гостинице. Однако на сей раз встреча с Амвросием скорее разочаровала Толстого. Он спорил со старцем о Святом Писании и даже стал уличать того в его незнании. Это был уже совсем другой Толстой — «протестант» и спорщик.

Их третья, последняя встреча состоялась в 1890 году. И тогда Толстой записал в дневнике, что «старец жалок своими соблазнами до невозможности». Бог, писал он, только с молодыми послушниками, а со старцами — дьявол. Это последнее свидание с Толстым огорчило отца Амвросия. Он уже читал его религиозные сочинения или слы-

шал о них. Он просил Толстого раскаяться в своих еретических воззрениях. Но Толстой даже уклонился от благословения перед выходом из кельи. «Горд очень, — сказал Амвросий после ухода Толстого. — Никогда к нам не придет». В 1877 году он говорил обратное. В 1891 году отца Амвросия не стало. А годом ранее Толстой как раз задумал «Отца Сергия». Но эта повесть является не прославлением монашества, а разоблачением его.

Тем не менее связь Толстого с Русской православной церковью в начале его духовного переворота продолжалась довольно долго. Больше того, сам этот переворот поначалу, собственно, и выразился в том, что Толстой *пришел к Церкви*.

Это был вызов той общественной среде, в которой он жил до сих пор. Ведь ни в сфере московской и петербургской аристократии, ни в кругу писателей «Современника» искренняя церковная вера не процветала, считалась чем-то архаическим, «средневековым». В храмы приходили либо ритуально, либо по необходимости. Без них нельзя было заключить брак, узаконить рождение ребенка и даже быть похороненным на обычном кладбище. Отношение к священникам, «попам», у аристократии было в лучшем случае снисходительным. Когда те по праздникам служили молебны в барских домах, их не приглашали за стол, а выносили им еду, как рабочему люду. В старости Толстой рассказывал, что это всегда удивляло его и что в его семье священников сажали за стол. Но почему? Из «демократических соображений».

Когда сестра Мария Николаевна стала монахиней, Сергей Николаевич называл ее монашеский клобук «цилиндром». Сам он в течение двадцати лет не исповедовался и не причащался, так что к нему однажды явились представители духовной консистории с требованием, чтобы он исполнил долг православного христианина, которым формально считался. Об этом посещении он с возмущением написал брату Льву.

Ни у Льва, ни у Сергея не было глубокого церковного воспитания. Впрочем, как пишет Н. Н. Гусев, при жизни матери Толстого «странники и странницы находили гостеприимный приют в яснополянском доме». Когда в Ясной Поляне поселилась тетушка Остен-Сакен, их стало еще больше. «Была полумонахиня Марья Герасимовна, были какие-то Ольга Романовна, Федосея, Федор, Евдокимушка и другие. Николай Ильич не препятствовал своей сестре

принимать странников и странниц, но сам с присущим ему здравым смыслом не разделял ее восторженного отношения к этим людям».

В «Исповеди» Толстой утверждает, что до произошедшего в его душе переворота был атеистом. Это, конечно, неправда. Из его дневников мы знаем, что и на Кавказе, и в Севастополе, и в первые годы семейной жизни он не раз обращался к Богу с молитвой, порой страстной. Ему не хватало живого общения с Богом, он искал Его. В начале духовного кризиса Толстой решил, что найдет Его в Церкви.

И потерпел сокрушительное поражение.

Чья здесь была вина, судить трудно, а то и невозможно. Нужно понимать особенности духовной и умственной личности Толстого. Он не мог ничего принимать на веру. Он был убежден, что если Бог дал людям разум, то не для того, чтобы его затуманивать машинальным исполнением ритуальных служб и обязанностей. Он искал живого общения с Богом и хотел разумом *понять* Его. Зачем Он создал человека? Зачем земные страдания? Если Бог — само милосердие, жизнь должна быть радостью, а не ожиданием смерти. Если мы не знаем, что ждет нас после смерти, как можно устраивать мораль жизни на основании того, чего мы не знаем? Это всё равно что гадать на кофейной гуще. Эти и множество других, еще более сложных вопросов не давали ему покоя. Ими переполнен дневник Толстого после его духовного переворота и до последних дней жизни. Толстой был человеком предельно свободного ума. Если он не находил ответа на поставленный себе вопрос, он продолжал его искать. Он не мог просто сказать себе: вот этого я не понимаю, так приму же на веру то, что говорят другие (например, Церковь). В результате Толстой и Церковь оказались «несовместны».

Он и сам страдал от этого. «Сколько раз, — пишет он в «Исповеди», — я завидовал мужикам за их безграмотность и неученость. Из тех положений веры, из которых для меня выходили явные бессмыслицы, для них не выходило ничего ложного; они могли принимать их и могли верить в истину, в которую и я верил. Только для меня, несчастного, ясно было, что истина тончайшими нитями переплетена с ложью и что я не могу принять ее в таком виде».

Можно сказать, что и в Церковь он поначалу пришел, доверяя чутью народа, которого бесконечно любил. Но Толстой не был «народом». Он оставался *Толстым* — свободным человеком.

Софья Андреевна, сама верующая, была удивлена той страсти, с которой ее муж вдруг обратился к Церкви.

«Он так строго соблюдал посты, что в конце Страстной недели ел один ржаной хлеб и воду и большую часть времени проводил в церкви, — вспоминала она о том, что было в 1877 году. — Детей он этим тоже заражал; и я, даже беременная, строго постилась».

Дочь священника Кочаковской церкви, где находится фамильное кладбище Толстых, рассказывала доктору Маковицкому: «Бывало, отец идет утром к заутрене, а Лев Николаевич уже сидит на камушке. Отец часто ходил ко Льву Николаевичу в дом, возвращался в два часа ночи. Много они со Львом Николаевичем говорили о вере».

Становой пристав В. Р. Чаевский слышал от крестьян рассказ: «Господа наши, значит граф с семьей, кажинный праздник в церкви; приезжают больше одни семейные, сам граф всегда почитай пеший... Раньше начала обедни придет. Мы, мужики, на крыльце присядем у церкви, глядим — и граф присядет вместе с нами, так сидит калякает, разговаривает, значит, о делах аль о божественном».

А слуга Сергей Арбузов, который в 1881 году ходил вместе с Толстым в Оптину пустынь, вспоминал, что в 1877 году, отправляясь рано утром в церковь, граф сам седлал лошадь, чтобы не будить конюхов.

«Исполняя обряды Церкви, — писал Толстой в «Исповеди», — я смирял свой разум и подчинял себя тому преданию, которое имело всё человечество. Я соединялся с предками моими, с любимыми мною — отцом, матерью, дедами, бабками. Они и все прежние верили и жили, и меня произвели. Я соединялся и со всеми миллионами уважаемыми мною людей из народа».

Но упрямый ум Толстого не мог остановиться на том, что он поступает как все и, следовательно, поступает верно. Первый же опыт причастия после длительного отказа от него вызывает в нем душевное отторжение. «Никогда не забуду мучительного чувства, испытанного мною в тот день, когда я причащался в первый раз после многих лет. Службы, исповедь, правила — всё это было мне понятно и производило во мне радостное сознание того, что смысл жизни открывается мне. Самое причастие я объяснял себе как действие, совершаемое в воспоминание Христа и означающее очищение от греха и полное восприятие учения Христа. Если это объяснение и было искусственно, то я не замечал его искусственности. Мне так радостно было, унижаясь

и смиряясь перед духовником, простым робким священником, выворачивать всю грязь своей души, каясь в своих пороках, так радостно было сливаться мыслями с стремлениями отцов, писавших молитвы правил, так радостно было единение со всеми веровавшими и верующими, что я и не чувствовал искусственности моего объяснения. Но когда я подошел к Царским дверям и священник заставил меня повторить то, что я верю, что то, что я буду глотать, есть истинное тело и кровь, меня резануло по сердцу; это мало что фальшивая нота, это жестокое требование кого-то такого, который, очевидно, никогда и не знал, что такое вера...»

Толстому стало «невыразимо больно». Но — «я нашел в своей душе чувство, которое помогло мне перенести это. Это было чувство самоунижения и смирения. Я смирился, проглотил эту кровь и тело без кошунственного чувства, с желанием поверить, но удар уже был нанесен. И, зная наперед, что ожидает меня, я уже не мог идти в другой раз».

Что же случилось в тот день? Ни посты, ни молитвы, ни исповедь, ни само по себе причастие не вызывали в нем отторжения, но, напротив, будили радостное чувство. Радость он испытал от чтения житийной литературы, особенно Четых миней. Но требование священника подтвердить, что вино и хлеб есть кровь и тело Иисуса, было «невыразимо больно». Здесь интеллектуальная совесть Толстого спотыкается, не может этого принять.

Это самое загадочное место в «Исповеди» Толстого. Невероятно предположить, чтобы «робкий» сельский священник «заставлял» барина, подошедшего к причастию, что-то «повторять» за ним, тем более что в момент причащения вообще-то молчат. Скорее всего, речь идет о молитве Иоанна Златоуста, которую священник (и с ним прихожане) читает перед причащением. В этой молитве есть слова: «Еще верую, яко сие есть самое пречистое Тело Твое, и сия есть самая честная Кровь Твоя». Вероятно, именно они смутили Толстого. Но почему? Разве он никогда их не слышал?!

Вторым важным моментом, оттолкнувшим Толстого от Церкви, было требование молиться в храме за властей предержащих и воинство. Но Толстой не находил такого требования в Евангелии. И вновь разум его бунтует, противится насилию, не может принять на веру то, чего он не видит и не понимает.

«Православие отца кончилось неожиданно, — вспоминал Илья Львович. — Был пост. В то время для отца и желающих поститься готовился постный обед, для маленьких

же детей и гувернанток и учителей подавалось мясное. Лакей только что обнес блюда, поставил блюдо с оставшимися на нем мясными котлетами на маленький стол и пошел вниз за чем-то еще. Вдруг отец обращается ко мне (я всегда сидел с ним рядом) и, показывая на блюдо, говорит:

— Илюша, подай-ка мне эти котлеты.

— Лёвочка, ты забыл, что нынче пост, — вмешалась мамá.

— Нет, не забыл, я больше не буду поститься, и, пожалуйста, для меня постного больше не заказывай.

К ужасу всех нас он ел и похваливал. Видя такое отношение отца, скоро и мы охладели к постам, и наше молитвенное настроение сменилось полным религиозным безразличием».

Отречение от литературы

Вместе с духовным кризисом Толстой переживает серьезный творческий кризис. После «Анны Карениной», завершенной в 1877 году, до 1881 года Толстой почти не пишет ничего художественного. Главным его произведением этого периода является «Исповедь», написанная пронзительно честно, искренне, на разрыв души, но не имеющая ничего общего с «изысканной словесностью».

Начатые или задуманные произведения им брошены. От того, что уже написано и принесло славу, он прилюдно презрительно отрекается. С таким же презрением отзывался о литературных святынях, даже о Пушкине. Порой это напоминает какое-то хулиганство. Толстой ведет себя как *enfant terrible*, ужасный ребенок.

В присутствии литературных поклонников в издательских выражениях говорит о «Войне и мире» и «Анне Карениной», к примеру, в кабинете директора гимназии Поливанова в Москве, куда он пришел устраивать сыновей Илью и Льва. В кабинете оказались жена директора и бывший учитель тульской гимназии Марков, старый знакомый Толстого.

Марков спросил: правда ли, что он теперь ничего не пишет?

— Правда, — ответил Толстой вызывающе. — Ну и что же?

— Да как же это возможно, — воскликнул Марков, — лишать общество ваших произведений?!

Толстой спокойно ответил:

— Если я делал гадости, неужели я должен продолжать их делать? Вот я в юности цыганок посещал, шампанское пил, неужели я должен опять всё это проделывать?

Оскорбленный Евгений Марков спросил:

— Как же можно делать такие сравнения?!

И опять услышал спокойный голос Толстого:

— Ну, если я считаю свои произведения именно вздором и занятия «художествами» делом недостойным?

Из воспоминаний жены Поливанова следует, что не только свои произведения Толстой называл *вздором*.

«— Вот был Пушкин. Написал много всякого вздора. Ему поставили статую. Стоит он на площади, точно дворецкий с докладом, что кушанье подано... Подите, разъясните мужику значение этой статуи, и почему Пушкин ее заслужил».

В 1881 году Толстой пишет «Чем люди живы» — то ли рассказ, то ли назидательную сказку.

Ангел был отправлен Богом на землю, чтобы понять, чем люди живы. Проработал он подмастерьем у бедного сапожника и понял, что «живы они одною любовью. Кто в любви, тот в Боге, и Бог в нем, потому что Бог есть любовь».

Это хорошо звучало бы в устах Платона Каратаева из «Войны и мира». Но Платон Каратаев — лишь один из персонажей романа, и далеко не главный. В рассказе же чувствовалось, что проповедь всеобщей любви, так сказать, *доктрина любви* стала доктриной самого Толстого и что она — единственное, во что тот верит или, по крайней мере, желает верить.

При этом рассказ «Чем люди живы» — ключевое произведение для Толстого. С него начинается новый Толстой, не тот, что восхищал публику «Детством», «Казаками», «Войной и миром» и «Анной Карениной». Толстой, который отрёкся от *литературы* в привычном понимании слова.

С 1881 по 1885 год — опять фактически четырехлетний перерыв. Толстой целиком погружается в свои духовные сочинения — «Исследование догматического богословия», «Соединение, перевод и исследование четырех Евангелий», «В чем моя вера?», «Так что же нам делать?». Ни одно из этих произведений не печатается в России. Борьба цензуры с Толстым начинается с того, что из майского номера журнала «Русская мысль» вырезается уже готовый набор «Исповеди». Такая же участь постигла статью «Так что же нам

делать?», написанную под впечатлением переписи населения в Москве, в которой участвовал Толстой, выбрав себе самые бедные районы. Вместе с сокрушительной критикой «разделения труда» (в глазах Толстого — обман, при котором ничтожная часть богатого населения живет за счет нищих крестьян) здесь была и критика церковных догматов, в частности об искуплении кровью Христа грехов человеческих. Это и критика цивилизации в целом. Это не имеет никакого отношения не только к художественной литературе, но и к публицистике в строгом понимании.

Это особый толстовский жанр.

Статью «В чем моя вера?» Толстой даже не надеется опубликовать легально и прибегает к тому, что позже назовут «самиздатом»: в типографии Кушнерева за свои деньги выпускает брошюру тиражом 50 экземпляров. Она расходуется в Москве и Петербурге в аристократических кругах и пользуется большим успехом. По сути, Толстой становится *религиозным диссидентом*.

Всё это сильно напугало Софью Андреевну. Ей вовсе не хотелось стать женой религиозного диссидента. Не забудем, что православие было не просто «одной из конфессий», но государственной идеологией России, и несогласие с Церковью и ее догматами приравнялось к политическому преступлению.

Поначалу она вообще не понимает, чем занимается ее муж. В письме сестре сообщает, что Лёвочка «спокоен и пишет какие-то статьи». Однако, перебеляя «Исследование догматического богословия», она вдруг берет рукопись, относит в кабинет мужа и заявляет, что отказывается ее переписывать, потому что это слишком ее «волнует». На самом деле не волнует, а пугает.

Начиная статью с критики трудов митрополита Макария «Введение в православное богословие» и «Православно-догматическое богословие», которые были не популярной литературой, а учебниками для духовных семинарий и академий, Толстой дальше на многих страницах даже не критикует, а отрицает Церковь как таковую. И не просто отрицает, но обвиняет в злонамеренной вековой лжи.

«Учение о Церкви учительской есть теперь учение чисто враждебное христианству. Отступив от духа учения, оно извратило его до того, что дошло до его отрицания всей жизнью: вместо унижения — величие, вместо бедности — роскошь, вместо неосуждения — осуждение жесточайшее всех, вместо прощения обид — ненависть, войны, вместо терпе-

ния зла — казни. И все отрицают друг друга. Чего еще? Имя Христовой Церкви не может спасти ее... Церковь, всё это слово, есть название обмана, посредством которого одни люди хотят властвовать над другими. И другой нет и не может быть Церкви. Только на этом обмане построились на истинном учении, пронесенном всеми церквями, те безобразные догматы, которые уродуют и закрывают всё учение. И божество Иисуса, и Святой Дух, и Троица, и Дева Богородица, и все дикие обряды, потому называемые таинствами, что они не имеют смысла и никому не нужны, исключая таинства священства, нужного для попов, чтобы собирать яйца».

Это была не литература, не публицистика и не богословие. Это было открытое объявление войны!

Но, может быть, мы преувеличиваем? Может быть, Толстой вовсе не думал, что объявляет войну?

«...я сам, — пишет он своей тетушке А. А. Толстой 3 марта 1882 года, — есмь обличение обманщиков, тех лжепророков, которые придут в овечьей шкуре и которых мы узнаем по плодам. — Стало быть, согласия между обличителем и обличаемым не может быть. Выхода для обвиняемых только два — оправдаться и доказать, что все мои обвинения несправедливы... Надо оправдаться в насилиях всякого рода, в казнях, в убийствах, в скопище людей, собранных для человекоубийства и называемых в насмешку над Богом — христолюбивым воинством, во всех ужасах, творившихся и теперь творимых с благословенья вашей веры, или покаяться. И я знаю, что обманщики не станут ни оправдываться, ни раскаются. Раскаяться им и вам неохота, потому что тогда нельзя служить мамону и уверять себя, что служишь Богу. Обманщики сделают, что всегда делали, будут молчать; но когда нельзя уже будет молчать, они убьют меня...»

Во втором письме тетушке Толстой снова настаивает, что его непременно в будущем «убьют». «А они будут молчать, пока можно, а когда нельзя уже будет, они убьют меня... И я могу погибнуть физически, но дело Христа не погибнет, и я не отступлюсь от него, потому что в этом только моя жизнь — сказать то, что я понял заблуждениями и страданиями целой жизни».

Понятно, что в этом состоянии души Толстому было не до литературы. Он видел себя одиноким воином, который выступил против мирового заговора Церкви, и собирался посвятить этой битве весь остаток своей жизни. Пока его не «убьют».

В этом возбужденном, лихорадочном состоянии Толстой совершает поступок, который и сегодня инкриминируется ему как самый кощунственный в отношении не только Церкви, но и христианства в целом. Воспользовавшись своим знанием древнегреческого языка, который он в неправдоподобно короткий срок (полтора месяца!) изучил зимой 1871/72 года, он задается смелой целью сделать собственный перевод Евангелия. По его мнению, существующий синодальный перевод неверен и скрывает истинное учение Христа. Так в 1880—1881 годах появляется книга под первоначальным названием «Соединение и перевод четырех Евангелий», из которой затем был сделан сокращенный вариант — «Краткое изложение Евангелия». Жанр этого сочинения определить трудно.

До сих пор среди верующих людей бродит миф, что Толстой осмелился написать «собственное Евангелие». Дескать, гордыня его зашла так далеко, что он решил вступить в соперничество с апостолами-евангелистами Иоанном, Матфеем, Марком и Лукой. На самом деле никакого *собственного* Евангелия Толстой не писал и не мог написать по простой причине, что всё равно опирался на греческий вариант уже написанного текста.

Но, пожалуй, Толстой поступил даже более дерзко: не перевел заново, а *отредактировал* Евангелие, исключив из него всё, что представлялось ему неясным, провоцирующим на разного рода взаимоисключающие толкования — и в результате, по замечанию современного филолога Игоря Волгина, уничтожил в Евангелии не только всю его метафизику, но и всю поэзию.

При этом им двигало благое желание найти *зерно истины*, а вовсе не гордыня, как принято считать. Толстой хотел сделать такой перевод Евангелия, который устранил бы конфессиональную вражду различных христианских церквей и сект. Поэтому ключевое слово в названии было не «перевод», а «соединение». Соединение не только четырех изложений жизни Христа, но всех верующих во Христа людей на основе разума.

«В самом деле, — пишет он в предисловии ко второму изданию «Перевода», — тысячи преданий, и каждое отрицает, проклинает одно другое и свое считает истинным: католики, лютеране, протестанты, кальвинисты, шекеры, мормоны, греко-православные, староверы, поповцы, беспоповцы, молокане, мен[н]ониты, баптисты, скопцы, духоборы и пр., и пр., все одинаково утверждают про свою ве-

ру, что она единая истинная и что в ней одной Дух Святой, что глава в ней Христос и что все другие заблуждаются».

Однако многие места в Евангелии понять разумом невозможно — в них можно либо безоговорочно верить, либо не верить, либо отодвигать эти вопросы, уклоняться от них, признавая, что разума недостаточно, чтобы на них ответить. Толстой так поступить не мог.

Разумеется, в России «Перевод» напечатан не был. Впервые он был издан за границей в 1891 году. В предисловии к первому изданию Толстой признаётся, что работа эта «далеко не окончена и в ней много недостатков». Но что значит «не окончена»? Формально она доведена до конца. По-видимому, речь шла о новой редакции и исправлении текста. Но их Толстой как раз не был в состоянии сделать в 1891 году, когда печатался «Перевод», потому что «то *сосредоточенное, постоянно восторженное* (курсив мой. — П. Б.) душевное напряжение, которое я испытывал в продолжение всей этой долгой работы, уже не может возобновиться...».

Толстой признавался, что работал над произведением в состоянии сильнейшего душевного волнения, которое он определил как *восторг*. В предисловии ко второму зарубежному изданию 1902 года он пишет: «Книга эта была написана мною в период незабвенного для меня *восторга* (курсив мой. — П. Б.) сознания того, что христианское учение, выраженное в Евангелиях, не есть то странное, мучившее меня своими противоречиями, учение, которое преподается Церковью, а есть ясное, глубокое и простое учение жизни, отвечающее высшим потребностям души человека».

Между тем еще А. С. Пушкин протестовал против смешения восторга и вдохновения. «Вдохновение есть расположение души к живому приятию впечатлений, следовательно, к быстрому соображению понятий, что и способствует объяснению оных», — писал он.

Огромный том «Перевода» с комментариями был написан в короткий срок. Это было невероятное умственное напряжение, сравнимое разве что с работой над «Войной и миром». О своем состоянии во время создания «Перевода» Толстой писал Н. Н. Страхову: «Я всё работаю и не могу оторваться и часто счастлив своей работой, но очень часто слабею головой».

Об умственном переутомлении мужа писала тому же Страхову и Софья Андреевна: «Лев Николаевич совсем себя замучил работой, ужасно устает и страдает головой, что

меня сильно тревожит». Об этом же она сообщала сестре: «Лёвочка... головой часто жалуется, потому что много работает».

Толстому было необходимо доказать, что смысл Евангелия равняется тому *разумению жизни*, к которому пришел он сам. Но он пришел к нему не только и не столько через Евангелие, сколько через весь опыт своей жизни. Зачем же было *адаптировать* Евангелие под личный духовный опыт? Ведь он слагался из многих составляющих: детства, общения с верующими тетушками, службы на Кавказе и в Крыму, семейной жизни...

Для выражения этого опыта и существует литература. Но от нее-то Толстой отрекся.

Самое странное, что образ Христа, который предлагает Толстой, в литературном плане как раз весьма интересен — он сомнителен в религиозном смысле.

«Рождение Иисуса Христа так было: когда выдана была его мать Иосифу, прежде чем им сойтись, оказалась она беременна. Иосиф, муж ее, был праведен: не хотел ее уличить и задумал без огласки отпустить ее. Но когда он подумал это, ему приснилось, что посланный от Бога явился и сказал: не бойся принять Марию, жену твою, потому что то, что родится от нее, родится от Духа Святого». В комментариях Толстой описывает это событие еще более грубо: «Была девица Мария. Девица эта забеременела неизвестно от кого. Обрученный с нею муж пожалел ее и, скрывая ее срам, принял ее. От нее-то и неизвестного отца родился мальчик».

Другими словами, в древней Иудее от неизвестного отца, но в законном браке с другим мужчиной, родился мальчик. Он знает, что его отец не Иосиф, но не знает, *кто* его отец, потому что этого не знает и мать. Этого мальчика все, кроме Марии и Иосифа, считают сыном Иосифа, простого иудейского плотника. Но как воспринимает себя сам мальчик? И вот оказывается, он приходит к мысли, что если у него нет отца, то его Отцом является Господь Бог, без которого ничего бы в этом мире не появилось.

Так понимает Толстой слова «Сын Божий», которые относят к Христу. Он такой же сын Божий, как и все мы. Но в силу своего несчастного положения Христос понимает это, а мы — нет. Если бы Толстой оставался просто писателем и не насиловал бы евангельский текст новыми переводами понятий и тем более не сокращал бы его, выбрасывая, с его точки зрения, сомнительные места, если бы он прос-

то перенес этот удивительный сюжет на русскую почву, из него могли бы получиться прекрасные роман или повесть. История о мальчике, который не знал своего отца, но не отчаялся, нашел его в Боге и передал этот духовный опыт другим людям. Это могла быть история русского странника или юродивого.

Но Толстой как писатель воспользовался *чужим текстом*, предлагая свою «версию». Наконец, он совершил откровенное хулиганство, например, переводя «фарисеи» как «православные». Лингвистически это не ошибка. Слово «фарисеи» переводится как «правоверные иудеи», то есть «православные». Но при этом возникает дурная игра слов и ставится знак равенства между иудейскими и православными священниками. В результате получается, что «православные» распяли Христа.

Христос Толстого, возможно, и был бы прекрасен как человек с несчастными обстоятельствами своего «позорного» рождения, исполненный высокого духовного полета и любви к людям. Но зачем он творит эти чудеса, вроде воскрешения Лазаря? Зачем завещает ученикам есть и пить хлеб и вино, еще и называя это своим телом и кровью?

И Толстой поступает просто: *вычеркивает* эти места из Евангелия, объявляя их «ненужными» (его любимое слово). Но это уже откровенная цензура. Та, от которой страдал сам Толстой. Например, он завершает перевод Евангелия смертью Иисуса на кресте. Не было Воскресения. Но точно так же издатель «Русского вестника» Катков закончил публикацию «Анны Карениной» на гибели главной героини под поездом, выбросив всю историю отъезда Вронского на турецко-сербскую войну и всю последнюю «левинскую» часть. Он посчитал это «ненужным». И как же возмущался по этому поводу Толстой!

Потрясающая сцена в Гефсиманском саду, когда Христос, дрогнув в своем человеческом естестве, просит Отца Небесного пронести мимо Него «чашу сию», избавить Его, Сына Бога, от физических страданий, под пером Толстого превращается в борьбу Иисуса с собственными соблазнами. Ухо великого писателя не слышит творимого им насилия над священным произведением. Художественный слух вдруг отказывает Толстому...

В воспоминаниях учителя Ивана Михайловича Ивакина, с которым Толстой советовался как с филологом, показан процесс работы писателя:

«С самого первого раза мне показалось, что, начиная

работать над Евангелием, Лев Николаевич уже имел определенные взгляды... Научная филологическая точка зрения если и не была вполне чужда ему, то во всяком случае оставалась на втором, даже на третьем плане... Историческую, чудесную, легендарную сторону в Евангелии, как известно, он совершенно устранил, считал неважной, ненужной.

— Какой интерес знать, что Христос ходил на двор? — говорил он. — Какое мне дело, что он воскрес? Воскрес — ну и господь с ним! Для меня важен вопрос, что мне делать, как мне жить!»

Неудача с «Переводом» Евангелия стала для Толстого своего рода наказанием за отречение от литературы. Великий писатель не мог существовать вне литературы. Не мог свободно жить и дышать без нее. И это тонко почувствовал его литературный соперник Иван Тургенев. В 1883 году он умирал на даче Виардо в Буживале. Страдания его были ужасны, они прекращались только после очередного впрыскивания морфия. Но когда до него дошел слух, что Толстой отказался от литературы, Тургенев написал письмо, которое является эталоном мужества и благородства писателя. За одно это письмо можно простить Тургеневу все его слабости:

«Милый и дорогой Лев Николаевич. Долго Вам не писал, ибо был и *есмы*, говоря прямо, на смертном одре... Пишу же я Вам, собственно, чтобы сказать Вам, как я был рад быть Вашим современником, — и чтобы выразить Вам мою последнюю искреннюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литературной деятельности! Ведь этот дар Вам отсюда же, откуда всё другое... Друг мой, великий писатель русской земли, внемлите моей просьбе! Дайте мне знать, если Вы получите эту бумажку, и позвольте еще раз крепко, крепко обнять Вас, Вашу жену, всех Ваших, не могу больше, устал».

Толстой не ответил.

Отречение от государства

В 1881 году Толстой приобретает самого могущественного врага, которого только можно было приобрести в то время (кроме царя, разумеется), — обер-прокурора Святейшего синода, главного идеолога империи Константина Петровича Победоносцева.

В пятидесятые годы после публикации очерков из Севастополя, которые так понравились Александру II и его

сыну, тогда еще юному цесаревичу, у Толстого были все возможности стать если не придворным писателем, то обласканным царским двором. Взойдя на трон, Александр III не забыл своего раннего восхищения творчеством Толстого и оставался его поклонником даже в то время, когда он взбунтовался против Церкви и государства. Выражения «мой Толстой», «моего Толстого попрошу не трогать» были естественными в устах царя. Есть свидетельства, что он плакал во время художественной читки пьесы «Власть тьмы». Впрочем, это не помешало цензуре запрещать ее к постановке в публичных театрах (можно только на домашних!) в течение без малого десяти лет. Сразу после ее написания в 1886 году в Александринском театре уже полным ходом шла подготовка к премьере: были распределены роли, готовились к репетициям... Но вмешался Победоносцев. Пьеса шла в Берлине и Париже, Италии, Швейцарии и Голландии. Но не в России. Писатель и журналист Владимир Алексеевич Гиляровский сочинил по этому поводу стихотворный экспромт:

В России две напасти:
Внизу — власть тьмы,
А наверху — тьма власти.

Что же столкнуло этих людей, Толстого и Победоносцева? Каждый из них был личностью незаурядной. О Победоносцеве можно говорить что угодно, но он был человек безусловно умный и образованный. Он прекрасно разбирался не только в российской политической ситуации, но и европейской, читал все главные европейские газеты. Он был, конечно, большим знатоком в области православной литературы, чем Толстой, и искренне любил русскую Церковь. Он был человек глубоко нравственный. Невозможно представить, чтобы Победоносцев получил взятку и даже чтобы кто-то осмелился ему ее предложить. Он умел отделять личные интересы от государственных и искренне болел за державу.

Он был воспитателем двух великих князей, сыновей Александра II — Николая и Александра. Но Николай, на которого он возлагал большие надежды, скончался в 1866 году. Это был страшный удар для Победоносцева, которому откровенно не нравились реформы Александра II, и он этого не скрывал.

«На него была надежда, — писал он после смерти цеса-

ревича Николая своей confidentке Анне Тютчевой, дочери поэта, — мы в нем видели противодействие, в нем искали другого полюса. Эту надежду Бог взял у нас. Что с нами будет? Да будет Его святая воля...»

«Мы» — это, вероятно, московская партия славянофилов, которой благоволил Победоносцев, будучи антизападником.

Победоносцев не любил Александра II не только за реформы, но и за, как он считал, аморализм. После смерти жены, не дожидаясь истечения года траура, государь вступил в морганатический брак* с Екатериной Долгоруковой, с которой имел четверых внебрачных детей.

Победоносцева также раздражало холодное отношение Александра II к православию. Он был оскорблен, когда тот запретил наследнику престола в 1867 году поехать в Москву на похороны митрополита Филарета. Туда уже отправился другой его сын, великий князь Владимир, и государь решил, что этого вполне достаточно.

Гибель царя 1 марта 1881 года от взрыва бомбы, брошенной ему под ноги членом партии «Народная воля» Игнатием Гриневицким, была объективно выгодна Победоносцеву. Она позволяла свернуть реформы и критиковать весь либеральный Комитет министров (Михаила Тариеловича Лорис-Меликова, Дмитрия Алексеевича Милютина, Александра Агеевича Абазу и др.).

Его личное влияние на нового императора было очень весомым. И Победоносцев воспользовался этим. Успех террористического акта против Александра II позволил Победоносцеву внушать Александру III, что необходимо, по выражению другого консерватора, Константина Николаевича Леонтьева, «подморозить» Россию. И это удалось. На четверть века, писал Александр Блок, «Победоносцев над Россией / Простер совиные крыла». Едва ли не первым, кто пытался помешать ему, стал Толстой.

Вспомним, что испытал он, увидев в марте 1857 года смертную казнь в Париже. Ужас и отвращение! И даже не столько от самой экзекуции, сколько от атмосферы, в которой она происходила. Толстой ненавидел насилие любого рода. Но насилие, совершаемое «по закону», то есть заведо-

* Морганатический брак — брак, заключаемый между супругами разного социального статуса, при котором муж (жена) и дети не наследуют титула. Так, княжна Долгорукова в замужестве стала не новой императрицей, а только светлейшей княгиней Юрьевской, а ее с Александром II дети не могли претендовать на престол.

мо оправданное и даже освященное (ведь на казни обязательно присутствовал священник), было ему особенно отвратительно!

Толстой гордился тем, что по указу императрицы Елизаветы Петровны от 25 мая 1753 года перестала применяться смертная казнь по отношению ко всем *уголовным преступникам*, включая убийц. В этом плане Россия оказалась прогрессивнее Западной Европы, отменившей смертную казнь во второй половине XX века.

Но указ Елизаветы не означал, что от смертной казни освобождаются *политические преступники*, посягнувшие на «спокойствие государственное, безопасность Престола и Святость Величества». Казнили и Пугачева, и декабристов. И петрашевцев, в том числе Ф. М. Достоевского, могли бы казнить, если бы не помилование.

Всё это Толстой прекрасно понимал. Тем не менее в марте 1881 года он пишет новому императору письмо с просьбой не казнить убийц его отца. Это было неслыханным вызовом!

Непосредственный убийца царя Гриневицкий скончался от ранений, полученных от брошенной им бомбы, в тот же день, что и его жертва. Но пятеро арестованных по этому делу народовольцев — Андрей Желябов, Софья Перовская, Николай Кибальчич, Тимофей Михайлов и Николай Рысаков — были, разумеется, обречены на виселицу. Надо было быть очень наивным человеком, чтобы думать по-другому.

Убийством царя-реформатора были возмущены в обществе. Возмущен был и Толстой. Иначе Страхов, хорошо знавший настроения Толстого, не написал бы ему: «Какой удар, бесценный Лев Николаевич! Я до сих пор не нахожу себе места и не знаю, что с собой делать. Бесчеловечно убили старика, который мечтал быть либеральнейшим и благороднейшим царем в мире. Теоретическое убийство, не по злобе, не по реальной надобности, а потому что в идее это очень хорошо...»

Именно убийство царя, освободившего крестьян от крепостного рабства и желавшего развития России по европейскому пути, заморозило многие либеральные реформы и стало одной из причин революционных потрясений 1905—1907 и 1917 годов.

Наверное, и это Толстой понимал и предвидел. Что же заставило его написать царю письмо, оригинал которого не сохранился, но о содержании которого мы знаем из черновика?

Самое начало письма было дерзким: «Я буду писать не в том тоне, в котором обыкновенно пишутся письма государям... Я буду писать просто, как человек к человеку...» Но царь в России был не просто «человеком», а «помазанником Божиим». Духовная власть царя была не менее важна, нежели ее политическая составляющая. Это был прямой вызов царской власти и монархии в целом. Недаром Софья Андреевна была страшно напугана этим письмом и грозила «выгнать вон» домашнего учителя Василия Ивановича Алексеева, который поддержал идею Толстого. Из религиозного диссидента — вполне логично — ее муж превращался в диссидента *политического*.

Но на чем была основана эта логика? Толстой «всего лишь» предлагал Александру III поступить не по-царски, а *по-человечески*, под человеческими законами имея в виду высшие христианские истины. «Прежде обязанностей царя есть обязанности человека, — писал он, — и они должны быть основой обязанности царя и должны сойтись с ними. Бог не спросит Вас об исполнении царской обязанности, а спросит об исполнении человеческих обязанностей».

В письме Толстой не жалеет слов в осуждение террористов: «враги отечества, народа», «презренные мальчишки», «безбожные твари». Но именно в этом осуждении он видит главное искушение для царя. «В этом-то искушении и состоит весь ужас Вашего положения. Кто бы мы ни были, цари или пастухи, мы люди, просвещенные учением Христа». «Отдайте добро за зло, не противьтесь злу, всем простите», — призывал Толстой.

Толстой предлагал не просто помиловать цареубийц, не просто смягчить им наказание, но «позвать» этих людей, дать денег и услать «куда-нибудь в Америку». В этом случае он сам готов был стать верным монархистом: «...не знаю, как другие, но я, плохой верноподданный, был бы собакой, рабом Вашим. Я плакал бы от умиления, как я теперь плачу всякий раз, когда бы я слышал Ваше имя».

Не один Толстой был против повешения народовольцев. 28 марта, за шесть дней до казни, в зале Кредитного общества читал публичную лекцию Владимир Соловьев. «Сегодня судятся и, вероятно, будут осуждены на смерть убийцы царя. Но царь может и, если действительно чувствует свою связь с народом, должен простить цареубийц. Народ русский не признаёт двух правд. Если он признаёт правду Божию за правду, то другой у него нет, а правда Божия говорит: “Не убий”...»

О возможности смягчения приговора говорили и в либеральных кругах при дворе. И сегодня трудно судить, что было бы, если бы... Если бы царь помиловал убийц отца. Предположить можно только одно: волна революционного террора захлебнулась бы в нравственном противоречии. Всякое новое политическое убийство уже не имело бы под собой никаких моральных оснований и было бы осуждено всем российским обществом. Казнь народовольцев, причем даже тех, кто непосредственно не убивал царя, делала их *жертвами* власти и морально развязывала руки для новых терактов. Между тем для революционеров XIX века представления о морали, пусть и извращенные, были важны. Они *жертвовали* жизнями ради России, прогресса, справедливости, чего угодно. Так они понимали свою «миссию». Например, в кодексе чести Боевой организации партии социалистов-революционеров, в разное время возглавляемой Азефом, Гершуни и Савинковым, было заложено положение, что террорист и сам обязан погибнуть — во время теракта или после него. По сути, это было извращение христианского учения о принесении себя в жертву ради других.

Письмо Толстого царю на первый взгляд может показаться наивным. Но сам молодой государь, оглушенный убийством отца, пребывал в растерянности. Ситуация была принципиально новой, и правильного выхода из нее не знал никто. Отказ от помилования пятерых народовольцев стал первым политическим решением нового императора. Дальше в России лишь поднималась волна террора и раскручивался маховик репрессий. В 1887 году за подготовку покушения на Александра III были казнены в Шлиссельбургской крепости член Террористической фракции партии «Народная воля» Александр Ульянов и четверо его товарищей. Теракт планировался на 1 марта 1886 года; разумеется, день был выбран не случайно. В 1917 году русская монархия погибла. В 1918-м в Екатеринбурге был казнен вместе со всей семьей сын Александра III. Так или иначе, но Толстой был прав, когда писал государю: «Не простите, казните преступников, Вы сделаете то, что из числа сотен Вы вырвете 3-х, 4-х, и зло родит зло, и на место 3-х, 4-х вырастут 30, 40...» *Насилие рождает насилие.*

Но кто мог передать письмо? Только Победоносцев. Именно он в эти дни был ближе всех к царю и постоянно ходил к нему с докладами. Однако Победоносцев просьбу не исполнил, а ответил Толстому своим посланием, из

которого видно, что он хорошо понимал, о чем идет речь в письме Толстого.

Речь шла о борьбе за душу нового монарха.

В ответе Толстому Победоносцев писал: «...не взыщите за то, что я уклонился от исполнения Вашего поручения. В таком важном деле всё должно делаться по вере. А прочитав Ваше письмо, я увидел, что Ваша вера одна, а моя и церковная вера другая, и что наш Христос — не Ваш Христос. Своего я знаю мужем силы и истины, исцеляющим расслабленных, а в Вашем показались мне черты расслабленного, который сам требует исцеления».

В этом письме не было ни слова о политике. Ни слова о том, что казнь террористов является политической необходимостью. По убеждению Победоносцева, казнь являлась именно нравственной, *христианской* необходимостью. Победоносцев не передал письмо императору, но не уклонился от вызова Толстого. Больше того — он принял этот вызов как направленный лично ему.

Тем не менее содержание письма дошло до Александра III. Узнав об этом, Победоносцев не на шутку встревожился. Он написал царю:

«Ваше императорское величество. Простите ради Бога, что так часто тревожу Вас и беспокою.

Сегодня пущена в ход мысль, которая приводит меня в ужас. Люди так развратились в мыслях, что иные считают возможным избавление осужденных преступников от смертной казни. Уже распространяется между русскими людьми страх, что могут представить Вашему величеству извращенные мысли и убедить Вас к помилованию преступников. Слух этот дошел до старика гр[афа] Строганова, который приехал ко мне сегодня в волнении.

Может ли это случиться? Нет, нет, и тысячу раз нет — этого быть не может, чтобы Вы перед лицом всего народа русского в такую минуту простили убийц отца Вашего, русского государя, за кровь которого вся земля (кроме немногих, ослабевших умом и сердцем) требует мщения и громко ропшет, что оно замедляется.

Если бы это могло случиться, верьте мне, государь, это будет принято за грех великий и поколеблет сердца всех Ваших подданных. Я русский человек, живу посреди русских и знаю, что чувствует народ и чего требует. В эту минуту все жаждут возмездия».

На этой записке рукой императора начертано: «Будьте спокойны, с подобными предложениями ко мне не посме-

ет прийти никто, и что все шестеро будут повешены, за что я ручаюсь».

Повешены были пятеро, а не шестеро, но это не суть важно. Важно, что царь, по-видимому, не читал письма Толстого и, таким образом, благодаря Победоносцеву был избавлен от внутреннего спора с Толстым, не говоря уже об ответе ему. Всё нравственное, *христианское* содержание спора Победоносцев взял на себя.

Он взял на себя и «народный» аспект спора, который как главный выдвигал в своей лекции Владимир Соловьев. «С этого времени, — пишет историк Ю. В. Готье, — до самого конца жизни Александра III Победоносцев, подсказывая императору те или иные мнения и планы и стремясь эти мнения и планы внедрить в его сознание, постоянно говорит о “народе”, который думает именно так, как думает сам Победоносцев». Но почему «народ» думает именно так, как думает Победоносцев, а не так, как думает боевой офицер, помещик и писатель Толстой, было неясно.

Зато было ясно, что прямая связь Толстого с русским монархом прервана, не успев начаться. Победил Победоносцев. Толстой написал Страхову: «Победоносцев ужасен».

Ни с одним из русских императоров Толстой никогда не встречался. Став врагом Церкви, он стал и врагом государства.

Отказ от собственности

До духовного переворота Толстой не выступал противником денег и частной собственности. Больше того, он был *стяжателем*, стремясь приумножить состояние и сделать свою семью богатой. Конечно, не в этом он видел свое главное назначение. Но это была важная составляющая *семейного проекта*. Даже писательскую деятельность он понимал в том числе и как средство для зарабатывания денег. Толстой торговался с Некрасовым по поводу гонораров, угрожая уйти из «Современника», и, в конце концов, перешел в катковский «Русский вестник», где платили больше. Повесть «Казачья», написанная в самом начале шестидесятых годов, была опубликована Катковым. Впрочем, в то время стяжательство Толстого уживалось с расточительством. Деньгами, полученными за «Казачью», он вернул долг за проигрыш в китайский бильярд.

Став семейным человеком, Толстой превратился в добропорядочного помещика и писателя, который очень неплохо зарабатывал своими сочинениями. За публикацию «Войны и мира» он получил от Каткова очень приличный гонорар — 500 рублей за лист. (Достоевский за «Идиота» получил чуть больше 150 рублей за лист.) С этого гонорара Толстой легко подарил своим племянницам Варе и Лизе, дочерям Марии Николаевны, по десять тысяч рублей банковскими билетами.

В сельском хозяйстве Толстой был куда менее успешен. Зато преуспел в приобретении новых земель. После смерти брата Николая ему досталось богатое и красивое имение Никольское-Вяземское. Он сам покупал хутора вокруг Ясной Поляны. В Самарской губернии приобрел шесть тысяч десятин земли, причем окончательное оформление сделки совершилось в 1878 году, в самом начале духовного переворота. В результате собственности, доставшаяся от отцовского наследства после всех картонных проигрышей и продаж некоторых земель, Толстой увеличил в шесть раз...

В начале восьмидесятых годов его отношение к деньгам и собственности круто меняется. «То, что служило Толстому во благо, теперь обратилось для него во зло», — пишет биограф В. А. Жданов. Ему становится стыдно быть *паразитом* русского крестьянства.

Толстой приходит к мысли об отказе от собственности и начале принципиально новой жизни. В дневнике 1884 года он создает *новый семейный проект*.

В черновом варианте:

«Жить в Ясной. Самарский доход отдать на бедных и школы в Самаре по распоряжению и наблюдению самих плательщиков (то есть крестьян. — П. Б.). Никольский доход (передав землю мужикам) точно так же. Себе, т. е. нам с женой и малыми детьми, оставить пока доход Ясной Поляны, от 2 до 3-х тысяч. (Оставить на время, но с единственным желанием отдать и его весь другим, а самим удовлетворять самим себе, т. е. ограничить как можно свои потребности и больше давать, чем брать, к чему и направлять все силы и в чем видеть цель и радость жизни.) Взрослым троим (детям. — П. Б.) предоставить на волю: брать себе от бедных следующую часть Самарских или Никольских денег, или, живя там, содействовать тому, чтобы деньги эти шли на добро, или, живя с нами, помогать нам. Меньших воспитывать так, чтобы они привыкали меньше требовать

от жизни. Учить их тому, к чему у них охота, но не одним наукам, а наукам и работе. Прислуги держать только столько, сколько нужно, чтобы помочь нам переделать и научить нас и то на время, приучаясь обходиться без них. Жить всем вместе: мужчинам в одной, женщинам и девочкам в другой комнате. Комната, чтоб была библиотека для умственных занятий, и комната рабочая, общая. По баловству нашему и комната отдельная для слабых... Кроме кормления себя и детей и учения, работа, хозяйство, помощь хлебом, лечением, учением. По воскресениям обеды для нищих и бедных и чтение и беседы. Жизнь, пища, одежда всё самое простое... Всё лишнее: фортепьяно, мебель, экипажи — продать, раздать. Наукой и искусством заниматься только такими, которыми бы можно делиться со всеми. Обращение со всеми, от губернатора до нищего одинакое. Цель одна — счастье, свое и семьи — зная, что счастье это в том, чтобы довольствоваться малым и делать добро другим».

По сути, это был проект «семейной коммуны».

Но ни Софья Андреевна, ни дети не видели в этом проекте начало новой счастливой семейной жизни. Впрочем, дети восприняли его легкомысленно. Так, Татьяна писала в дневнике, что в принципе допускает отказ от собственности, но не думает, что это всерьез поменяет их характеры. «Все бы мы остались с теми же идеалами и стремлениями, только, пожалуй, в некоторых родилось бы озлобление за то, что их поставили в это положение».

Куда серьезнее отнеслась к этой идее жена Толстого. В начале восьмидесятых годов в семье было семеро детей, от студента Сергея до младенца Алеши. У всех были свои требования к жизни, очень разные, но уж точно не совпадающие с аскетическим идеалом отца. Да и сама Софья Андреевна никак не видела себя в роли хозяйки трудовой коммуны. За почти 20 лет совместной жизни, которую она начинала восемнадцатилетней девушкой, муж приучил ее совсем к другому. Больше того, он *требовал* от нее другого. Поворот на 180 градусов был невозможен даже психологически. И жена Толстого взбунтовалась!

Илья Львович Толстой пишет в воспоминаниях:

«Но что должна была переживать в это время моя мать! Она любила его всем своим существом. Она почти что создана им. Из мягкой и доброкачественной глины, какою была восемнадцатилетняя Сонечка Берс, отец вылепил себе жену такую, какой он хотел ее иметь, она отдалась ему вся и для него только жила — и вот она видит, что он жесто-

ко страдает и, страдая, он начинает от нее отходить дальше и дальше, ее интересы, которые раньше были их общими интересами, его уже не занимают, он начинает их критиковать, начинает тяготиться общей с ней жизнью. Наконец, начинает пугать ее разлукой и окончательным разрывом, а в это время у нее на руках огромная и сложная семья. Дети от грудных до семнадцатилетней Тани и восемнадцатилетнего Сережи. Что делать? Могла ли она тогда последовать за ним, раздать всё состояние, как он этого хотел, и обресть детей на нищету и голод?

Отцу было в то время пятьдесят лет, а ей только тридцать пять. Отец — раскаявшийся грешник, а ей и раскаиваться не в чем. Отец — с его громадной нравственной силой и умом, она — обыкновенная женщина; он — гений, стремящийся объять взглядом весь горизонт мировой мысли, она — рядовая женщина с консервативными инстинктами самки, свившей себе гнездо и охраняющей его.

Где та женщина, которая поступила бы иначе? Я таких не знаю ни в жизни, ни в истории, ни в литературе».

Между супругами возникает конфликт, который не разрешится до конца жизни Толстого. Из послушной жены Софья Андреевна превращается в противника своего мужа во всём, что касается денег и собственности. И дело не в ее личных амбициях. Как ни грубо это звучит, но она действительно становится «самкой», охраняющей свое гнездо. От «самца» — своего мужа.

Но проблема в том, что вся собственность записана на его имя. И все деньги были на его руках (впрочем, он выдавал их жене по первому требованию, не спрашивая, на что они будут израсходованы). Софья Андреевна же не владела ничем, кроме небольшого хутора Гринёвка, приобретенного супругом на ее имя. Между тем Толстой всерьез убеждает семью согласиться с его новыми взглядами и последовать за ним. В начале восьмидесятых он «давит» на семью. Он обижен непониманием со стороны домашних, отдаляется от них, замыкается в себе, а если начинает говорить, то это заканчивается скандалом. Счастливая до того семейная жизнь становится кошмаром.

Ситуация настолько тревожная, что Софья Андреевна готова прибегнуть к самым решительным мерам. Она угрожает мужу, что пойдет к царю, бросится ему в ноги и будет просить защитить ее и детей. Но что значит защитить? Самое простое — объявить Толстого умалишенным. Тем более

что такие слухи уже ходят в обществе и к ним прислушиваются даже писатели. Родня со стороны Берсов прозрачно намекает Софье Андреевне, что ее муж сошел с ума и что ей нужно что-то делать, чтобы не остаться нищей.

В 1885 году происходит встреча Софьи Андреевны с Победоносцевым, с которым сам Толстой не встречался ни разу в жизни. Она пошла к нему на прием, чтобы добиться права публикации трактата Толстого «В чем моя вера?». В «Моей жизни» она приводит свой разговор с Победоносцевым:

«— Я должен вам сказать, что мне очень вас жаль; я знал вас в детстве, очень любил и уважал вашего отца и считаю несчастьем быть женой такого человека.

— Вот это для меня ново, — отвечала я. — Не только я считаю себя счастливой, но мне все завидуют, что я жена такого талантливого и умного человека.

— Должен вам сказать, — говорил Победоносцев, — что я в супруге вашем и ума не признаю. Ум — есть гармония, в вашем же муже всюду крайности и углы.

— Может быть, — отвечала я. — Но Шопенгауэр сказал, что ум есть фонарь, который человек несет перед собой, а *гений* есть солнце, затмевающее всё».

Это был ответ, достойный жены гения! Ведь слова «я в супруге вашем и ума не признаю» означали не то, что Толстой глуп, но что он как бы «без ума», который «есть гармония» — спокойное, уравновешенное состояние духа. «Без ума» или «безумный» — это такие близкие вещи. Дрогнула она тогда, согласись с Победоносцевым хотя бы лицемерно, и слухи о том, что Толстой «сошел с ума» и что его жена это признаёт, быстро распространились бы при дворе, дошли бы до царя... И тогда Софье Андреевне было бы самое время упасть ему в ноги и молить о защите от мужа.

Она не только не дрогнула, но и, как видим, добивалась разрешения на публикацию мужниного трактата. Это говорит о том, что позиция ее была непростой.

В девяностые годы Толстой будет писать пьесу «И свет во тьме светит». Эта незаконченная пьеса, очень личная для Толстого, по автобиографичности сопоставима с повестью «Дьявол». В ней богатый человек Николай Иванович Сарынцев, начитавшийся Евангелия и решивший буквально следовать проповеди Христа, предлагает семье отказаться от собственности, раздать всё бедным и жить своим трудом. Страдающей стороной оказываются его жена Марья Ивановна, дети — Степа, Ваня, Люба, Мисси и Катя. В пьесе

много персонажей — помещики, чиновники, священники, жандармы, доктора. Но самые важные фигуры — это свояченица Сарынцева Александра Ивановна Коховцева и ее муж Петр Семенович. Прототипы всех героев узнаваемы: Толстой, его жена, их дети и сестра Софьи Андреевны Татьяна, вышедшая замуж за своего кузена Кузминского...

Особенно примечательна фигура Александры Ивановны. В отличие от своей сестры она ни секунды не сомневается, что Николай Иванович просто *дурит* (стал дураком) и Марья Ивановна должна переписать собственность на свое имя. Таким образом Толстой озвучит былую позицию Татьяны Кузминской.

Образ Марьи Ивановны значительно сложнее. Она готова разделить убеждения мужа. Она любит его безгранично. Но ее боль — это дети. Ее вовсе не интересует собственность как таковая. Собственность ей самой ненавистна. Она порождает раздор между ней и любимым человеком. Собственность для нее — это *крест*, который она должна взвалить на свои плечи ради детей. Таким образом, их конфликт заключается не столько в разнице нравственных убеждений, сколько в разном понимании *своего креста* и блага детей.

Сарынцев (Толстой) видит свой крест в служении Богу и всем людям, а Марья Ивановна (Софья Андреевна) — в служении своим детям. Сарынцев хотел бы сделать своих детей бедными, а Марья Ивановна желает им богатства и процветания.

Но при этом, в отличие от сестры, она вовсе не считает, что ее супруг сошел с ума и что его нужно объявить сумасшедшим, чтобы отобрать у него собственность. Это не конфликт алчности и идеализма, но столкновение двух серьезных и принципиальных жизненных позиций, в котором каждый, любя другого, пытается любовно настоять на своем, но безуспешно.

А в реальности было вот что.

В 1882 году, в самый разгар духовного переворота, Толстой неожиданно совершает последнее в своей жизни крупное приобретение. Он подписывает документы на покупку за 27 тысяч рублей дома 15 в Долгом Хамовническом переулке в Москве.

Переезд в Москву был вынужденным. Сергей поступал в Московский университет. Оставлять неопытного, выросшего в деревне юношу одного в большом городе, где так много соблазнов, было опасно. Илья и Лев поступали в

гимназию Поливанова. Это была, пожалуй, лучшая частная гимназия в Москве, которую в разное время окончили поэты Андрей Белый, Максимилиан Волошин, Вадим Шершеневич. Там же учился и великий шахматист Александр Алехин. Но Илья и Лев были еще подростками. Их жизнь без родителей в Москве была немыслима. И, наконец, Татьяна. В ней открылся талант художницы, который признавал Илья Репин. Она поступала в Училище живописи, ваяния и зодчества (позже там учился Владимир Маяковский). К тому же она была уже девушка на выданье, ее нужно было выводить в свет. Этого не могла делать Софья Андреевна, дочь врача. И Толстой, несмотря на свои новые взгляды, сам впервые везет Татьяну на столичный бал, где она знакомится с кругом «золотой» московской молодежи и имеет огромный успех. Она умна, миловидна, у нее яркий, живой характер. От женихов не было отбоя...

Толстой крайне болезненно переживал переезд в Москву. Отвыкший от старой столицы за два десятка лет деревенской жизни, он увидел ее как будто впервые — и ужаснулся состоянию городской цивилизации. Нищие, малолетние проститутки, а рядом — роскошные рестораны, где жируют «господа». Тайная ночная жизнь, а днем — дурные запахи, пыль и грязь, неизбежные в большом городе, в котором в то время не было даже элементарной канализации. Вот что в первую очередь он увидел в Москве, а вовсе не ее величественные храмы и монастыри. Это был, конечно, очень односторонний, критический взгляд, но Толстой в то время на всё смотрел *критически*.

«Вонь, камни, роскошь, нищета, — пишет он в дневнике о Москве. — Разврат. Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют. Народу больше нечего делать, как, пользуясь страстями этих людей, выманивать у них назад награбленное. Мужики на это ловчее. Бабы дома, мужики трут полы и тела в банях, возят извозчиками...»

Зачем же он сам покупал дом в Москве?

Летом 1881 года снять дом попыталась Софья Андреевна, которая уже не рассчитывала на мужа. Толстой лечился в самарских степях, а его жена, будучи на шестом месяце беременности, отправилась в Москву в поисках нового «гнезда». В результате она сняла дом в Денежном переулке.

«Дом на самом деле оказался вроде карточного, — вспоминал сын Сергей Львович. — Расположение комнат бы-

ло таково, что в каждой комнате шум и разговор из других комнат был слышен. Это мешало работе отца, мешало и мне; я почти не находил времени играть на фортепьяно, а когда было время, я боялся мешать отцу...» Толстой был вынужден за отдельные деньги арендовать рядом с домом флигель, где и был написан рассказ «Чем люди живы». По рассказу выходило, что «живы они одной любовью». Но как раз любви и понимания не было в семье Толстых. Софья Андреевна, желая угодить мужу, выбрала для его кабинета большую комнату, выходившую окнами во двор. «Но этот-то великолепный кабинет, — писала она в воспоминаниях, — впоследствии приводил в отчаяние Льва Николаевича, тем что был слишком просторен и слишком великолепен».

Но одной проблемой кабинета поступок Толстого не объяснить. Он покупает не просто дом, но целую небольшую усадьбу в тихом районе Москвы, с огромным фруктовым садом, и сразу начинает ее перестраивать и расширять для большой семьи. Он лично входит во все тонкости переделки и устройства отопления, сам покупает дорогую мебель и даже подбирает обои. Софья Андреевна с детьми в это время живет в Ясной, волнуется и немного сердится на мужа за то, что он отстранил ее от участия в обустройстве нового «гнезда». Толстой готовит дом тщательно, с большой любовью и заботой о семье. Когда в октябре 1882 года семья въехала в «Арнаутовку» (по имени бывшего хозяина усадьбы купца Арнаутова), все домашние пришли в восторг! «Мы приехали в Арнаутовку вечером, — пишет в дневнике Татьяна Львовна. — Подъезд был освещен, зал тоже. Обед был накрыт, на столе фрукты в вазе. Вообще первое впечатление было самое великолепное: везде светло, просторно и во всём видно, что папá всё обдумал и старался устроить как можно лучше, чего он вполне достиг... Я была очень тронута его заботами о нас; и это тем более мило, что это на него не похоже».

Но этот дом был последним подарком Толстого семье, своего рода «лебединой песнью» бывшего рачительного хозяина и приобретателя. Может, оттого он так вложил душу в этот дом, чтобы показать семье, что его «уход» от мирских проблем — это не признак слабости и неумения жить «как все». Что он не впал в слабоумие и не «дурит». Что его новые взгляды выстраданы, а не случайны. Что он пришел к ним разумным путем, а не в результате умственного и психического надлома.

Но в поступке Толстого было, конечно, и серьезное противоречие. Зачем устраивать для семьи богатый дом, тут же предлагая от него отказаться?

В 1883 году в результате череды семейных конфликтов муж и жена пришли к компромиссу, который на самом деле не устраивал ни одну из сторон. В присутствии тульского нотариуса Софье Андреевне была выдана генеральная доверенность на ведение всех имущественных дел, включая право продажи в целом или по частям любой собственности Толстого. Отныне супруга могла извлекать из нее доход, тратить его по своему усмотрению и подписывать любые договоры.

Толстой *де-факто* (еще не *де-юре*) отказывался от собственности. Он отрясал это «зло», как прах, от ног своих. Но «зло» ложилось на плечи его жены.

Это был горький компромисс, заложивший мину замедленного действия. Подписывая доверенность, Толстой, видимо, поступал по исповедуемому им принципу *ненасилия*. Он позволял жене и детям самим решать, как им жить: пойти ли за ним или остаться «господами». Но при этом он оставался жить в семье и волей-неволей разделял с ними обиход. Он же только готовился к новой жизни: сам пилил дрова, учился шить сапоги, пахал и косил вместе с крестьянами. Но потом возвращался в дом (московский и деревенский), где ничего не менялось.

Летом 1884 года он сделал первую попытку уйти из дома. Это был своего рода «черновик» будущего знаменитого *ухода*. И он получился нелепым.

Восемнадцатого июня в Ясной Поляне Толстой пошел косить траву вокруг дома, потом — купаться на пруд. Вернулся бодрый и веселый. Вдруг между ним и женой вспыхнул спор из-за самарских лошадей, которых он начал было разводить, но бросил это дело. Софья Андреевна кричала, что от этих лошадей одни убытки, что их поморили и что он сам хочет таким образом от них избавиться. Толстой пошел в кабинет, собрал котомку, с которой когда-то пешком ходил в Оптину пустынь, вышел из дома и пошел по березовой аллее к Белым столбам, въезду в Ясную Поляну. Софья Андреевна догнала его и спросила, куда он идет. «Не знаю, куда-нибудь, может быть, в Америку, и навсегда. Я не могу больше жить дома!» — крикнул он со слезами. Жена напомнила, что она беременна и вот-вот должна родить. Толстой не слушал и прибавлял шагу.

С половины шоссе на Тулу он повернул назад. Дома

Сергей и Илья играли в карты. «Дома играют в винт бородатые мужики — молодые мои два сына», — пишет он о них в дневнике, как о чужих людях. В третьем часу ночи Софья Андреевна разбудила его: «Прости меня, я рожаю, может быть, умру». Этой ночью родилась их последняя дочь Александра. Толстой остался в семье. Но радости от этого никто не испытывал.

Татьяна Львовна оказалась права, когда писала в дневнике, что отказ от собственности не изменит характеры членов семьи, а породит в них озлобление.

Первым озлобился Илья. Он рано женился на Сонечке Философовой, дочери вице-президента Академии художеств, по мнению Толстого, девушке «славной, простой, здоровой, чистой». Но, увы, небогатой. По сути, бесприданнице. Это было в характере сыновей Толстого — не искать себе богатых невест и жениться только по любви. Так же когда-то поступил их отец.

Молодожены поселились в Гринёвке, принадлежавшей Софье Андреевне. Первое время они были абсолютно счастливы. Илье было по душе сельское хозяйство. Он был мастеровит, любил плотничать и столярничать. Но скоро его настроение изменилось.

Он начинает чувствовать себя «управляющим» в имении матери. И это ему не нравится. Исподволь, а затем и откровенно он заводит разговоры о разделе собственности отца. В семье Толстых происходит то же, что было в крестьянских семьях: женившись, сыновья хотели жить самостоятельно, а не под началом отца, и требовали раздела семейной собственности. В первую очередь — земли...

Только «отцом» оказалась Софья Андреевна.

Между ней и Ильей начали вспыхивать ссоры. На хуторе матери Илья держал лошадей, из молока которых делали кумыс для отца. Вот запись в дневнике Софьи Андреевны во время приезда Ильи:

«Илья вдруг говорит: “А я вам кобыл для кумыса не дам”. Я вспыхнула и говорю: “Я тебя и не спрошу, а прикажу управляющему”. Он тоже вспыхнул и говорит: “Управляющий — я”. — “А хозяйка — я”. Была ли я уставши или уж очень он меня намучил разговором о деньгах и именье, только я страшно рассердилась, говорю: “До чего дошел, отцу на кумыс кобыл пожалел, зачем ты ездешь, убирайся к черту, ты меня измучил!”».

Из всех сыновей больше всех Толстой любил Илью. И внешне, и характером Илья был похож на отца — такой

же упрямый и неуправляемый. Толстой почему-то жалел Илью. Он был заранее уверен, что тот будет несчастлив. (Так и случилось.) И Толстой решился *на раздел*.

Это был беспрецедентный поступок. Не просто раздел, но окончательный и бесповоротный отказ Толстого от всей собственности, «как если бы я умер».

«В июле* 1891 года, — вспоминал Сергей Львович, — все мы — братья и сестры — съехались в Ясной Поляне для обсуждения предполагаемого отцом раздела его имений между нами. Отец оценил все свои имения вместе с купленными матерью двумя небольшими имениями Овсянниковым и Гринёвкой приблизительно в 500 000 рублей и решил распределить все эти имения поровну на девять человек — нашу мать и восемь его детей. Каждую часть он оценил в 55 000 рублей. После совместного обсуждения этого дела было установлено, согласно предложению отца, следующее распределение долей каждого: Ясная Поляна была разделена на две части — одна часть передавалась матери, другая — малолетнему Ивану, бывшему под ее опекой; Никольское-Вяземское вместе с Гринёвкой разделялось на три части: я получал часть с усадьбой с условием заплатить 28 000 сестре Тане, Маша получала среднюю часть Никольского, Илья — Протасовский хутор вместе с купленной матерью Гринёвкой, где он поселился; Татьяна — 28 000 от меня и купленное матерью Овсянниково, Лев — московский дом и участок в самарском имении, трое младших, кроме Ивана, опекаемые матерью, получили остальное самарское имение. Маша, разделявшая убеждения отца, отказалась от своей части, и ее часть была передана матери.

Тогда я предложил матери, на что она согласилась, передать мне Машину часть Никольского-Вяземского с обязательством уплатить ее стоимость, то есть 55 000 рублей. Таким образом я взял на себя обязательство уплатить сестрам $28\,000 + 55\,000 = 83\,000$, что составляло около ста рублей с десятины имения».

За этими сухими цифрами крылась настоящая драма. Члены семьи Толстого делили его имущество, как наследство, будто он умер. Но Толстой не умер. И находился в том же доме, где жена и дети делили между собой его *наследство*...

Строго говоря, Толстой исполнил долг перед женой и детьми. Ведь он передавал им «в наследство» гораздо больше,

* На самом деле это было в конце апреля.

чем когда-то получил от отца. И вот странное совпадение. «Наследство» составило полмиллиона рублей. Ровно столько же составляли долги его деда Ильи Андреевича, которые тот оставил в «наследство» его отцу — Николаю Ильичу.

Но это было тяжело. Для всех. Когда Татьяна и два старших брата зашли в кабинет отца, чтобы известить его о разделе собственности, Толстой выглядел чрезвычайно жалко. Он стал им быстро говорить: «Да, я знаю, надо, чтобы я подписал, что я ото всего отказываюсь в вашу пользу». «Это было так жалко, — пишет в дневнике Татьяна, — потому что это было как осужденный, который спешит всунуть голову в петлю, которой, он знает, ему не миновать».

Ценой освобождения Толстого от собственности было окончательное отдаление от семьи. Этот раскол уже нельзя было склеить. Семья Толстого не пошла по его пути. Его жена и дети стали *господами*, он — *нищим*. Приживальщиком в семье...

Отказ от литературных прав

В конце жизни Толстого зарубежные издатели предлагали за исключительные права на все его сочинения десять миллионов золотых рублей. Зарубежные — потому что отечественные издатели, по-видимому, не смогли предложить такой суммы.

Золотой рубль — денежная единица, введенная в России в результате реформы 1897 года, приравнивавшаяся к 0,77 грамма золота. После несложных подсчетов можно сказать, что издатели готовы были заплатить Толстому почти восемь тонн золота. Мировая цена на все его произведения в 1910 году составляла приблизительно десять миллиардов современных рублей или примерно 150 миллионов современных долларов.

Это много или мало? Сегодня некоторые авторы американских детективов за одну книгу получают гонорары от 50 миллионов долларов. Нравы и запросы в дореволюционной России существенно отличались от нынешних. Впрочем, разброс заработной платы и в то время был значительный. Например, кухарка получала примерно восемь рублей в месяц, дворник — 18, учитель начальной школы — 25, околоточный надзиратель (современный участковый) — 50, полковник — свыше 300, а тайный советник и армейский генерал — уже свыше 500 рублей.

Бессмысленно сравнивать и цены в дореволюционной и современной России. Это был другой мир. В царской России фунт (0,4 килограмма) хлеба стоил 5—7 копеек, литр молока — 4—6 копеек, десяток яиц — 10—25 копеек, поросенок — от 50 копеек до 3 рублей, живой баран — до 3 рублей, фунт черной икры — от 1 рубля 50 копеек до 2 рублей 50 копеек, а фунт живой осетрины — от 1 до 2 рублей.

Но в данном случае дело не в этом, а в том, что цена, предложенная зарубежными издателями за исключительные права на сочинения Толстого, была выше стоимости всей недвижимой собственности, разделенной между его женой и детьми, в 20 раз!

Эти цифры необходимо знать, чтобы понять, почему отказ Толстого от прав на свои сочинения оказался для семьи, и прежде всего для Софьи Андреевны, гораздо болезненнее, чем его попытка отказаться от собственности.

С 1883 года, получив от мужа доверенность на ведение всех его дел, Софья Андреевна занимается не только хозяйственными делами в Ясной Поляне и усадьбе в Хамовниках. Она фактически становится издательницей своего мужа. Она сама передает его произведения в типографии, сама вычитывает корректуры, сама назначает цены на книги. Книги складываются в специально отведенном помещении в Хамовниках и продаются мелким оптом книгопродавцам. Это делает либо опять же Софья Андреевна, либо в ее отсутствие заведующий складом Матвей Румянцев. К 1891 году, когда Толстой сразу же после отречения от собственности ставит вопрос и об отказе от литературных прав, собрание его сочинений, издаваемое Софьей Андреевной, достигает уже двенадцати томов. К изданию готовится тринадцатый том. И вот тогда грянул гром.

Одиннадцатого июля 1891 года из Ясной Поляны Толстой посылает жене письмо, в котором уговаривает ее *самой* напечатать в газетах объявление о его отказе от литературных прав. Но что это означало? Это означало, что отныне любой издатель мог перепечатывать любое сочинение Толстого безвозмездно, не спрашивая согласия автора или его агента, которым также была Софья Андреевна, ведь формально она владела не правами на сочинения мужа, а лишь доверенностью на право издания и получение гонораров. Агент и издатель в одном лице.

«Я всё это время думал составить и напечатать объявление об отказе в праве собственности от моих послед-

них писаний, да всё не думалось об этом; теперь же думаю, что может быть это будет даже хорошо в отношении упрека тебе со стороны публики в эксплуатации, как пишет артельщик, если ты напечатаешь от себя в газетах такое объявление: можно в форме письма к редактору: М[илостивый] Г[осударь], прошу напечатать в уважаемой газете Вашей следующее. Мой муж, Лев Николаевич Толстой, отказывается от авторского права на последние сочинения свои, предоставляя желающим безвозмездно печатать и издавать их».

В это время шли переговоры между артельщиком Румянцевым и женой писателя, какую цену назначить на тринадцатый том. Румянцев предупреждал хозяйку, что если она *снизит* цену на допечатанный для розничной продажи том, который вызывал повышенный интерес, потому что в него вошли последние произведения Толстого, включая скандальную «Крейцерову сонату», то покупатели, получившие том по подписке, будут недовольны и могут переколотить на складе стекла, как было у Суворина, когда тот издал «дешевого» Пушкина.

Говоря об «эксплуатации», Толстой выворачивал проблему наизнанку. Или, лучше сказать, поворачивал ее на 180 градусов. Жена и артельщик спорили о снижении или повышении цены для того, чтобы добиться максимальной выгоды, а Толстой предлагал вовсе отказаться от любой выгоды. Трудно понять, что руководило Толстым, когда он писал это письмо...

Толстой, скорее всего, не знал (или не хотел думать об этом), что его семья (и он тоже) живет не за счет доходов от Ясной Поляны. Ясная была *убыточным* имением. Согласно «Приходно-расходной книге», которую скрупулезно вела Софья Андреевна, она ежегодно вкладывала в Ясную Поляну до двух тысяч рублей и даже больше. Доходы, позволявшие покрывать расходы, в том числе и на имение, получались только от продажи книг.

Доходным самарским имением владел сын Лев Львович, Никольское-Вяземское досталось Сергею Львовичу, Пирогово изначально принадлежало брату Толстого Сергею Николаевичу и сестре Марии. Даже дом в Хамовниках, ставший «резиденцией» Толстого в Москве, юридически был в собственности Льва Львовича, расходы же на него несли Софья Андреевна.

В октябре 1884 года она послала мужу в Ясную список «Ежемесячный неизбежный расход»:

«В рублях	
Англичанка	30
Madame	50
Страховка	267
Кашевская	40
В Думу	200
Гимназия и университет	47
Казенные	80
Русск. учительницы Маши	36
Воспитание	203
Жалованье:	
Жалов. людей	98
Повару	15
Прачке	40
Лакею	15
Дрова	60
Кучеру	16
Серёже	40
Няне	8
Мясо и еда людям и нам	150
Дворнику	8
Сухая провизия, освещение, угли, табак и пр.	150
Дуняше	8
Кухарке	4
Булочнику	25
Варе	5
Полотёрам	5
Татьяне	6
Лошади, корова	75
Власу	8
Ночной сторож	2
Кормилице	5
Жалов[анье] Илье, Тане, Лёле и Маше	12
Повинностей по дому	50
Итого вынь да положи в месяц 910».	

В этом списке обращает на себя внимание графа о «жалованье» Илье, Тане, Лёле (Льву) и Маше. Софья Андреевна не баловала детей. Они выполняли свои обязанности по дому и получали за это «жалованье», которое было меньше зарплаты лакея.

Ответ Толстого на письмо был такой:

«Не могу я, душенька, не сердись, — приписывать этим денежным расчетам какую бы то ни было важность. Всё это не событие — как, например: болезнь, брак, рождение,

смерть, знание приобретенное, дурной или хороший поступок, дурные или хорошие привычки людей нам дорогих и близких; а это наше устройство, которое мы устроили так и можем переустроить иначе и на 100 разных манер».

На самом деле мнение Толстого о «переустройстве» жизни семьи было только одно и достаточно радикальное. Именно в 1884 году он пишет проект семейной *трудовой коммуны*.

И вот спустя шесть лет после раздела собственности, когда его жена с двумя младшими детьми, Сашей и Ванечкой, осталась собственницей одной Ясной Поляны, он предлагает ей самой написать в газеты письмо о его отказе от литературных прав.

Реакцию на это Софьи Андреевны нетрудно предположить. Как и в начале восьмидесятых годов, она *взбунтовалась*.

И это — несмотря на то, что Толстой опять соглашался на компромисс. Он предлагал жене отказаться от прав только на те сочинения, которые были или будут написаны после 1881 года. Всё, что было написано до 1881 года включительно, она имела право издавать и получать с этого материальную выгоду.

Но почему 1881-й? В этом году Толстой написал рассказ «Чем люди живы», переломный для его творчества. После этого он пять лет не писал ничего художественного. В 1885—1886 годах начинают публиковаться его народные рассказы: «Вражье лепко, а Божье крепко», «Где любовь, там и Бог», «Два брата и золото», «Ильяс», «Свечка», «Упустишь огонь — не потушишь», «Петр Хлебник» и др. Это религиозные, нравоучительные тексты, написанные в новой для Толстого эстетике, заданной рассказом «Чем люди живы». Но уже в эти годы он возвращается к «чистой» литературе.

Из-под его пера выходят такие шедевры, как повести «Холстомер» и «Смерть Ивана Ильича», пьеса «Власть тьмы», перевернувшая представления о театральной эстетике. В 1889—1890 годах он пишет повести «Дьявол» и «Крейцера соната». Первая была опубликована лишь после его смерти, но вторая вышла в 1891 году и вызвала бешеный, скандальный интерес у публики. В девяностые годы у русской интеллигенции было два главных вопроса, по которым она бесконечно спорила. Кто прав — марксисты или народники? И — что же хотел сказать Толстой своей «Крейцеровой сонатой»?

Это новый Толстой — радикальный художник. Он уже не пишет больших эпических полотен, ему это... скучно. Он создает или минималистские народные рассказы, или крайне концентрированные, с точки зрения философского содержания, повести, где только цель оправдывает средства, а целью является сказать людям что-то новое, чего они не знают и о чем не догадываются. «Изыщная словесность» его более не интересует. Смысл и смысл!

И вот этого «нового Толстого» он вырывает из рук жены-издательницы, оставляя ей только «старого». В ее распоряжении остается не так мало. Больше того, это наиболее «классические» произведения: «Детство», «Отрочество», «Юность», «Севастопольские рассказы», «Казачи», «Война и мир», «Анна Каренина»... Но это уже прочитано публикой. Ее интересует «новый Толстой». Несмотря на запрет его религиозных сочинений в России, слава его растет с каждым годом. К началу девяностых годов не выходит практически ни одного номера ни одной газеты, где не упоминалось бы его имя в том или ином контексте. Всё запретное сладко, правда на стороне гонимого властью — таково было убеждение русской интеллигенции и в XIX, и в XX веке. И Толстой становится ее главным кумиром.

Как жена Софья Андреевна не одобряет взгляды и позицию мужа. Но как издательница она крайне заинтересована в его новых произведениях. Да, ей не нравится «Крейцеров соната». Пожалуй, она даже ненавидит эту страшную повесть, где муж убивает жену из ревности, а затем оправдывается за убийство тем, что не бывает христианских браков, что в основе создания почти каждой семьи лежат похоть и стремление к сексуальной эксплуатации женщин, которые сначала потворствуют этому, а затем начинают сопротивляться. Софья Андреевна в этой повести видит отблеск их собственной семейной жизни. «Какая невидимая нить связывает старые дневники Лёвочки с его “Крейцеровой сонатой”, — пишет она в дневнике. — А я в этой паутине жужжащая муха, случайно попавшая, из которой паук сосал кровь». «Старые», то есть ранние дневники. Те самые, которыми он когда-то шокировал юную Сонечку.

Но это не мешает ей после того, как Победоносцев запретил повесть к публикации, отправиться в Петербург и добиться личной аудиенции у Александра III, чтобы убедить его разрешить напечатать «Крейцерову сонату» в выпускаемом ею тринадцатом томе собрания сочинений мужа. И она гордится успехом этой встречи, посвящая ей в

дневнике отдельный рассказ «Моя поездка в Петербург». Толстого возмущают финансовые манипуляции жены не только с его старыми произведениями, но и с новыми. И он по-своему прав. Если жена против его взглядов, как она смеет на них *наживаться*?

Но и она по-своему права. Почему на сочинениях ее мужа, который живет с ней, могут наживаться издатели-капиталисты, а семья не имеет на это права? Ведь, запрещая ей получать выгоду от публикации новых произведений, Толстой не мог запретить издателям продавать их по самой высокой цене.

Это был гордиев узел. Его нельзя было развязать — только разрубить. 21 июня 1891 года Толстой твердо заявляет жене, что сам напишет послание в газеты с отказом от литературных прав на сочинения, написанные после 1881 года.

«Мы наговорили друг другу много неприятного, — пишет она. — Я упрекала его в жажде к славе, в тщеславии, он кричал, что мне нужны рубли и что более глупой и жадной женщины он не встречал». В конце концов, он закричал: «Уйди, уйди!» Она ушла. С решением броситься под поезд. Как Каренина.

К счастью, по дороге на станцию Козлова Засека Софью Андреевну встретил муж ее сестры Кузминский. Она просила оставить ее одну, обещала, что скоро вернется домой. Но, заметив ее безумное состояние, он заставил ее возвратиться вместе с ним.

И вновь Толстой идет на компромисс... Он соглашается помедлить с письмом в газеты до распродажи Софьей Андреевной этого «несчастливого» тринадцатого тома с «Крейцеровой сонатой». Так самое не любимое ею произведение мужа становится последним, которое он ей «дарит» для ее материальной выгоды.

Да и то лишь на время. 19 сентября 1891 года в газете «Русские ведомости» появляется его письмо, затем перепечатанное всеми российскими газетами: «Предоставляю всем желающим право безвозмездно издавать в России и за границей, по-русски и в переводах, а равно ставить на сценах все те из моих сочинений, которые были написаны мною с 1881 года и напечатаны в XII томе моих полных сочинений издания 1886 года и в XIII томе, изданном в нынешнем 1891 году, равно и все мои неизданные в России и могущие вновь появиться после нынешнего дня сочинения».

Он выполнил свое обещание — задержал публикацию

письма на два месяца. Но отныне «Крейцера соната» и всё, что было написано им после 1881 года, и всё, что будет написано в будущем, отнималось у жены и передавалось всем...

Чертков

«Freedom is not free», — говорят американцы. Буквальный перевод: «Свобода не бывает свободной». Правильный перевод: «Свобода не дается даром».

Отречение Толстого от собственности и его отказ от литературных прав на все произведения, написанные после духовного переворота, возможно, и освобождали его от «зла» собственности и денег, но в то же время порождали тяжелые семейные проблемы.

Толстой ведь не ушел из дома. Он продолжал жить с женой, которая не разделяла его новых убеждений. И волей-неволей пользовался и своей бывшей собственностью (Ясная Поляна, дом в Хамовниках), и деньгами, которые получала жена от его сочинений.

К тому же дом Толстых всегда был гостеприимным или, как говорили в народе, хлебосольным. Здесь любили гостей и были рады их принять, хорошо попотчевать и даже оставить жить на неопределенное время.

Редкие обед или ужин в Ясной Поляне и Хамовниках проходили без участия гостей.

Кто только не побывал в московском доме Толстых в Хамовниках! Художники Репин и Ге, скульптор Трубецкой, литераторы Фет, Чехов, Горький, философы Страхов и Соловьев, композиторы Рубинштейн, Римский-Корсаков, Рахманинов, Скрябин. И это не считая постоянных визитов родственников, друзей семьи, товарищей и подруг сыновей и дочерей.

Автор книги «Дом в Хамовниках» А. И. Опульский пишет:

«Завтракали Толстые около часа дня, обедали в шесть, к вечернему чаю собирались к девяти. Стол сервирован к обеду на 12 персон. Вокруг стола и около стен — венские стулья. Хозяйка дома Софья Андреевна сидела во главе стола, спиной к окну. Напротив нее — старший сын Сергей Львович, слева от нее — младший сын Ванечка, направо — младшая дочь Саша. Лев Николаевич обычно садился возле Ванечки, рядом с ним — дочери Татьяна и Мария, а на-

против — сыновья Илья, Лев, Михаил и Алексей. Впрочем, своей семьей садились за стол редко: всегда бывали гости.

Во время обеда перед Софьей Андреевной ставилась миска с мясным супом, а с левой стороны стопка глубоких тарелок. Она стоя разливала суп в тарелки, а лакей разносил и ставил их перед сидевшими за столом на мелкие тарелки.

Вина к семейному столу не подавали, но всегда стоял графин с водой и стеклянный кувшин с домашним квасом».

А вот что вспоминала издательница журнала «Северный вестник» Любовь Гуревич: «Я так ясно вижу его (Толстого. — *П. Б.*), когда он сидит за длинным обеденным столом, жует хлеб уже беззубым ртом, рассказывает что-нибудь и смеется... Когда все бывали в сборе, за обедом бывало весело и шумно. Шутили, дразнили друг друга, играли в почту. Подростки хохотали во всё горло, до крика... Иногда тут же начинался какой-нибудь серьезный спор».

Но это был всё-таки «фасад» жизни семьи либо, продолжая архитектурные сравнения, ее «гостиная» или «столовая». А что происходило за «фасадом» и в других «комнатах»?

В начале восьмидесятых после переезда в Москву Толстой чувствует себя страшно одиноким в семье. Никто не разделяет его убеждений. Дочери Таня и Маша, которые вскоре станут его соратницами (особенно Маша), еще слишком юные, чтобы понять его. Маша — белокурый, болезненный подросток, а Таня — привлекательная девушка, которая увлечена балами и нарядами, в чем ее при таком юном возрасте трудно упрекнуть. Вот она пишет в дневнике: «Недавно папá вечером спорил с мамá и тетей Таней (Кузминской. — *П. Б.*) и очень хорошо говорил о том, как он находит хорошим жить, как богатство мешает быть хорошим — уж мамá нас гнала спать, и мы с Маней и тетей Таней уж уходили, но он поймал нас, и мы простояли и говорили почти целый час. Он говорит, что главная часть нашей жизни проходит в том, чтобы стараться быть похожей на Фифи Долгорукую (великосветскую барышню. — *П. Б.*), и что мы жертвуем самыми хорошими чувствами для какого-нибудь платья. Я ему сказала, что я со всем этим согласна и что я умом всё это понимаю, но что душа моя остается совсем равнодушной ко всему хорошему, а вместе с тем так и запрыгает, когда мне обещают новое платье и шляпку».

Старший сын Сергей — прилежный студент физико-математического факультета Московского университета, страстно увлеченный музыкой и в то же время отдающий неизбежную дань студенческим революционным настроениям. В это время он убежденный дарвинист, и вера отца в Бога представляется ему чем-то ретроградным, а его отношение к наукам просто обижает молодого человека.

«Ученые не различают полезного знания от ненужного, — говорит отец, — они изучают такие ненужные предметы, как половые органы амебы, потому что за это они могут жить по-барски». И это он говорит сыну, который как раз мечтает стать ученым.

Второй по старшинству сын — Илья — тоже не понимает отца, да и не пытается понять. Илья — плохой гимназист, зато страстный охотник. И гимназистки привлекают его куда больше тяжелых разговоров отца о бедственном положении русских крестьян.

«Щекинский мужик. Чахотка. Чох с кровью, пот. Уже 20 лет кровь бросает». «Егора безрукого сноха. Приходила на лошадь просить». «Пьяный мужик затесывал вязок, разрубил нос». «Мальчик Колпенской 12 лет. Старший, меньшим 9 и 6. Отец и мать умерли». «Солдат из Щекина в лихорадке». «Погорелый Иван Колчанов». «Баба из Судакова. Погорели. Выскочила, как была. Сын в огонь лезет. Мне всё одно пропадать. Лошади нет. Лошадь взяли судейские». «Щекинская больная с девочкой 3 дня шла до меня». «Подыванковской брат больной сестры. У сестры нос преет».

Это записи Толстого в дневнике начала восьмидесятых годов, который он назвал «Записки христианина». И это совершенно другой взгляд на мир, в чем-то сродни взгляду Некрасова и Достоевского. Вокруг себя он видит одни страдания.

В доме же — веселье!

«У нас обед огромный с шампанским. Тани (дочь и свояченица. — П. Б.) наряжены. Пояса 5 рублевые на всех детях. Обедают, а уже телега едет на пикник промежду мужицких телег, везущих измученный работой народ».

Это Ясная Поляна. В Москве — еще хуже. Жизнь семьи в старой столице, с поездками на балы, походами в театры, с молодежными вечеринками, шумными застольями, «треском» и весельем он в дневнике называет «оргией», а свое состояние описывает так: «Лучше умереть, чем так жить». Мысль о смерти — рефрен дневника: «Хочется умереть»; «Хорошо умереть»...

«Тоска, смерть».

И конечно, Толстого ужасно обижает то, что его идеи в собственной семье воспринимаются как старческий ма-разм, каприз, как *временное* помрачение ума.

«Лёвочка всё работает, как он выражается, — пишет Со-фья Андреевна сестре, — но, увы, он пишет какие-то рели-гиозные рассуждения, чтобы показать, как Церковь несо-образна с учением Евангелия. Едва ли в России найдется десяток людей, которые этим будут интересоваться. Но де-лать нечего, я одно желаю, чтобы уж он поскорее это кон-чил и чтоб прошло это, как болезнь».

«*Они не люди*», — восклицает Толстой в дневнике о са-мых близких — о супруге и собственных детях.

Это уже семейная катастрофа!

Потом многое переменится, решится само собой или в результате компромисса между Толстым и женой, и жизнь потечет в новом русле. Старшие дочери станут по-мощницами отца, а младшая, Саша, и просто его ярост-ной сторонницей. Сыновья смирятся с тем, что отец не со-гласен с их образом жизни. Софья Андреевна поймет, что мысли ее мужа интересуют не десяток, но сотни тысяч лю-дей во всём мире. Но в начале восьмидесятых Толстой *оди-нок*...

И в это время появляется Чертков.

Трудно гадать, что было бы, пояись Чертков несколь-кими годами позже, когда идеи Толстого стали широко распространяться в российском обществе, а затем и во всём мире. Правильнее поставить вопрос иначе. Получили бы эти идеи такое распространение, если бы не появился Черт-ков?

Ясно одно — он появился *вовремя*.

Об истории многолетней дружбы Толстого и Чертко-ва рассказывается в обстоятельной книге М. В. Муратова «Л. Н. Толстой и В. Г. Чертков в их переписке». Она была издана в 1934 году Толстовским музеем и с тех пор не пере-издавалась в России. Муратов описывает Черткова как лич-ность сложную, противоречивую, но всё-таки сыгравшую положительную роль в жизни Толстого.

Совершенно иной взгляд на Черткова представлен в современной книге священника и богослова Георгия Ореханова «Жестокий суд России: В. Г. Чертков в жизни Л. Н. Толстого». Здесь Чертков показан как исключительно неприятный персонаж, отрицательно повлиявший на Тол-стого и использовавший его.

О Владимире Григорьевиче Черткове вообще мало написано, а то, что написано, как правило, необъективно. Слишком большое значение имел этот человек в судьбе Толстого и в жизни всей его семьи, чтобы описать его личность беспристрастно. Но обозначим как минимум два пункта, очевидных для всех участников спора.

Нельзя, несправедливо не оценить его вклад в сохранение и систематизацию наследия Толстого. Главное «детище» Черткова — девяностотомное собрание сочинений, писем и дневников писателя — остается непревзойденным и по сей день. Его роль в последних тридцати годах жизни Толстого столь велика, что невозможно представить себе позднего Толстого без Черткова, как невозможно представить его без Софьи Андреевны. И в то же время необходимо признать, что в семейной жизни Толстого Чертков сыграл мрачную роль.

Собственно, в этом и заключается главное противоречие этой фигуры. Безраздельно преданный Толстому человек отравил жизнь его семье и, как следствие, самому Толстому.

Известно 931 послание Толстого Черткову, включая телеграммы. Для издания их с комментариями потребовалось пять томов — свыше 175 печатных листов. Чертков писал Толстому еще чаще, и в большинстве это были многостраничные письма.

Первое появление Черткова, казалось, не предвещало семье никакой опасности.

«Блестящий конногвардеец, в каске с двуглавым орлом, красавец собой, сын богатейшей и знатной семьи, Владимир Григорьевич приехал к Толстому сказать ему, что он разделяет вполне его взгляды и навсегда хочет посвятить им свою жизнь, — вспоминал сын Толстого Лев. — В начале своего знакомства с нашей семьей Чертков был обворожителен. Он был всеми любим. Я был с ним близок и на “ты”».

На самом деле, впервые отправляясь к Толстому, Чертков мало знал о его взглядах, еще не читал его философских произведений — только художественные. Первая их встреча произошла в Хамовниках.

В присутствии защитника Севастополя Чертков стал говорить о своем отрицательном отношении к военной службе. Толстой «в ответ стал мне читать из лежавшей на его столе рукописи “В чем моя вера?”», вспоминал Чертков. Он признавался, что «почувствовал такую радость от

сознания того, что период моего духовного одиночества наконец прекратился, что, погруженный в мои собственные размышления, я не мог следить за дальнейшими отрывками, которые он мне читал, и очнулся только тогда, когда, дочитав последние строки своей книги, он особенно отчетливо произнес слова подписи: «Лев Толстой»».

Чертков был гораздо моложе Толстого, но имел похожий жизненный опыт. Он тоже был помещиком и офицером. Он стоял выше Толстого на социальной лестнице. Он родился не только в знатной, но и в богатой семье. Мать, Елизавета Ивановна Черткова, урожденная Чернышёва-Кругликова, имела влияние в аристократических кругах. Ее дядя, граф Захар Чернышев, декабрист, был сослан в Сибирь. Ее тетка Александра (Александрина) была замужем за другим декабристом, Никитой Муравьевым, и последовала за мужем в ссылку. На первом придворном балу Елизаветы Чертковой Николай I задал юной красавице испытующий вопрос о ее дяде. Она смело ответила, что сохраняет к нему самое сердечное отношение. С тех пор ее уважали при дворе. Но когда ей предложили сделаться статс-дамой, она отказалась. Она была истой христианкой, последовательницей модного английского проповедника лорда Редстока. Мужа ее сестры Александры, полковника гвардии Пашкова, она познакомила с Редстоком и, таким образом, содействовала возникновению в России секты *пашковцев**.

Елизавета Ивановна обожала сына. Другие сыновья, Гриша и Михаил, рано умерли, и Володя стал единственным кумиром родителей. Отец, Григорий Иванович Чертков, служил флигель-адъютантом при Николае I и генерал-адъютантом при Александре II. Он командовал полком, а потом дивизией и был автором широко распространявшейся в войсках «Солдатской памятки». После гангрены и ампутации обеих ног последние десять лет жизни Г. И. Чертков возглавлял Комитет по устройству и образованию войск. Его родная сестра Елена была замужем за графом Петром Андреевичем Шуваловым, знаменитым консервативным идеологом и деятелем эпохи Александра II, а брат

* Пашковцы — члены религиозной секты, возникшей под влиянием лорда Гренвилла Редстока, в 1874 году прибывшего в Санкт-Петербург и с большим успехом проповедовавшего в великосветском обществе. В числе приверженцев Редстока был отставной гвардейский полковник Василий Александрович Пашков, по имени которого секта и получила свое название.

Михаил служил наказным атаманом Войска Донского, а затем киевским и варшавским генерал-губернатором.

Детство младшего Черткова было счастливым. Он был обожаем не только родителями, но и няньками и гувернерами. Юношей он был очень красив — стройный, на голову выше других, с большими серыми глазами. Он был остроумен, имел мягкий, но звучный голос и заразительный смех. Он был правдив и порой даже слишком прямолинеен. Его кошелек всегда был к услугам товарищей. Став гвардейским офицером, он кутил, играл в карты и рулетку, заводил содержанок...

Но в обязанности гвардейских офицеров входило дежурство в солдатских госпиталях. В 1877 году (тогда же, когда начался духовный переворот Толстого) Чертков вдруг испытал потрясение при виде умирающего солдата, с которым они вслух читали Евангелие. С этого момента он не мог жить, как раньше. С ним произошло то же самое, что и с Толстым, только в молодом возрасте.

В этом было преимущество Черткова перед Толстым, которому тот по-хорошему завидовал. Духовный переворот случился с Чертковым, когда ему было 23 года. Он был молод, бодр душой, энергичен. Толстому же в начале переворота исполнилось 50 лет, и он не мог быть уверенным, что проживет до глубокой старости. Он был готов умереть в любой день и даже в начале восьмидесятых годов хотел умереть. Появление Черткова было для него как *знамение*. Он решил, что его мысли и *дело* не умрут вместе с ним.

Но в этом же была и слабость Черткова перед Толстым. Толстой пришел к своим идеям в итоге долгого и трудного жизненного опыта. Он испытал сиротство, занятия университетской наукой, военную службу на Кавказе и в Крыму, писательские радости и огорчения, заботы о сельском хозяйстве и, наконец, семейную жизнь. Его новые взгляды не были результатом одного случайного потрясения, как это было с Чертковым. Чертков был тепличным растением. В детстве — обожание близких, домашнее образование (не дай бог в общей школе заболеет!), вольная служба в гвардии.

Толстой пришел к своей религии через молодой атеизм. Религиозное чувство вызревало, когда он был под пулями и рядом гибли тысячи людей. Когда на его руках умирал старший брат, умирали его и Софьи Андреевны дети. Это требовалось как-то объяснить, как-то оправдать. Иначе жизнь

становилась бессмысленной. А Чертков воспитывался в очень религиозной атмосфере. Его мать была убежденной сектанткой. В основе проповедей лорда Редстока лежала мысль об искуплении кровью Иисуса грехов человеческих. Это было абсолютно чуждо религиозным взглядам Толстого, но зато очень близко и понятно той аристократической среде, в которой лорд проповедовал. Хотя сам он был человек непростой.

Как и Толстой, Редсток принимал участие в Крымской войне, только с другой стороны. На войне он радикально пересмотрел свои взгляды на христианство. Вернувшись в Англию, унаследовал титул барона, но через десять лет раздал имущество бедным и занялся миссионерской деятельностью в Европе и Индии. В 1874 году приехал в Санкт-Петербург и стал пользоваться огромной популярностью в великосветских кругах. Его последователями были княгиня Наталья Федоровна Ливен и ее сестра княгиня Вера Федоровна Гагарина, графы Алексей Павлович Бобринский и Модест Модестович Корф и др. В это время Толстой как раз писал «Анну Каренину». Исследователи романа предполагают, что прообразом великосветского кружка Лидии Ивановны (созвучно с Елизаветой Ивановной Чертковой) был кружок, организованный Редстоком в Петербурге, а сам лорд выведен в романе под именем сэра Джона. Если это так, то ироническое отношение писателя к Редстоку и «редстокисткам» возникло еще до его духовного кризиса. И тогда становится особенно понятно, почему Елизавета Ивановна была категорически против сближения сына с Толстым и считала, что тот *отнял у нее сына*.

«Я глубоко убеждена и вижу из Евангелия, что всякий, не признающий Воскресшего Спасителя, пропитан этим духом, и так как из одного источника не может течь сладкая и горькая вода, я не могу признать здоровым учение, исходящее из подобного источника», — писала Елизавета Ивановна сыну.

Редсток вообще нашел широкое отражение в русской литературе. О нем писал Николай Семенович Лесков в статье «Великосветский раскол»: «Он рыжеват, с довольно приятными, кроткими, голубыми глазами... Взгляд Редстока чист, ясен, спокоен. Лицо его по преимуществу задумчиво, но иногда он бывает очень весел и шутилив и тогда смеется и даже хохочет звонким и беспечным детским хохотом. Манеры его лишены всякой изысканности... Привет у него при встрече с знакомым заученный и всегда один и тот

же — это: “Как вы себя душевно чувствуете?” — Затем второй вопрос: “Что нового для славы имени Господня?” Потом он тотчас же вынимает из кармана Библию и, раскрыв то или другое место, начинает читать и объяснять читаемое. Перед уходом из дома, прежде чем проститься с хозяевами, он становится при всех на колени и громко произносит молитву своего сочинения, часто тут же импровизированную; потом он приглашает кого-нибудь из присутствовавших прочесть другую молитву и, слушая ее, молится... Молитва всегда обращается к Богу Отцу, к Троице или к Иисусу Христу, и никогда ни к кому другому, так как призывание Св. Девы, апостолов и святых лорд Редсток не признаёт нужным и позволительным...»

Более категорично высказался о Редстоке Достоевский в «Дневнике писателя»: «Мне случилось его тогда слышать в одной “зале”, на проповеди, и, помню, я не нашел в нем ничего особенного: он говорил ни особенно умно, ни особенно скучно. А между тем он делает чудеса над сердцами людей; к нему льнут; многие поражены: ищут бедных, чтоб поскорей облагодетельствовать их, и почти хотят раздать свое имение. Впрочем, это может быть только у нас в России; за границей же он кажется не так замечен. Впрочем, трудно сказать, чтоб вся сила его обаяния заключалась лишь в том, что он лорд и человек независимый и что проповедует, так сказать, веру “чистую”, барскую...»

Молодой Чертков, блестящий конногвардеец, конечно, не был ни «редстокистом», ни «пашковцем». Но сектантскую закваску он получил от матери, которую любил и которая материально обеспечивала сына и после его «ухода» к Толстому. Эта закваска отразилась на всей его будущей деятельности как вождя «толстовства».

Это важный момент! Толстой никогда не был *вождем* «толстовцев». Он поддерживал их и был в дружеских отношениях с некоторыми «толстовцами» (кроме Черткова — с Павлом Ивановичем Бирюковым, Михаилом Александровичем Новоселовым, Павлом Александровичем Буланже, Душаном Петровичем Маковицким). Но по своей духовной природе Толстой не мог бы возглавить сектантское движение с его неизбежными *знаками, паролями* и полным подчинением своему лидеру. Он был поклонником личной духовной свободы и разумного понимания веры. Близкий к семье Толстых адвокат и общественный деятель Василий Алексеевич Маклаков однажды остроумно заметил: «Тот, кто понимает Толстого, не следует за ним. А тот,

кто следует за ним, не понимает его». Этим как будто парадоксом объясняется, почему Толстой *не любил* «толстовцев». «Однажды, — вспоминала его дочь Татьяна, — среди людей, бывших у отца, я увидела неизвестного молодого человека. Он был в русской рубашке, больших сапогах, в которые с напуском были заправлены брюки. — Кто это? — спросила я у отца. Папá наклонился ко мне и, закрывая рукой рот, прошептал мне на ухо: — Этот молодой человек принадлежит к самой непостижимой и чуждой мне секте — секте толстовцев».

Тем не менее самый пламенный «толстовец» стал его сокровенным другом.

Поначалу чрезмерная интимность в общении с «милым другом», как с первого же письма называет Толстой Черткова, его немного настораживает. Ему не нравится идея взять на себя полноту духовной ответственности за странного молодого конногвардейца. Но отказать Черткову он не может. Да и не хочет, потому что при первом знакомстве подпадает под обаяние этого столь похожего на него молодого офицера. Вот в семье его не поняли. А Чертков понимает. Больше того, он *нуждается* в Толстом и не скрывает этого. Он посылает ему свои дневники и зовет в свое имение Лизиновку в Воронежской губернии. В Лизиновке Чертков познакомился с тремя крестьянскими юношами, готовыми разделить его с Толстым взгляды. Но имеет ли он право на такое духовное руководство?!

«Нет, Лев Николаевич, приезжайте, ободрите, помогите... Вы здесь нужны». *Вы здесь нужны* — это уже начало той мрачной роли, которую сыграет Чертков в семье Толстых. Где Толстой нужнее — в семье, которая его не понимает, или среди чистых юношей, готовых жизнь положить к его стопам?

«Получил Ваше письмо и получил Вашу книгу и не отвечал на письмо. Не отвечал потому, что не умею ответить. Оно произвело на меня впечатление, что Вы (голубчик, серьезно и кротко примите мои слова), что Вы в сомнении и внутренней борьбе по делу самому личному, душевному — как устроить, вести свою жизнь — личный вопрос обращаете к другим, ища у них поддержки и помощи. — А в этом деле судья только Вы сами и жизнь. — Я не могу по письмам ясно понять, в чем дело; но если бы и понял — был бы у Вас, не то, что не решился бы, а не мог бы вмешиваться — одобрять или не одобрять Вашу жизнь и поступки. Учитель один — Христос».

Бестактность Черткова, который вскоре после знакомства заявил Толстому, что своим последователям тот «нужнее», чем своей семье, кажется, была очевидной. Почувствовал ли это Толстой? Скорее всего. Ответ Льва Николаевича был вежливым намеком на то, что он отказывается стать его *«духовным отцом»*.

И Чертков на время отступил. В 1886 году он женится на Анне Константиновне Дитерихс, слушательнице Бестужевских высших женских курсов. Внешность Гали, как называли ее близкие, хорошо известна по картине Николая Александровича Ярошенко *«Курсистка»* (1883). Красивая, худенькая Галя была страстной поклонницей взглядов Толстого, и это сыграло едва ли не решающую роль в выборе Черткова. Прежде чем жениться, он неоднократно обсуждал этот вопрос с Толстым. Он не считал себя способным к семейной жизни и боялся повторить «ошибку» своего учителя. Но Толстой одобрил брак с Дитерихс. В 1887 году у Чертковых родилась дочь Оля. Галя, слабая и болезненная, не могла сама выкормить ребенка. Нужна была кормилица. И почему-то в Крекшине Московской губернии, где тогда жили молодые, кормилицы не нашлось. Растерянный Чертков просит Толстого найти ее в Москве.

«Дорогой Лев Николаевич, еще раз обращаюсь к Вам за помощью в добром деле, которое для тех, кого оно ближе всего касается, остается добрым делом, несмотря на то, что не чиста причина, побудившая меня принять в нем участие. У Архангельской*, проходом в городской госпиталь, остановилась и родила одинокая, нищая женщина. Она вперед решила отдать ребенка в воспитательный дом, чтобы не ходить с ним зимою по миру. Так и сделала; но, родивши его, успела так к нему привязаться, что рассталась с ним с отчаянным горем, но всё же таки рассталась, дала унести от себя в воспитательный дом, не видя возможности идти с ним по миру зимою без всякого пристанища. У нее очень много молока, и если врач, которого мы ожидаем, признает необходимым испробовать молоко другой женщины, то эта может нам быть очень полезна, хотя мы хотим, если только есть какая-либо возможность, обойтись Галиным молоком... Обращаюсь к Вам опять в надежде, что кто-нибудь из Ваших семейных или близких возьмется исполнить это поручение для того, чтобы избавить Вас от хлопот, требую-

* *Александра Гавриловна Архангельская* (1851—1905) — врач земской больницы, знакомая Толстого.

щих отвлечения Вас от занятий, более Вам свойственных, нужных для людей, и в которых никто не может Вас заменить. Сделать вот что нужно. Отправиться безотлагательно с прилагаемым билетом в воспитательный дом и заявить там, что ребенка под этим номером мать берет назад к себе и чтобы поэтому его не высылали в деревню. Если есть у Вас в Москве подходящий знакомый человек, то поручите ему сейчас же взять ребенка и привезти сюда».

Итак, Чертковым нужна кормилица, в противном случае они рискуют потерять первенца. Но суть вопроса молодой отец обставляет таким количеством фраз, что не сразу поймешь, о чем идет речь. Что должен сделать Толстой? Вернуть ребенка матери или предоставить Гале чужое молоко? Первое — доброе дело. Второе — безнравственно в глазах Толстого, который был принципиальным противником кормления чужим молоком. Чертков это хорошо знает. Поэтому и пишет о «добром деле», но с «нечистой причиной».

Толстой с радостью бросается исполнять поручение. «Сейчас получил Ваше письмо о ребенке (3 часа) и сейчас иду сделать, что могу. И очень, очень рад всему этому». И это Толстой, который, по словам Софьи Андреевны, «убийственно» относился к жене, когда она отказывалась сама кормить Сережу из-за мастита.

Что же произошло?

Будем откровенны: Толстой не меньше *нуждался* в Черткове, чем Чертков — в Толстом. Чертков был духовно несвободным и несамостоятельным. Ему необходим был наставник. Толстой же нуждался в человеке, который целиком посвятит свою жизнь распространению его новых воззрений.

Наконец, даже самый духовно свободный человек не в силах выдержать искушение *обожанием*. Чертков обожествлял Толстого. Он стал для него истиной в последней инстанции — Буддой, Христом, Магометом в одном лице.

В Черткове соединились фанатичная вера в Толстого и невероятный практицизм во всем, что касалось издательской деятельности. Едва познакомившись с Толстым, он мечтает создать для него собственное издательство. Поначалу он занимается этим кустарно, гектографическим способом размножая трактат «В чем моя вера?». Но однажды в письме он советует Толстому писать рассказы для народа. «Я издавал бы эти рассказы сериями».

В Москве Чертков встречается с издателем Владимиром

Николаевичем Маракуевым и близкими к народникам писателями Николаем Николаевичем Златовратским и Александром Степановичем Пругавиным. Они впервые обсуждают план мощного народного издательства.

Такие уже существовали, но издавали лубочную литературу, картинки с переложениями иностранных сказок вроде «Бовы Королевича» и «Милорда Георга», высмеянного Некрасовым в поэме «Кому на Руси жить хорошо?». Чертков пытается убедить лубочных издателей, что выпускать таким же дешевым образом произведения Льва Толстого и других русских писателей тоже выгодно.

И такой издатель нашелся — Иван Сытин. В ноябре 1884 года Чертков зашел в его книжную лавку в Москве и познакомился с ним. Сытин заинтересовался идеей издавать русских писателей наравне с лубком и продавать за ту же цену. Так с помощью Сытина возникло издательство «Посредник»...

В марте 1885 года вышли первые книжки «Посредника» — три народных рассказа Толстого в синих и красных обложках, набранные крупным шрифтом. Они были дешевы — в копейку и полторы копейки.

В мае того же года Чертков едет в Англию и договаривается об издании на английском языке запрещенных в России сочинений Толстого. Помогает друг, лорд Баттерсби. Под одной обложкой на английском языке появляются «Исповедь», «В чем моя вера?» и «Краткое изложение Евангелия». Религиозные произведения Толстого становятся доступны всему миру.

Этого не смог бы сделать сам Толстой, а тем более Софья Андреевна, даже если бы она разделяла убеждения мужа. У Черткова благодаря его матери были мощные связи в аристократических кругах России и Англии.

До смерти Александра III Чертков был неуязвим для своих противников и врагов Толстого. Император, как и его отец, находился в дружеских отношениях с семьей Чертковых. И когда после кончины Александра III всё-таки решили Черткова наказать за помощь гонимым властью духовным, которую он тогда оказывал вместе с Толстым, вдовствующая императрица Мария Федоровна настояла, чтобы высылку в Сибирь заменили высылкой в Англию.

В Англии, обосновавшись в городке Крайстчерч, Чертков создал издательство «Свободное слово», главной задачей которого было распространение сочинений Толстого уже на русском языке. В отлично оборудованной типогра-



Толстой в Ясной Поляне. Фото С. Абамелюка-Лазарева. 1891 г.



Дом Толстых в Хамовниках

Писатель за работой в кабинете московского дома.
Фото П. Преображенского. 1898 г.





Толстой с женой и детьми на каменной террасе яснополянского дома.
Сидят: Сергей, Лев, Лев Николаевич с Сашей, Софья Андреевна,
Илья с Мишей; стоят: Мария, Андрей, Татьяна. 1887 г.



С дочерью Александрой в Мисхоре. *Фото С. Толстой. Сентябрь 1901 г.*

Во время болезни в Гаспре. 1902 г.





С Максимом Горьким
в Ясной Поляне.
Фото С. Толстой.
8 октября 1900 г.



С Антоном
Павловичем Чеховым
в Гаспре.
Фото С. Толстой.
Сентябрь 1901 г.



Илья Ефимович Репин дружил с писателем более тридцати лет.
Фото С. Толстой. Декабрь 1908 г.

«Пахарь. Л. Н. Толстой на пашне». *И. Репин. 1887 г.*





Писатель в кабинете в Ясной Поляне с вождем «толстовства» Владимиром Григорьевичем Чертковым, редактором и издателем его произведений. 29 марта 1909 г.

«Лев Николаевич Толстой в кабинете под сводами». И. Репин. 1891 г.





Семья в сборе в Ясной Поляне в день 75-летия Толстого.
 Сидят: Михаил, Татьяна, Софья Андреевна, Лев Николаевич, Мария,
 Андрей; стоят: Илья, Лев, Александра, Сергей.
Фото А. Протасевича. 28 августа 1903 г.

Дочь Александра печатает на машинке под диктовку отца.
Фото В. Черткова. 1909 г.





Толстой возвращается с купания на реке Воронке.
Фото В. Черткова. 1905 г.



В окрестностях Ясной Поляны. *Фото В. Черткова. 1908 г.*

С крестьянскими детьми в Ясной Поляне. *Фото Т. Тапселя. Май 1909 г.*





Прогулка верхом в Ясной Поляне. *Фото А. Толстой. 1903 г.*

Игра в городки в яснополянском парке. *Фото Т. Татселя. Май 1909 г.*





Оптинский старец Амвросий
(Гренков). 1870-е гг.



Толстой-странник

Толстой трижды посещал Оптину пустынь для бесед с отцом Амвросием



С сестрой Марией,
монахиней
Шамординской
обители.
Ясная Поляна, 1908 г.



С личным врачом
Душаном Петровичем
Маковицким.
Ясная Поляна, 1909 г.





Софья Андреевна заглядывает в окно комнаты на станции Астапово, где лежит умирающий Лев Николаевич. *Ноябрь 1910 г.*

Толстой на смертном одре. *Фото А. Савельева. Астапово, 7 ноября 1910 г.*





Похоронная процессия у ворот Ясной Поляны. *Фото А. Савельева.*
9 ноября 1910 г.

Могила Толстого в яснополянском лесу



СВОБОДНЫЙ
ЧЕЛОВЕК



*Лев Николаевич Толстой
босой. И. Репин. 1901 г.*

фии были напечатаны все запрещенные в России или испорченные цензурой поздние сочинения Толстого. Например, вышло пять изданий романа «Воскресение» и «Полное собрание сочинений, запрещенных в России, Л. Н. Толстого» в десяти томах. Одновременно он организовал издательство «Free Age Press», выпускавшее книги Толстого на иностранных языках и имевшее филиалы в нескольких странах. Он привлек к этому делу лучших переводчиков, и сам был одним из переводчиков Толстого на английский язык. Благодаря Черткову поздние произведения Толстого смогли прочитать миллионы людей в разных частях света. Те, что печатались на русском языке, нелегально переправлялись в Россию.

«Если бы Черткова не было, его надо было бы придумать», — пошутил Толстой в одном из писем. Но в этой шутке была правда, которой Толстой не мог не признать.

Черткова не надо было «придумывать» — он «придумал» себя сам. Он оказался идеальным посредником между Толстым и всем цивилизованным миром. Он открыл нового Толстого и для России, пусть и нелегальным способом. Он избавил Толстого от забот и рисков при распространении его сочинений. От рутинных хлопот в поисках переводчиков и зарубежных издателей. Знакомство с Чертковым было подарком для Толстого.

Но не для его семьи...

Чертков и Софья Андреевна

С первых же писем Черткова Толстому Софья Андреевна заподозрила неладное. Уже 30 января 1884 года, спустя три месяца после знакомства с Чертковым, она пишет мужу из Москвы в Ясную Поляну: «Посылаю тебе письмо Черткова. Неужели ты всё будешь нарочно закрывать глаза на людей, в которых не хочешь ничего видеть кроме хорошего? Ведь это слепота!»

Что это за письмо? То самое, где Чертков уговаривал Толстого приехать к нему в Лизиновку, где он обратил в их общую веру трех крестьянских юношей. Это было его первое бестактное вторжение в жизнь семьи Толстых. Молодой человек, только что познакомившийся с Толстым, спустя три месяца настаивает, чтобы почти шестидесятилетний писатель поехал к нему зимой в Воронежскую губернию.

Это письмо ошеломило Толстого. Он не поехал к Черт-

кову. Тот отступил: «Что касается до моего последнего письма, то Вы, вероятно, в большой степени правы. Я помню, что на следующий день после его отправки чуть было не написал другое письмо в отмену его».

Чертков понимает, что написал лишнее. Но уже не может, да и не хочет скрывать от Толстого своих чувств: «...мне постоянно хочется знать, где Вы, что Вы делаете...»

И Толстой не скрывает чувств: «Меня волнует всякое письмо Ваше». При этом он видит, что Чертков душевно нездоровый человек. «Скажу Вам мое чувство при получении Ваших писем: мне жутко, страшно — не свихнулись бы Вы».

Толстой видит сон о Черткове. «Он вдруг заплясал, сам худой, и я вижу, что он сошел с ума».

О проблемах с психическим здоровьем у Черткова вспоминал учитель детей Толстых по латыни и греческому Владимир Федорович Лазурский: «...произвел на меня впечатление человека нервнобольного. Чертков говорил, что решительно не может судить объективно о температуре воды, так как не может доверять своей чувствительности. Иногда состояние его нервов таково, что он не чувствует холода, каков бы он ни был; иногда он боится лезть в воду без всякой видимой причины».

Чертков признавался, что страдает манией преследования. Он был невероятно деятельным, но приступы активности у него постоянно сменялись безразличием. Он мог работать круглые сутки без всякой необходимости, а потом вдруг впадал в депрессию.

В 1898 году, когда Толстой с Чертковым занимались переселением русских духоборов в Канаду, Лев Николаевич написал ему:

«Вы от преувеличенной аккуратности копотливы, медлительны, потом на всё смотрите свысока, *grandseigneur'ski**, и от этого не видите многого и, кроме того, уже по физиологическим причинам, изменчивы в настроении — то горячечно-деятельны, то апатичны».

В марте 1885 года Софья Андреевна пишет мужу из Москвы в Ясную Поляну: «Получила сегодня милейшее письмо от Черткова. Просит прислать листы твоей статьи, которые он привозил, и, например, говорит: “я всегда думаю о Вас и Вашей семье, как о родных, и притом близких родных. Хо-

* От *grand seigneur* — важная персона, вельможа (*фр.*).

рошо ли это или нет, — не знаю, — кажется, что хорошо». Как это на него похоже!»

Но вот это «милейшее письмо»:

«Графиня, беспокою Вас одной просьбою: пожалуйста, пришлите мне по почте тетрадки с первыми литографированными листами последней статьи Льва Николаевича. Вы их найдете в шкапу за его письменным столом. Всего там около 10-ти или 12-ти тетрадок».

Чертков настолько освоился в кабинете писателя в московском доме Толстых, что объясняет его хозяйке, где что лежит.

В 1887 году Толстой попросил Софью Андреевну найти письмо от Репина. Среди писем она случайно наткнулась на письмо Черткова, в котором он превозносил свою жену Галю и жалел Толстого.

«Меня это письмо буквально взорвало», — вспоминала она.

При этом Чертков не упоминал Софью Андреевну. Он как будто писал только о Гале, о том, как он счастлив с ней: «...нет той области, в которой мы лишены обоюдного общения и единения. Не знаю, как благодарить Бога за всё то благо, какое я получаю от этого единения с женой... При этом я всегда вспоминаю тех, кто лишен возможности такого духовного общения с женами и которые, как казалось бы, гораздо, гораздо более меня заслуживают счастья».

Намек был слишком «толстым». В дневнике 1887 года Софья Андреевна справедливо пишет: «Было письмо от Черткова. Не люблю я его: не умен, хитер, односторонен и не добр. Л. Н. пристрастен к нему за его поклонение». Тремя днями позже: «Отношения с Чертковым надо прекратить. Там всё ложь и зло, а от этого подальше...»

Но почему Чертков вообще отважился в своих письмах *жалеть* Толстого из-за его жены? До 1887 года он бывал в доме Толстых наездами. Откуда он взял, что его учитель несчастлив в личной жизни?

Еще в марте 1884-го Толстой в письме описывал «милостивому другу» две страшные «картинки» дня: малолетняя проститутка, которую забрали в полицию, и голое мертвое тело прачки, скончавшейся от голода и холода. В этом послании он жаловался: «Мне стыдно писать это, стыдно жить. Дома блюдо осетрины, пятое, найдено не свежим. Разговор мой перед людьми мне близкими об этом встречается недоумением — зачем говорить, если нельзя поправить. Вот ког-

да я молюсь: Боже мой, научи меня, как мне быть, как мне жить, чтобы жизнь моя не была мне гнусной».

В 1883—1887 годах Толстой неоднократно жаловался Черткову на одиночество в семье. Как это должен был понимать его верный идейный ученик?!

Конечно, это не давало права Черткову вмешиваться в семейные дела Толстых. Но путь ему открыл сам Толстой постоянными жалобами.

В 1885 году Чертков пишет Толстому: «Зачем Вы не попросите Вашего старшего сына помочь Вам в приведении в порядок и содержании в порядке Ваших бумаг? Это так важно, чтобы бумаги содержались в порядке кем-нибудь из Ваших домашних... Всё, что Вы пишете, для нас так дорого, так близко всему хорошему, что мы в себе сознаем, что просто содрогаешься от одной мысли, что что-нибудь из Ваших писаний может пропасть за недостатком присмотра».

В это время старший сын Толстого Сергей инспектирует свою часть самарского имения, чтобы наладить постоянный доход от него. В январе 1887 года он избирается в члены Тульского отделения Крестьянского поземельного банка, переезжает в Тулу, ездит по имениям, продаваемым через банк. Дела отца совсем не интересуют его.

Толстой остро и горько чувствовал этот недостаток внимания сыновей к своим идейным и творческим исканиям, да и просто к своей работе. Сколько раз в дневнике он жалуется на сыновей! Иногда он пишет им, каждому и всем вместе, пространные письма, пытаясь наставить на путь истинный, спасти от атеизма, эгоизма, пьянства, карточной игры. Точно он живет не вместе с ними, а где-то на необитаемом острове.

А Чертков живет одним Толстым. Даже Софья Андреевна вынуждена была это признать: «Я неправа была, думая, что лезть заставляет Черткова общаться с Львом Николаевичем. Чертков фанатично полюбил Льва Николаевича и упорно, много лет живет им, его мыслями, сочинениями и даже личностью, которую изображает в бесчисленных фотографиях. По складу ума Чертков ограниченный человек и ограничился сочинениями, мыслями и жизнью Льва Толстого... Спасибо ему и за это».

В июле 1885 года, находясь в Англии, еще не женатый Чертков в ответ на очередную жалобу Толстого на своих близких прямо советует ему *бросить семью*: «Вы говорите, что живете в обстановке, совершенно противной Вашей ве-

ре. Это совершенно справедливо. И потому вполне естественно, чтобы у Вас по-временам являлись планы убежать и перевернуть всю семейную обстановку. Но я не могу согласиться с тем, что это доказывает, что Вы слабы и скверны. Напротив того, сознание в себе возможности стать в случае нужды совсем независимым от окружающей обстановки, направить свою фактическую жизнь по совершенно новой линии, доказывает только присутствие силы. И... убежать или перевернуть жизнь — в моих глазах вовсе не такие действия, которые сами по себе были бы вперед предосудительны. Христос так сделал и увлекал других именно по этому пути».

Еще один «толстый» намек. Если вы, Лев Николаевич, хотите стать новым Иисусом Христом, — оставьте «мертвым хоронить своих мертвецов» — оставьте свою семью!

Софья Андреевна не знала об этом письме. С некоторого времени Толстой стал прятать от жены письма и свои дневники. Появление Черткова и «темных» (так называла Софья Андреевна «толстовцев», отличая их от «светлых», то есть «светских» людей) нарушило прежний семейный договор: отношения в семье должны быть прозрачны, муж и жена знают друг о друге всё.

Напряжение в отношениях Софьи Андреевны и Черткова нарастало год от года. У Софьи Андреевны, которая всегда отличалась ревнивым пониманием своей роли при Толстом, портился характер. Не понимая до конца истинных отношений между Толстым и «милым другом», во многом просто деловых, связанных с изданием Толстого за рубежом и распространением его запрещенных сочинений в России (в этом плане жена Толстого была бессильна), она начинала воображать всё что угодно. В конце концов Софья Андреевна стала по-женски *ревновать мужа к Черткову*.

В 1892 году Толстой с дочерьми работает в селе Бегичевка Рязанской губернии, где случился голод, открывает столовые на пожертвованные деньги. В сборе средств ему помогает жена. Эта работа примиряет семью. Толстой приезжает к жене в Москву, она навещает мужа в Бегичевке. Они чувствуют взаимную любовь. «Соня очень тревожна, не отпускает меня, и мы с ней дружны и любовны, как давно не были», — пишет он своей тетушке Александре Андреевне.

Чертков тоже «работает на голоде» (так выражались в то время) в Воронежской губернии. Между ним и Софьей Ан-

древней налаживаются отношения. В это время Толстой работает над книгой «Царство Божие внутри вас». Он посылает рукопись Черткову, затем просит вернуть для дальнейшей редактуры. Для надежности Чертков отправляет рукопись через Москву, через жену Толстого. Вроде бы всё в порядке. «Царство Божие...» не будет напечатано в России, как и все религиозные сочинения Толстого. И этим «запретным» Толстым занимается Чертков. Кажется, всего-то и нужно разделить между собой издательские «полномочия» при Толстом. Договориться полюбовно, кто чем занимается. Однако Чертков нечуток и бестактен. Он считает себя вправе использовать жену Толстого как «передаточное звено».

Злое письмо Софьи Андреевны Черткову не сохранилось. Но о его содержании можно догадаться по ответному посланию. Она возмущалась, что Чертков беспощадно эксплуатирует «утомленного нервного старика». Но Чертков в данном случае был ни в чем не виноват. Это была воля самого Толстого.

Письмо Софьи Андреевны и свой ответ на него Чертков послал Толстому. Он хотел сделать его свидетелем очевидной несправедливости к нему со стороны Софьи Андреевны.

Толстой старается примирить враждующие стороны. Он пишет Черткову: «Вы правы, но и она не виновата. Она не видит во мне того, что Вы видите...»

Что же писал Чертков Софье Андреевне? «По отношению ко всему, что касается его лично, нам следует быть невозможными точнейшими исполнителями его желаний». Он считает, что Софья Андреевна ничего не понимает в здоровье своего мужа. «Во Льве Николаевиче я не только не вижу нервного старика, но напротив того привык видеть в нем и ежедневно получаю фактические подтверждения этого, — человека моложе и бодрее духом и менее нервного, т. е. с большим душевным равновесием, чем все без исключения люди, его окружающие и ему близкие». Она мучает своего мужа. «...Вы действуете наперекор желаниям Льва Николаевича, хотя бы и с самыми благими намерениями, Вы не только причиняете ему лично большое страдание, но даже и практически, во внешних условиях жизни очень ему вредите».

Обиженная Софья Андреевна жалуется мужу: «Чертков написал мне неприятное письмо, на которое я слишком горячо ответила. Он, очевидно, рассердился на меня за

мой упрек, что он торопит тебя со статьей, а я не знала, что ты сам ее выписал. Я извинилась перед ним; но что за тупой и односторонне-понимающий всё человек! И досадно, и жаль, что люди узко и мало видят; им скучно!..»

И пишет Черткову: «Если я 30 лет оберегала его, то теперь ни у Вас, ни у кого-либо уж учиться не буду, как это делать».

И это уже не конфликт взглядов и пониманий своей роли при Толстом как писателе и философе. Это семейный конфликт. Два человека, жена и ученик, начинают воевать за свое *место* при Толстом. Кто из них главнее? Кого он больше любит и ценит? И над всем этим вызревает последний вопрос. Кто будет его *душеприказчиком*? Ведь Толстому в 1892-м исполнилось 64 года.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

УХОД И СМЕРТЬ

(1892—1910)

Толстой в девяностые годы

Девяностые годы — один из самых интересных и напряженных периодов жизни Толстого и всей его семьи.

Он совпал с концом «золотого» XIX столетия и началом заката Российской империи. В 1894 году умирает Александр III и на престол восходит его слабый сын, последний русский император Николай II. В истории русской литературы девяностые годы принято считать началом Серебряного века. Появляются первые статьи русских символистов и главные работы их философского предтечи Владимира Соловьева и в это же время — первые публикации и книги революционного писателя Максима Горького. В начале девяностых умирает последний великий русский поэт XIX века Афанасий Фет и пишет ранние стихи новый поэтический гений — Александр Блок. Это время наивысшего расцвета прозы Чехова и первых публикаций целой плеяды «новых реалистов» — Бунина, Куприна, Андреева и др. И одновременно — это период борьбы двух главных социально-политических течений предреволюционной России, марксистов и народников. А также период кризиса традиционных религиозных взглядов и рождения новой религиозной мысли (Бердяев, Булгаков, Струве, Франк и др.), которая мощно заявит о себе уже в начале XX века, а окончательно созреет в послереволюционной эмиграции.

Толстой не вписывается ни в одно из этих идейных, религиозных, литературных и социально-политических течений конца XIX столетия. В то же время именно он, как никто, оказывает на них колоссальное влияние. Его не может миновать ни один из мыслящих и творческих людей России — поэтов, прозаиков, публицистов, общественных, политических, религиозных деятелей. Фигура Толстого вызывает споры, протесты, раздражение, но так или иначе

присутствует во всех идейных и художественных баталиях, на которые это время особенно щедро.

Между тем сам Толстой вроде бы достигает высшей степени духовной свободы. Он не связан ни деньгами, ни собственностью. Тщеславие, жажда известности, которые настолько волновали его в молодости, что он считал это своим главным пороком, уже не заботят его, потому что он признан писателем номер один не только в России, но и во всём мире. Когда в 1895 году согласно завещанию миллионера Альфреда Нобеля была учреждена Нобелевская премия, ни у кого не было сомнения, кто будет ее первым лауреатом в области литературы. Но Толстой легко от премии отказывается, и она достается французскому поэту и эссеисту Сюлли-Прюдому.

Взгляды Толстого становятся популярны в Европе и Америке, его поклонники появляются в Японии, Китае, Индии. Во многом это заслуга Черткова. Но одной его энергичной деятельностью по распространению сочинений Толстого этого не объяснить. Почему, например, идеи Толстого в Америке были даже более признанными, чем в Европе? Почему они так совпали с умонастроениями представителей древнейших цивилизаций — индусов и китайцев? Ответы можно найти только в самих мыслях Толстого, а не во внешних обстоятельствах.

В девяностые годы у Толстого складываются все условия, чтобы жить свободно и независимо, генерировать свои идеи и свысока смотреть на то, что происходит в России и во всём мире. В известной степени ему даже выгодно, что европейская цивилизация и вместе с ней Россия движутся к катастрофе. Ведь он же осудил эту цивилизацию, он всех предупреждал...

«...мы чуть держимся в своей лодочке над бушующим уже и заливающим нас морем, которое вот-вот гневно поглотит и пожрет нас. Рабочая революция с ужасами разрушений и убийств не только грозит нам, но мы на ней живем уже лет 30 и только пока, кое-как разными хитростями на время отсрочиваем ее взрыв».

Это было написано Толстым в 1885 году.

Он гений, пророк, что еще от него требуется?

Тем не менее в самом начале девяностых Толстой совершает поступок, который противоречит его взглядам. Он, говоря словами гения уже XX века, Маяковского, *наступает на горло собственной песне*.

В конце 1891 года в нескольких губерниях Центральной

и Восточной России разразился страшный крестьянский голод. Причин было несколько: неурожай, общая низкая культура земледелия и неготовность правительства помочь землепашцам. Но главная причина была в той несправедливости, о которой постоянно говорил и писал Толстой. В 1861 году крестьян отпустили на волю, но фактически без земли. Большая часть плодородной земли оставалась в собственности помещиков, а крестьяне были вынуждены брать ее в аренду. В урожайные годы они сводили концы с концами: расплачивались с помещиками зерном, деньгами или отработками, остальное шло на пропитание семьи и поддержание своего хозяйства. Три подряд неурожайных года — 1891-й, 1892-й, 1893-й — показали губительность этой системы в кризисных условиях. И это был уже не первый случай. Так называемые *голодовки* сотрясали Россию с конца семидесятых годов.

Помещик-крепостник так или иначе был вынужден кормить крестьян, потому что они были его собственностью, за которую он отвечал. «Свободные» крестьяне оказались предоставлены самим себе. За аренду земли они обязаны были заплатить по закону. Но в случае неурожая платить было нечем. Они продавали коров, лошадей, всё, что у них было, чтобы счесться с помещиком и купить какое-то продовольствие для своей семьи. На следующий год им не на чем было пахать... Это был порочный круг.

Толстой писал об этом в статье «О голоде». Он задумал ее летом 1891 года, когда появились первые прогнозы о грядущем бедствии. «Детям дали лошадь — настоящую, живую лошадь, и они поехали кататься и веселиться. Ехали, ехали, гнали под гору, на гору. Добрая лошадка обливалась потом, задыхалась, везла, и всё везла, слушалась; а дети кричали, храбрились, хвастались друг перед другом, кто лучше правит, и подгоняет, и скачет. И им казалось, как и всегда кажется, что когда скакала лошадка, что это они сами скакали, и они гордились своей скачкой... Долго веселились дети, не думая о лошади, забыв о том, что она живет, трудится и страдает, и если замечали, что она останавливается, то только сильнее взмахивали кнутом, стегали и кричали. Но всему есть конец, пришел конец и силам доброй лошадки, и она, несмотря на кнут, стала останавливаться. Тут только дети вспомнили, что лошадь живая, и вспомнили, что лошадей поят и кормят, но детям не хотелось останавливаться, и они стали придумывать, как бы на ходу накормить лошадь. Они достали длинную палку и на конец ее

привязали сено и, прямо с козел, на ходу подносили это сено лошади. Кроме того, двое из детей, заметив, что лошадь шатается, стали поддерживать ее; и держали ее зад руками, чтобы она не заваливалась ни направо, ни налево. Дети придумывали многое, но только не одно, что должно было им прежде всего прийти в голову, — то, чтобы слезть с лошади, перестать ехать на ней, и если они точно жалеют ее, отпрячь ее и дать ей свободу».

Он не считал освобождение крестьян без земли свободой. Это была новая и даже еще худшая зависимость.

Но когда Толстой писал статью «О голоде», стоял уже другой вопрос: *а что делать?* Как спасти умирающих от голода крестьян? Необходимо снабжать их продовольствием, а для этого нужны деньги. Но даже при наличии денег — как закупать продовольствие, в каких количествах, какое именно в первую очередь? И наконец, как его распределять? Поровну на всех, как это делали земства и Красный Крест? Но богатый крестьянин, отнюдь не умирающий с голоду, никогда не откажется от дармового мешка муки или зерна. Спрашивать голодающих об их истинных нуждах — бессмысленно. Каждый будет говорить, что ему хуже всех, чтобы получить даром как можно больше, не только на истинные нужды, но и впрок.

В Тульской губернии проблема голода не стояла так остро. Толстой с дочерьми Таней и Машей и группой наиболее верных «толстовцев» отправился в Рязанскую губернию, к другу своей молодости помещику Ивану Ивановичу Раевскому.

Два с лишним года, лишь на время приезжая в Москву и Ясную Поляну, он с группой молодых энтузиастов «работал на голоде» в имении Раевского Бегичевке Данковского уезда.

За это время они спасли от голодной смерти *десятки тысяч* людей — детей, стариков, женщин и мужчин. Удивительно, что эта героическая страница в биографии Толстого и его близких до сих пор малоизвестна в России. И почти совсем не изучена.

Чтобы представить, какой опасности подвергались участники борьбы с голодом, приведем несколько фактов. Сам Раевский осенью 1891 года во время поездки с инспекцией по голодающим деревням простудился и умер. Толстой, продолживший его дело, однажды зимой заблудился на саях в степи и едва не погиб. Этот случай послужил толчком к написанию повести «Хозяин

и работник». Во время «работы на голоде» умерла от тифа Марья Петровна Берс, молодая жена одного из братьев Софьи Андреевны, помогавшая Толстому в Бегичевке. Сын Толстого Лев практически в одиночку спасал крестьян от голода в полученном им при разделе отцовской собственности имении в Самарской губернии. Вернувшись домой, Лев Львович впал в тяжелейшую депрессию, которая длилась четыре года, и едва вылечился.

Идея Раевского, подхваченная Толстым, состояла в том, чтобы не раздавать крестьянам продовольствие, а устраивать для них бесплатные столовые. Идея была не новой, простой и одновременно идеальной, но трудновыполнимой. Резон состоял в том, что в столовую каждый мужик прежде всего отправит своих детей и стариков и только потом придет сам, а богатеи туда не пойдут — зачем? В столовых можно поддерживать правильный рацион, чтобы не было авитаминоза и цинги. Для пропитания нужен не только хлеб, но горячая пища и овощи. Столовые отвлекали крестьян от тягостного бездействия и бессилия в ожидании голодной смерти, когда здоровые, сильные мужики кончали жизнь самоубийством, видя, как умирают их дети и старики. Ведь в столовых работали они сами и их жены.

Но столовые еще нужно было организовать, вовремя доставлять в них продовольствие из других, не голодающих губерний и проводить их постоянную инспекцию. Поэтому Толстой и его помощники никогда не выезжали на инспекции парами, а только поодиночке, в любую погоду, чтобы успеть проверить столовые на десятки верст вокруг имения Раевского. Это была очень тяжелая работа.

Для Толстого эта работа была тяжела еще и морально. Чтобы помочь крестьянам, необходимы деньги, а он от них отсекся. Именно в 1891 году он раздал имущество жене и детям. Даже на поездку в Бегичевку Толстой должен был просить деньги у Софьи Андреевны. Через нее же он обратился в печать с просьбой жертвовать на голодающих. 3 ноября 1891 года в газете «Русские ведомости» было опубликовано письмо Софьи Андреевны, которое заканчивалось словами: «Не мне, грешной, благодарить всех тех, кто отзовется на слова мои, а тем несчастным, которых прокормят добрые души».

В первое утро ей принесли 400 рублей, а в течение суток она получила полторы тысячи. К 11 ноября было собрано девять тысяч рублей. Всего за время голода на имя Толстого и его жены поступило более 200 тысяч рублей.

Она писала мужу в Бегичевку: «Очень трогательно приносят деньги: кто, войдя, перекрестится и даст серебряные рубли; один старик поцеловал мне руку и говорит, плача: примите, милостивейшая графиня, мою благодарность и посильную лепту. Дал 40 рублей. — Учительницы принесли, и одна говорит: “Я вчера плакала над вашим письмом”. — А то на рысак барин, богато одетый, встретил в дверях Андриюшу и спросил: вы сын Льва Николаевича? — Да. — Ваша мать дома? Передайте ей. В конверте 100 рублей. Дети приходят, приносят по 3, 5, 15 рублей. Одна барышня привезла узел с платьем. Одна нарядная барышня, захлебываясь, говорила: “Ах, какое вы трогательное письмо написали! Вот возьмите, это мои собственные деньги, папаша и мамаша не знают, что я их отдаю, а я так рада!” В конверте 101 рубль 30 копеек».

Вся Россия откликнулась на воззвание жены Толстого. Письмо было перепечатано за границей. Уже в начале ноября крупный английский издатель Ануин Фишер письменно просил Толстого стать доверенным лицом и посредником между руководителями сбора пожертвований в Англии и организациями в России, оказывающими помощь голодающим. В Соединенных Штатах был организован сбор средств для голодающих в России. Из Америки были отправлены семь пароходов с кукурузой.

Софья Андреевна счастлива помочь мужу в этом добром деле. Но Толстой вовсе не считает свою работу *добрым делом*. Он пишет из Бегичевки «толстовцу» Исааку Борисовичу Файнерману: «Я живу скверно. Сам не знаю, как меня затянуло в эту тягостную для меня работу по кормлению голодных. Не мне, кормящемуся ими, кормить их. Но затянуло так, что я оказался распределителем той блевотины, которой рвет богачей».

Художнику Николаю Николаевичу Ге он пишет: «Мы живем здесь и устраиваем столовые, в которых кормятся голодные. Не упрекайте меня вдруг. Тут много не того, что должно быть, тут деньги Софьи Андреевны и жертвованные, тут отношения кормящих к кормимым, тут греха конца нет, но не могу жить дома, писать. Чувствую потребность участвовать, что-то делать. И знаю, что делаю не то, но не могу делать то, а не могу ничего не делать. Славы людской боюсь и каждый час спрашиваю себя, не грешу ли этим, и стараюсь строго судить себя и делать перед Богом и для Бога...»

Толстой понимает, что, участвуя в спасении голодаю-

щих и вовлекая в это дело богатых людей, он становится «колесиком» в механизме несправедливо устроенной системы распределения земных благ, которую сам же осудил. Он вынужден иметь дело с большими деньгами после отречения от денег как от «зла». Он понимает, что временная помощь голодающим в одной из губерний (а другие?) ничего не изменит в системе в целом, а только, напротив, продлит ее существование. Но он не может не участвовать в ней, зная, что где-то рядом от голода гибнут люди.

«Работа на голоде» проявила, быть может, самое ценное качество Толстого: он не был догматиком своих убеждений. В разных ситуациях он сам поступал против них, когда это требовало от него простое нравственное чутье.

Девяностые годы — один из самых плодотворных периодов творчества Толстого. Религиозный мыслитель и художник уже не вступают в его душе в непримиримое противоречие, как это было в первой половине восьмидесятых, а дополняют и обогащают друг друга. Рождается принципиально новый Толстой-писатель. В девяностые годы он создает свой главный религиозный труд «Царство Божие внутри вас». И в это же время появляются его художественные шедевры — «Крейцера соната», «Дьявол», «Хозяин и работник», «Отец Сергей». В 1896 году Толстой пишет рассказ «Репей», из которого, как из бутона, затем распустится масштабная историческая повесть «Хаджи-Мурат». Законченная в 1905 году, она станет последним крупным произведением Толстого, его лебединой песней...

Пожалуй, наиболее гармонично Толстой-мыслитель и Толстой-художник соединяются в повести «Хозяин и работник», написанной в 1894—1895 годах.

Купец Василий Брехунов с работником Никитой заблудились в степи в метель. Впереди долгая ночь, и они неминуемо должны замерзнуть. Либо спасется только один, тот, кого второй накроет своим телом. По всем законам этой мелодраматической завязки спасти хозяина должен слуга, простой, бедный и честный человек, а хитрый и жадный до денег купец должен выжить и раскаяться. Но Толстой переворачивает классический морализаторский сюжет. Хозяин спасает слугу, согревая своим остывающим телом. Почему он так поступает — загадка.

У этой повести два измерения. Первое, горизонтальное — это земные отношения хозяина и работника, Василия и Никиты. Здесь всё ясно. Второе, вертикальное из-

мерение — это отношения всех людей как «работников» с небесным Хозяином — Богом. И тут всё совсем не так очевидно.

Никита как «работник» не виноват перед Хозяином. Он больше отдавал другим, чем брал. Василий, напротив, все свои силы и смекалку тратил на то, чтобы брать, а не отдавать. Спасение слуги — это последний шанс «поработать» на Хозяина. И он отдает слуге самое ценное, что у него есть, — свою жизнь. За это он «ныне же» будет в Царствии Небесном.

«И вдруг радость совершается: приходит тот, кого он ждал, и это уж не Иван Матвеич, становой, а кто-то другой, но тот самый, кого он ждет. Он пришел и зовет его, и этот, тот, кто зовет его, тот самый, который кликнул его и велел ему лечь на Никиту. И Василий Андреич рад, что этот кто-то пришел за ним. “Иду!” — кричит он радостно, и крик этот будит его. И он просыпается, но просыпается совсем уже не тем, каким он заснул. Он хочет встать — и не может, хочет двинуть рукой — не может, ногой — тоже не может. Хочет повернуть головой — и того не может. И он удивляется; но нисколько не огорчается этим. Он понимает, что это смерть, и нисколько не огорчается и этим. И он вспоминает, что Никита лежит под ним и что он утрелся и жив, и ему кажется, что он — Никита, а Никита — он, и что жизнь его не в нем самом, а в Никите. Он напрягает слух и слышит дыханье, даже слабый храп Никиты. “Жив, Никита, значит, жив и я”, — с торжеством говорит он себе. И он вспоминает про деньги, про лавку, дом, покупки, продажи и миллионы Мироновых; ему трудно понять, зачем этот человек, которого звали Василием Брехуновым, занимался всем тем, чем он занимался. “Что ж, ведь он не знал, в чем дело, — думает он про Василья Брехунова. — Не знал, так теперь знаю. Теперь уж без ошибки. Теперь знаю”. И опять слышит он зов того, кто уже окликал его. “Иду, иду!” — радостно, умиленно говорит всё существо его. И он чувствует, что он свободен и ничто уж больше не держит его».

В этой повести самое поразительное то, как легко и просто совершает Василий шаг в Царствие Небесное. Всего-то и надо — отдать всё свое другому. Отказаться от всего, что имеешь. Но сделать это в обычных обстоятельствах Василий не мог. Как откажешься от денег, от лавки, от всего, что нажил? Трудно, почти невозможно! Но только такой ценой достигаются свобода и независимость человека.

Именно о такой свободе мечтал Толстой, когда отказы-

вался от собственности и литературных прав. Но в реальной жизни она была невозможна. Именно с публикацией «Хозяина и работника» был связан один из самых неприятных скандалов в семье Толстых.

Повесть впервые была напечатана в 1895 году в журнале «Северный вестник». В девяностые годы «Северный вестник» из народнического журнала становится первым органом русских декадентов. Здесь печатаются Мережковский, Гиппиус, Бальмонт, Сологуб, здесь выходят мемуары Лу-Андреас Саломе о Фридрихе Ницше. Здесь появляются ранние рассказы Горького «ницшеанского» периода, когда он воспевал сильных и аморальных личностей вроде Челкаша и Мальвы. Казалось бы, Толстой не должен был отдавать свое сочинение в этот журнал...

Тем более что Софья Андреевна была в восхищении от «Хозяина и работника». Она уговаривала мужа отдать эту вещь ей как издательнице для первой публикации. Но Толстой был неумолим: семья не может зарабатывать на его новых произведениях. В гневе Софья Андреевна решила, что ее муж равнодушен к тридцатилетней красивой издательнице «Северного вестника» Любови Яковлевне Гуревич. Та посещала дом Толстых в Москве, вела за спиной Софьи Андреевны переговоры с Львом Николаевичем.

Двадцать первого февраля 1895 года в Москве Толстой объявил Софье Андреевне о решении уйти из дома. Поссорились из-за публикации «Хозяина и работника», которую Толстой не уступил жене. «Лёвочка был так сердит, что побежал наверх, оделся и сказал, что уедет навсегда из дома и не вернется». И тогда ей «пришло в голову, что это повод только, а что Лёвочка хочет меня оставить по какой-нибудь более важной причине. Мысль о женщине пришла прежде всего... Я потеряла всякую над собой власть, и, чтоб не дать ему оставить меня раньше, я сама выбежала на улицу и побежала по переулку. Он за мной. Я в халате, он в панталонах без блузы, в жилете. Он просил меня вернуться, а у меня была одна мысль — погибнуть так или иначе. Я рыдала и помню, что кричала: пусть меня возьмут в участок, в сумасшедший дом. Лёвочка тащил меня, я падала в снег, ноги были босые в туфлях, одна ночная рубашка под халатом».

А в это время в доме умирал от скарлатины их последний и самый любимый ребенок — Ванечка. И умер через два дня. Ему не исполнилось семи лет.

Он родился 31 марта 1888 года, когда Софья Андреевна

приближалась к своему 44-летию, а Льву Николаевичу было без малого шестьдесят. С самого начала Толстой увидел в этом сыне своего духовного наследника. Когда он родился, Софья Андреевна писала сестре: «Лёвочка взял его на руки и поцеловал; чудо, еще не виданное доселе...»

Ванечка рос болезненным ребенком. Но все отмечали его внешнее сходство с отцом. «На этом детском личике поражали глубокие, серьезные серые глаза; взгляд их, особенно когда мальчик задумывался, становился углубленным, проникающим, и тогда сходство со Львом Николаевичем еще более усиливалось. Когда я видел их вместе, то испытывал своеобразное ощущение. Один старый, согнувшийся, постепенно уходящий из жизни, другой — ребенок, а выражение глаз одно и то же, — отмечал поклонник Толстого Гавриил Андреевич Русанов. — Лев Николаевич был убежден, что Ваня после него будет делать “дело Божье”».

Ванечка душевно объединил всю эту непростую и многоликую семью. Главной чертой его характера было миротворчество. Он не выносил семейных ссор и старался всех помирить. Чувство любви ко всем людям, которое Толстой с трудом воспитывал в себе, Ванечке было дано от рождения. Он мог расцеловать руки кухаркиного сына Кузьки от радости, что видит его. Он любил устраивать праздники и готовить подарки.

Он говорил отцу: «Папá, никогда не обижай мою маму». И — матери: «Не сердись, мама. Разве не легче умереть, чем видеть, когда люди сердятся...»

Ванечка обладал выдающимися способностями. В шесть лет свободно говорил по-английски, понимал немецкий и французский языки. Он хорошо рисовал, был музыкален, сначала диктовал, а затем сам писал письма родным. Не прожив и семи лет, он оставил художественный рассказ «Спасенный такс», напечатанный Софьей Андреевной после его смерти.

И умирал он необычно... Незадолго до смерти он спросил мать: правда ли, что дети, умершие до семи лет, становятся ангелами? Да — ответила она. «Лучше и мне, мама, умереть до семи лет». У Ванечки не было страха смерти («Не плачь, мама, ведь это воля Божья»). Но при этом на смертном одре он испытывал тоску. Последние его слова были: «Да, тоска».

Его похоронили рядом с братом Алешей на кладбище села Никольского близ Покровского-Стрешнева, где родилась Софья Андреевна. В 1932 году здесь прокладывали

трассу для строительства канала Москва—Волга. Останки детей перезахоронили в Кочаках близ Ясной Поляны, где покоятся члены семьи Толстых. Как рассказывала свидетельница, «гробы были выкопаны из сухого песчаного грунта, и при вскрытии гроба Ванечки поразило, что его голова с локонами была как живая, но буквально на глазах, от соприкосновения с воздухом, кожа лица стала темнеть и волосы осыпались».

Софья Андреевна не могла оправиться от потрясения многие годы. Именно с этого момента началось ее серьезное психическое расстройство. Ее мучили ночные галлюцинации, она уходила в сад и беседовала с мертвым Ванечкой на интимные женские темы. Толстой же сначала не мог определить свое отношение к этой смерти. «Похоронили Ванечку. Ужасное — нет, не ужасное, а великое душевное событие. Благодарю тебя, Отец. Благодарю тебя».

Несколько позже Толстой напишет в дневнике: «Смерть Ванечки была для меня, как смерть Николеньки (старшего брата. — П. Б.), нет, в гораздо большей степени, проявлением Бога, привлечением к Нему. И потому не только могу сказать, что это было грустное, тяжелое событие, но прямо говорю, что это (радостное) — не радостное, это дурное слово, но милосердное от Бога, распутывающее ложь жизни, приближающее меня к Нему событие».

И затем: «Смерть детей с объективной точки зрения: природа пробует давать лучших и, видя, что мир еще не готов для них, берет их назад. Но пробовать она должна, чтобы идти вперед. Это запрос. Как ласточки, прилетающие слишком рано, замерзают. Но им всё-таки надо прилетать. Так Ванечка. Но это объективное дурацкое рассуждение. Разумное же рассуждение то, что он сделал дело Божие: установление царства Божия через увеличение любви — больше, чем многие, прожившие полвека и больше».

Дальше в его дневнике появляется запись: «Да, жить надо всегда так, как будто рядом в комнате умирает любимый ребенок. Он и умирает всегда. Всегда умираю и я».

На третий день после смерти сына он сказал: «В первый раз в жизни я чувствую безвыходность...»

Софья Андреевна утверждала, что именно после смерти Ванечки Лев Николаевич стал стариком.

Тем не менее спустя два с половиной года этот старик предпринимает новую попытку уйти из дома. И на сей раз это не бездумное бегство куда-то «в Америку». Всё очень

серьезно. В июле 1897 года в Ясной Поляне Толстой пишет письмо, которое намерен оставить жене перед тем, как покинуть дом:

«Дорогая Соня,

Уж давно меня мучает несоответствие моей жизни с моими верованиями. Заставить вас изменить вашу жизнь, ваши привычки, к которым я же приучил вас, я не мог, уйти от вас до сих пор я тоже не мог, думая, что я лишу детей, пока они были малы, хоть того малого влияния, которое я мог бы иметь на них, и огорчу вас, продолжать жить так, как я жил эти 16 лет, то борясь и раздражая вас, то сам подпадая под те соблазны, к которым я привык и которыми я окружен, я тоже не могу больше, и я решил теперь сделать то, что я давно хотел сделать, — уйти, во-первых, потому что мне, с моими увеличивающимися годами, всё тяжелее и тяжелее становится эта жизнь и всё больше и больше хочется уединения, и, во 2-х, потому что дети выросли, влияние мое уж в доме не нужно, и у всех вас есть более живые для вас интересы, которые сделают вам мало заметным мое отсутствие...»

Это начало довольно пространного письма. Из него можно сделать весьма интересные выводы. Оказывается, одной из главных причин, почему Толстой не ушел из дома, были дети. Он чувствовал свою ответственность за них, пока они «были малы». После смерти Ванечки ситуация изменилась. Самому младшему из сыновей, Михаилу, в 1897 году исполнилось 18 лет. Старшие Сергей, Илья и Лев к тому времени уже обзавелись своими семьями, а четвертый сын, Андрей, вопреки взглядам отца, осуждавшего службу в армии, избрал военную карьеру и служил вольноопределяющимся на Кавказе.

Сложнее было с дочерьми. Старшей, Татьяне, исполнилось уже 33 года, а она так и не вышла замуж. Главными причинами было увлечение идеями отца и служение ему в качестве помощницы. «Да, это такой соперник моим любовям, которого никто не победил», — пишет она об отце в своем дневнике. Однако женская природа брала свое. Татьяна очень хотелось иметь мужа и детей. В 1899 году она всё-таки вышла за пожилого помещика Михаила Сергеевича Сухотина. Они были давно знакомы и испытывали друг к другу нежные чувства, но Сухотин был женат и имел шестерых детей. В 1897 году его жена умерла. Брак Татьяны с Сухотиным был предпринят.

В июне 1897 года состоялось замужество и самой пре-

данной Толстому дочери, его верной помощницы и секретаря — Марии. Она была убежденной «толстовкой», но при этом страстной и увлекающейся девушкой. Не очень красивая, Мария обладала каким-то невероятным обаянием, влюбляя в себя многих мужчин, которые появлялись в доме Толстых, и даже заводя с ними невинные «романы». В итоге она вышла замуж за своего двоюродного племянника Николая Леонидовича Оболенского, внука своей тетки Марии Николаевны. Он был младше Марии Львовны и беден — как говорили тогда, «гол как сокол». Мальчиком он жил в доме Толстых, потому что его матери Елизавете Валериановне не на что было содержать всех своих детей. И Толстой, и Софья Андреевна были против этого брака. Но Маше очень хотелось замуж.

Толстой болезненно переживал замужество Маши. Вместе с мужем она поселилась в имении Пирогово, где жил старший брат ее отца Сергей Николаевич. Толстой не просто оказался в разлуке с любимой дочерью — он лишился самого верного сторонника и сотрудника в семье.

В это же время происходит невероятная вещь. Софья Андреевна, которой исполнилось 53 года, увлеклась известным композитором, учеником Петра Ильича Чайковского, Сергеем Ивановичем Танеевым. В 1897 году он проводил лето в Ясной Поляне, жил во флигеле, играл с Толстым в шахматы, музицировал и скорее всего даже не догадывался, какие чувства испытывает к нему хозяйка усадьбы. По меркам XIX века это было абсолютное безумие! Объяснить его можно было только тем потрясением, которое пережила Софья Андреевна со смертью Ванечки. В дневнике она пишет, что уходила в сад и советовалась с мертвым Ванечкой, как ей вести себя в отношении Танеева. Между тем Толстой не на шутку ревновал жену. Удивительным образом сюжет «Крейцеровой сонаты», написанной семь лет назад, аукнулся в семье Толстых. Ведь и главный герой «Сонаты» Позднышев ревнует жену к музыканту.

Таким образом, не только «верования» Толстого, но и семейная ситуация подталкивала его к уходу. Сыновья выросли, дочери хотят замуж, жена влюблена в Танеева. Но в письме жене он объясняет уход идейными причинами:

«...как индусы под 60 лет уходят в леса, как всякому старому религиозному человеку хочется последние года своей жизни посвятить Богу, а не шуткам, каламбурам, сплетням, теннису, так и мне, вступая в свой 70-й год, всеми силами

души хочется этого спокойствия, уединения, и хоть не полного согласия, но не кричащего разногласия своей жизни с своими верованиями, с своей совестью...»

Что значит *уйти в леса*? Россия — не тропическая Индия. Для жизни здесь нужен теплый дом. Куда мог уйти Толстой? Где он мог бы жить, кроме Ясной Поляны? Ведь он передал все свои имения и дом в Москве супруге и детям.

Конечно, Толстой был бы желанным гостем в семье Черткова. Но Черткова в феврале 1897 года выслали за границу...

И Толстой остался. Но не уничтожил письмо жене, спрятал в обшивке кресла. Он отсрочил уход, не отказываясь от него. Софья Андреевна прочитает письмо уже после смерти мужа.

В 1899 году Толстой заканчивает работу над третьим после «Войны и мира» и «Анны Карениной» и последним романом — «Воскресение», который писал десять лет с большими перерывами. В основу романа лег рассказ знаменитого юриста и общественного деятеля Анатолия Федоровича Кони, как один из присяжных заседателей во время суда узнал в обвиняемой в краже проститутке девушку, которую когда-то соблазнил. Потрясенный увиденным, он решил на ней жениться и хлопотал об этом, но она умерла в тюрьме. Толстого глубоко взволновала эта история, и он попросил Кони подарить ему этот сюжет. В черновом варианте роман так и назывался — «коневская повесть».

Этот роман писался особенно трудно. Не случайно он трижды на несколько лет бросал работу над ним. Не нравился роман и Софье Андреевне, которая подозревала, что история с соблазненной девушкой носит для ее мужа личный характер. И она была права. В молодости с Толстым случилась та же история, с той лишь разницей, что соблазненная им девушка Гаша не стала проституткой, а служила горничной у его сестры Марии Николаевны.

Тем не менее он всю жизнь казнил себя за этот поступок и в образе князя Нехлюдова в какой-то степени выводил самого себя. Но при этом роман получался настолько морализаторским, что Толстой-художник в данном случае бунтовал против Толстого-моралиста, и работа постоянно стопорилась.

Толчок, заставивший Толстого закончить эту вещь, пришел извне. В 1898—1899 годах Толстой вместе со старшим сыном Сергеем и другом семьи, режиссером и революционером Леопольдом Сулержицким занимался переселением

в Канаду восьми тысяч русских духоборов. Эта религиозная секта подвергалась особым гонениям в России за отказ нести военную службу и публичное сожжение оружия. Духоборов выселяли на Кавказ и в Сибирь, у них отнимали детей, которых они отказывались крестить по православному обряду, в их деревни с карательной миссией отправляли казачьи войска...

Сначала около тысячи духоборов были переселены на Кипр. Но греческий остров совсем не подходил им, традиционно занимавшимся земледелием, по климату и составу почвы. И тогда было принято решение о переселении их в пустынные места Канады, где почвенно-климатические условия были похожи на российские.

Но для этого, как и для помощи голодающим, нужны были деньги, и немалые. Собирать пожертвования через обращение в газеты было невозможно, поскольку секта духоборов считалась запрещенной в России. Часть денег с помощью английских квакеров собрал в Англии Чертков. Другую часть дал Толстой. Ради этого он вынужден был заключить с крупнейшим российским издателем Адольфом Федоровичем Марксом договор о публикации романа «Воскресение» частями в популярнейшем в конце XIX — начале XX века журнале «Нива». Договор этот предусматривал выплату Толстому 12 тысяч рублей, которые и пошли на переселение духоборов. В этом случае Толстой решился на нарушение им же установленного правила — не брать денег за свои сочинения.

И был наказан за это. Маркс торопил Толстого с окончанием романа, постоянно посылая ему письма с напоминанием о присылке очередных глав. Из-за границы на Толстого давил Чертков, настаивая на противоположном — придерживать отсылку глав Марксу, чтобы сам он успел продать рукопись романа иностранным издателям. Ведь Толстой отказался от авторских прав, и то, что уже напечатано, можно было безвозмездно переводить и публиковать. Толстой оказался меж двух огней, раздираемый на части издателем-магнатом и издателем-другом...

В связи с этим пронизательный зять Толстого М. С. Сухотин писал в дневнике: «То заявление, которое Л. Н. давно (в 1891 г.) сделал о том, что его писания принадлежат всем, собственно говоря, ради Черткова потеряло всякий смысл. В действительности писания Л. Н. принадлежат Черткову. Он их у него отбирает, продает их кому находит это более удобным за границу для перевода, настаивает, чтобы Л. Н.

поправил то, что ему, Черткову, не нравится, печатает в России там, где находит более подходящим, и лишь после того, как они из рук Черткова увидят свет, они становятся достоянием всеобщим... Если бы я стал припоминать все те поступки Л. Н., которые вызывали наибольшее раздражение в людях, то оказалось бы, что они были совершены под давлением Черткова. Например, помещение в “Воскресении” главы с издевательством над обедней».

Речь шла о 39-й и 40-й главах романа, где Толстой в сатирическом ключе изобразил главное из церковных таинств — евхаристию или причастие. Это не лучшее, что вышло из-под пера Толстого. В этих главах чувствуется его раздражение, возможно, связанное с тем, что Церковь непосредственно участвовала в гонениях на духовоборов и других сектантов. В России эти главы, конечно, не были напечатаны. Но в английском издании романа на русском языке Чертков восстановил их, что сделало их особенно заметными.

Издательская склока вокруг романа раздражала Толстого. «Тяжелые отношения из-за печатания и переводов “Воскресения”, — пишет он в дневнике, имея в виду конфликт Черткова и Маркса. — Но большей частью спокоен».

Публикация романа не принесла Толстому радости, и потому что он был вынужден взять за нее деньги, и потому что *копирайт*, от которого он отказался, *де-факто* перешел к Черткову.

И проблемы в связи с публикацией возникли очень серьезные.

В 1901 году Толстого отлучили от Церкви.

Отлучение от Церкви

Отлучение Толстого от Церкви — один из самых известных моментов его биографии, вызывающий наибольшие споры. В то же время в событии этом, случившемся более ста лет назад, всё еще много неясного. Популярная точка зрения, что Толстого от Церкви не отлучали, что он сам *отпал* от нее, а Церковь просто вынуждена была этот факт констатировать, является исключительно современным взглядом на этот вопрос.

Верно, что в отношении Толстого не провозглашали анафемы. В начале XX века в России поименно не анафематствовали никого. Последний раз анафеме предавали гет-

мана Мазепу в XVIII столетии. С 1801 года имена еретиков не упоминались в церковных службах. Из списка проклинаемых священниками убрали даже Лжедмитрия I — Григория Отрепьева. Странно было бы, если бы на его месте оказался Толстой!

Тем не менее, читая газеты, мемуары и частную переписку начала XX века, мы крайне редко встречаем в них слово «отпадение». Все писали именно об «отлучении». Все прекрасно понимали, о чем идет речь. «Определение» Святейшего синода от 22—24 февраля 1901 года было *отлучением* подданного православной империи от православной Церкви со всеми вытекающими из этого последствиями. Этим «Определением» Толстой объявлялся *персоной нон грата* в православном государстве до того момента, пока не раскается в своих убеждениях. И не будем забывать, что «хула» на Духа Святого, Иисуса Христа и Деву Марию, которая была прописана в «Определении» как взгляды Толстого, считалась *государственным преступлением*.

Однако Толстого не сажали в тюрьму, не отправляли в Сибирь и даже не высылали в Англию, как его друга Черткова. Он жил в Ясной Поляне и продолжал писать о Церкви в еще более резких выражениях, чем до «Определения». Но сажали в тюрьмы и ссылали на Кавказ и в Сибирь тех, кто разделял его взгляды. И это было худшей казнью для Толстого, придуманной Победоносцевым, но принесшей совсем не те плоды, на какие он рассчитывал. Запрещение религиозных произведений Толстого в России и преследование распространявших эти взгляды способствовали широкой популяризации идей Толстого, в которых видели скрываемую государством и официальной Церковью правду. Так что главным популяризатором Толстого стал... Победоносцев.

С начала восьмидесятых годов виднейшие церковные лица — архимандрит Антоний (Храповицкий), архиепископ Херсонский и Одесский Никанор (Бровкович), архиепископ Харьковский и Ахтырский Амвросий (Ключарев), архиепископ Казанский и Свяжский Павел (Лебедев), известные священники, профессора духовных академий — публично спорили со взглядами Толстого, когда еще ни одно из его религиозных сочинений не было напечатано даже за границей. Библиография статей и книг, направленных против взглядов Толстого еще до вынесения «Определения», насчитывает около двухсот наименований.

После публикации в «Церковных ведомостях» «Опреде-

ления» об «отпадении» Толстого от Церкви поток церковной критики не только не уменьшился (о чем говорить, если человек сам «отпал»?), но вырос в геометрической прогрессии. Ведь появился повод говорить еще и об «отпадении», которое почему-то сами же критики упорно называли «отлучением». Эта «ошибка» вкралась даже в сборник статей «Миссионерского обозрения» под названием «По поводу отпадения от Церкви гр[афа] Л. Н. Толстого», составленный советником Победоносцева Василием Михайловичем Скворцовым. В разделе «Содержание» эта книга названа «Сборником статей по поводу *отлучения* гр. Толстого».

Спор Толстого с Церковью или Церкви с Толстым с самого начала представлял собой образец «испорченной коммуникации». Толстой видел себя в роли обвинителя Церкви, которая должна покаяться в своих грехах: инквизиции, оправдании войн и смертных казней и т. д. Но в итоге сам оказался в роли обвиняемого, да еще и без права свободного голоса. В результате о «вредном» учении Толстого широкая публика узнавала со стороны обвинения, которую Толстой считал стороной обвиняемой.

Это породило множество проблем, которые Синод вынужден был разрешить своим «Определением». Необходимо было перед всей Россией (и прежде всего православного духовенства, которое в лице приходских батюшек тоже начинало увлекаться идеями Толстого) обозначить принципиальное расхождение Церкви с Толстым. И хотя расхождение это было многократно обозначено в статьях церковных публицистов и проповедях известных священников (скажем, отца Иоанна Кронштадтского), в этом вопросе всё еще продолжала оставаться неясность.

Процесс отлучения Толстого от Русской православной церкви проходил в несколько этапов. Впервые этот вопрос возник в 1888 году, когда архиепископ Никанор в письме редактору журнала «Вопросы философии и психологии» Николаю Яковлевичу Гроту сообщил, что в Синоде готовится проект «анафемы» (!) Толстому. Толстой был не единственным кандидатом на «анафему». В список попали поэт Константин Михайлович Фофанов и сектант Василий Александрович Пашков. Однако текст этого проекта неизвестен.

В 1891 году харьковский протоиерей Тимофей Иванович Буткевич в десятую годовщину царствования императора Александра III произнес слово «О лжеучении графа Л. Н. Толстого», где цитировал апостола Павла: «Но если бы

даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Эта проповедь не имела бы серьезного значения, если бы о ней не написали газеты. Церковные проповеди против Толстого к тому времени были нередким явлением. Так, юрист и друг семьи Толстых Александр Владимирович Жиркевич 10 декабря 1891 года пишет в дневнике: «Невероятно! М-те Крестовская говорила мне, что будто бы отец Иоанн Кронштадтский во время “глухой исповеди”^{*} проклял Толстого, его учение и его последователей. Впрочем, наши священники способны и на такую нелепость; но как-то не верится, чтобы о. Иоанн, о доброте и милосердии которого ходят легенды, — сказал подобную нехристианскую пошлость».

В феврале 1892 года разразился скандал с публикацией в английской газете «Дейли телеграф» статьи Толстого «О голоде». Она была запрещена в России, но выдержки из нее в обратном переводе с английского были помещены в «Московских ведомостях» с таким комментарием от редакции: взгляды Толстого «являются открытою пропагандой к ниспровержению всего существующего во всём мире социального и экономического строя». Это был откровенный донос, который дошел до императора. Александр III приказал «не трогать» Толстого. Но при этом упорно ходила молва, что его хотят сослать в Суздальский монастырь «без права писать». Об этом сообщает в дневнике Софья Андреевна: «Наконец я стала получать письма из Петербурга, что надо мне спешить предпринять что-нибудь для нашего спасения, что нас хотят сослать и т. д.». А. В. Жиркевич также пишет в дневнике: «Про Толстого ходят в обществе самые безобразные слухи... вроде того что он заключен в Соловки».

Сегодня это звучит довольно абсурдно. Но суздальский Спасо-Евфимиев монастырь с XVIII века был местом заточения религиозных преступников. Например, там отбывали наказание старообрядческие епископы Аркадий, Конон и Геннадий; Толстой в 1879 году просил свою тетюшку Александру Андреевну походатайствовать за них перед им-

^{*} Глухая исповедь — таинство покаяния, совершаемое над человеком, из-за болезни или по какой-либо иной причине лишенным возможности отвечать на вопросы исповедующего. В данном случае Жиркевич имеет в виду знаменитые «общие исповеди», которые устраивал популярный священник отец Иоанн Кронштадтский, поскольку не имел возможности исповедовать многочисленных желающих по отдельности.

ператрицей: «Просьба через нее к Государю за трех стариков, раскольников архиереев (одному 90 лет, двум около 60, четвертый умер в заточении), которые 23 года сидят в заточении в Суздальском монастыре».

Но слухи о наказании Толстого так и остались слухами. На самом деле у православных иерархов не было единодушия в отношении его.

В марте 1892 года Толстого в Москве посетил архимандрит Антоний (Храповицкий) — наиболее серьезный и последовательный его оппонент в печати. Подробности этой встречи неизвестны. Но в апреле Софья Андреевна писала мужу: «Вчера Грот принес письмо Антония, в котором он пишет, что митрополит здешний хочет тебя торжественно отлучить от Церкви. — Вот еще мало презирают Россию за границей, а тут, я воображаю, какой бы смех поднялся! Сам Антоний хвалит очень “Первую ступень” (статью Толстого. — П. Б.) и умно и остроумно отзываясь о ней и об отношении к этой статье митрополита и духовенства».

Встреча с Антонием, по-видимому, не произвела на Толстого сильного впечатления. Но как человек он Льву Николаевичу понравился. Студенту Московской духовной академии, будущему «толстовцу» Ивану Михайловичу Трегубову он пишет: «Очень бы желал быть в единении с Вами и с милым Антонием Храповицким, но не могу не признавать всего, что у вас делается и пишется, и очень глупым, и очень вредным. И, кроме того, делая свое дело, не могу к несчастью оставаться вполне, как бы мне хотелось — индифферентным к этой всей деятельности, потому что всё это губит самое драгоценное в людях — их разумное сознание...» А в письме своему последователю, князю Дмитрию Александровичу Хилкову, высказывается об отце Антонии более жестко: «Он в Москве приходил ко мне. И он жалок. Он находится под одним из самых страшных соблазнов людских — учительства... А вместе с тем человек по характеру добрый, воздержанный и желающий быть христианином...»

Двадцать шестого апреля 1896 года Победоносцев сообщает в письме своему другу Сергею Александровичу Рачинскому: «Есть предположение в Синоде объявить его (Толстого. — П. Б.) отлученным от Церкви во избежание всяких сомнений и недоразумений в народе, который видит и слышит, что вся интеллигенция поклоняется Толстому».

Это очень характерный «почерк» Победоносцева — уклончивый, безличный. «Есть предположение...» В. М. Сковор-

цов вспоминал, что его патрон «был против известного синодального акта и после его опубликования остался при том же мнении. Он лишь уступил или, вернее, допустил и не воспротивился, как он это умел делать в других случаях, осуществить эту идею». Говоря проще, Победоносцев «умывал руки», возлагая всю ответственность за принятие решения на Синод. Но он-то был обер-прокурором Синода!

Впрочем, Константина Петровича можно понять. Он не был священником, как все остальные члены Синода, и не мог навязать это решение Церкви. К тому же его личная позиция в этом вопросе была туманной. Если верить Сковрцову, Победоносцев не только был против отлучения Толстого, но и не хотел вообще никаких ответных мер церковной власти по отношению к этому «еретику», исходя из своего, надо признать, весьма мудрого мнения: «глядишь, старик одумается, ведь он, колобродник и сам никогда не знает, куда придет и на чем остановится».

Когда незадолго до февральских событий 1901 года Толстой серьезно заболел, Сковрцов доложил Победоносцеву о письме московского священника с вопросом, петь ли в храме «со святыми упокой», если Толстого не станет. Победоносцев хладнокровно сказал: «Ведь ежели эдаким-то манером рассуждать, то по ком тогда и петь его (священника) “со святыми упокой”. Мало еще шуму-то около имени Толстого, а ежели теперь, как он хочет, запретить служить панихиды и отпевать Толстого, то ведь какая поднимется смута умов, сколько соблазну будет и греха с этой смутой? А по-моему, тут лучше держаться известной поговорки: не тронь...»

Не только Победоносцев, но и весь Синод достаточно долго уклонялся от принятия окончательного решения. Наконец, в ноябре 1899 года архиепископ Харьковский и Ахтырский Амвросий напечатал в журнале «Вера и Церковь» проект «отлучения» Толстого. В предисловии к публикации говорилось, что после выхода романа «Воскресение» Амвросия посетил первенствующий член Святейшего синода митрополит Киевский Иоанникий (Руднев). По его совету было решено, что Амвросий «возбудит» в Синоде вопрос о Толстом. Но никаких следов «возбуждения» или обсуждения в Синоде «вопроса о Толстом» не имеется.

В марте 1900 года, в начале Великого поста, когда Церковь отмечает Неделю Торжества Православия и произно-

сит анафему еретикам*, от митрополита Иоанникия всем епископам было отправлено «циркулярное письмо» по поводу возможной смерти Толстого в связи с разговорами о его тяжелой болезни. В письме говорилось, что, поскольку многие почитатели Толстого знакомы с его взглядами только по слухам, они, возможно, будут просить священников в случае смерти писателя служить панихиды по нему, а между тем он является *врагом Церкви*. «Таковых людей Православная Церковь торжественно, в присутствии верных своих чад, в Неделю Православия объявляет чуждыми церковного общения». Поэтому совершение заупокойных литургий и поминовений Толстого Святейший синод воспрещал. Но никакого официального решения на этот счет напечатано не было. Запрещение отпевать Толстого было произнесено *подспудно*, а не «в присутствии верных чад». Это породило новые проблемы. Если Толстой умрет, а молиться за него в храме нельзя, то на основании чего? Циркулярного письма?

Толстой остался жив, зато в июне 1900 года скончался сам престарелый митрополит Иоанникий. Первенствующим членом Синода стал 54-летний митрополит Санкт-Петербургский Антоний (Вадковский). В церковных кругах он считался «либералом». Например, он был категорически против сращивания Церкви и государственной власти.

Едва ли митрополит Антоний искренне хотел отлучения Толстого. Но в этой истории он оказался «крайним». В феврале 1901 года он пишет Победоносцеву: «Теперь в Синоде все пришли к мысли о необходимости обнародования в “Церковных Ведомостях” синодального суждения о гра-

* Праздник Торжества Православия отмечается в первое воскресенье Великого поста и связан с Константинопольским собором 843 года, созданным для восстановления иконопочитания в Византии. Служба знаменует торжество Церкви над всеми ересями и расколами. Особое место в ней занимает чин анафематствования. В России чин Торжества Православия был введен в XIV веке и состоял из греческого синодика с прибавлением имен новых еретиков, например Кассиана, архимандрита новгородского Юрьева монастыря. Затем прибавились имена Стеньки Разина, Гришки Отрепьева, протопопа Аввакума и др. Всех анафематствований было 20, а имен — до четырех тысяч. В конце XVIII столетия чин Торжества Православия исправил и дополнил митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Гавриил, из него было исключено множество имен. После существенного сокращения в 1801 году в нем перечислялись ереси без упоминания имен, а в 1869-м из него были убраны имена государственных преступников.

фе Толстом. Надо бы поскорее это сделать. Хорошо было бы напечатать в хорошо составленной редакции синодальное суждение о Толстом в номере “Церковных Ведомостей” будущей субботы, 17 марта, накануне Недели Православия. Это не будет уже суд над мертвым, как говорят о секретном распоряжении (письме Иоанникия. — П. Б.), и не обвинение без выслушания оправдания, а “предостережение” живому».

Митрополит Антоний фактически получил «в наследство» от предшественника на месте первенствующего члена Синода готовое отлучение Толстого, но вынесенное секретно. И это отлучение было уготовано больному старику в ожидании его скорой смерти. Этот неприятный момент не устраивал архиерея. Он решил сделать тайное явным: открыть перед обществом и прежде всего перед священниками то, что медленно и подспудно (заметим, без его прямого участия) вызревало в недрах Синода.

Поступок митрополита Антония вызывает уважение. Именно он взял на себя ответственность в решении этого затянувшегося вопроса и предал гласности то, что происходило за закрытыми дверями. Но самое главное, он поспешил вывести этот вопрос из неприятного контекста заочного «суда над мертвым». Если бы Толстой действительно умер, то секретное письмо осталось бы единственным церковным документом, который навеки зафиксировал бы последнее слово Церкви о Толстом: не отпевать «врага», не молиться о его душе — вот что главное!

Обратим внимание на последнюю фразу «Определения», составленного под редакцией митрополита Антония: «Посему, свидетельствуя об отпадении его от Церкви, вместе и молимся, да подаст ему Господь покаяние и разум истины. Молим ти ся милосердный Господи, не хотяй смерти грешных, услыши и помилуй, и обрати его ко святой Твоей Церкви. Аминь».

Реакция Победоносцева на письмо Антония была неожиданной. Он сам, своей рукой написал очень жесткий проект *отлучения* Толстого от Церкви, который фактически означал предание анафеме. Этот проект был тщательно отредактирован членами Синода во главе с Антонием. Из него не только убрали термин «отлучение», заменив «отпадением», но и придали всему документу совершенно иной эмоциональный характер. Церковь не просто констатировала — она *скорбела* об отпадении от нее великого русского писателя. Она молилась за его душу в надежде на его раска-

яние и возвращение. Митрополит Антоний сделал всё возможное, чтобы перевести вопрос в ситуацию «прерванного общения».

В этом акте не было ничего жестокого, средневекового. Больше того, это был принципиально новый поступок Русской православной церкви в отношении еретика *такого масштаба*, который, конечно же, был ей опасен. Ведь он смущал не только интеллигенцию, но и народ, и даже священников. Все признавали, что «Определение» написано «умно». В нем не было и намека на «расправу» над Толстым. Наконец, в нем не было ни одной строчки, которая была бы ложью по отношению к его взглядам.

Мягкость «Определения» удивила и самого Толстого. Когда он узнал о нем, первый вопрос, который он задал: провозглашена ли анафема? Узнав, что нет, Толстой был недоволен. Он мечтал *пострадать* за свои убеждения. Так, разговаривая с К. Н. Леонтьевым незадолго до его смерти, он просил его: «Напишите, ради Бога, чтоб меня сослали. Это моя мечта».

В «Ответе» Толстого Синоду чувствуется его недовольство «двусмысленностью» «Определения». Если бы его торжественно провозгласили *еретиком* — это одно дело. Это было бы объявление войны. Но его называли *блудным сыном*. Толстой болезненно переживал этот момент *одиночества*. Одно из его главных возражений оппонентам: Синод «обвиняет одного меня в неверии во все пункты, выписанные в постановлении, тогда как не только многие, но почти все образованные люди в России разделяют такое неверие и беспрестанно выражали и выражают его и в разговорах, и в чтении, и в брошюрах и книгах...».

«Ответ» Толстого на «Определение» Синода — это не возражение на официальный документ, с которым он согласен или не согласен, но глубокое личное высказывание по вопросу, который был для него главным, — *вопросу о смерти*. В отличие от широкой публики, которая смеялась над «Определением», рукоплескала Толстому и осыпала букетами его репинский портрет на XXIV Передвижной выставке в марте 1901 года, Толстой прекрасно понимал, что стоит на кону в его споре с Церковью. «Мои верования, — писал он в «Ответе», — я так же мало могу изменить, как свое тело. Мне надо самому одному жить, самому одному и умереть (и очень скоро), и потому я не могу никак иначе верить, как так, как я верю, готовясь идти к тому Богу, от Которого изошел. Я не говорю, чтобы моя вера была одна

несомненно на все времена истинна, но я не вижу другой — более простой, ясной и отвечающей всем требованиям моего ума и сердца; если я узнаю такую, я сейчас же приму ее, потому что Богу ничего, кроме истины, не нужно. Вернуться же к тому, от чего я с такими страданиями только что вышел, я уже никак не могу, как не может летающая птица войти в скорлупу того яйца, из которого она вышла».

Двадцать четвертого февраля 1901 года Толстой вместе с директором московского Торгового банка Александром Никифоровичем Дунаевым шел по Лубянской площади. Дунаев вспоминал: «Кто-то, увидав Л. Н., сказал: “Вот он, дьявол в образе человека”. Многие оглянулись, узнали Л. Н., и начались крики: “Ура, Л. Н., здравствуйте, Л. Н.! Привет великому человеку! Ура!”».

Но Толстого это не радовало. Еще меньше это нравилось Софье Андреевне. Ее дети под влиянием отца отпадали от православия. И она понимала, что «Определение» сыграет в этом смысле отрицательную роль, потому что молодежь будет «за Толстого». Именно после публикации «Определения» прозвучал первый протест со стороны шестнадцатилетней дочери Толстых Саши, которая отказалась пойти с матерью к всенощной в конце Великого поста. «Я даже заплакала, — пишет Софья Андреевна в дневнике. — Она пошла к отцу советоваться, он сказал ей: “Разумеется, иди и, главное, не огорчай мать”».

В то же время Софья Андреевна не могла не задумываться над тем, каким образом будет похоронен ее муж. Широко известно, что Толстой завещал похоронить себя без церковного обряда, закопав тело в яснополянском лесу на том месте, где брат Николенька в детстве спрятал «зеленую палочку». Но далеко не всем известно, что это распоряжение сделано Толстым лишь в самом конце жизни, уже после синодального «Определения». В 1901 году оставалось в силе завещание 1895 года, в котором он просил похоронить себя «на самом дешевом кладбище, если это в городе, и в самом дешевом гробу — как хоронят нищих. Цветов, венков не класть, речей не говорить. Если можно, то без священника и отпеванья. *Но если это неприятно тем, кто будет хоронить, то пускай похоронят и как обыкновенно с отпеванием* (курсив мой. — П. Б.)...». А вот в варианте завещания 1908 года Толстой уже настаивает, чтобы «никаких не совершали обрядов при закопании в землю моего тела. Деревянный гроб, и кто хочет, снесет или свезет его в Заказ (лес в имении Ясная Поляна) против оврага».

В завещании 1895 года Толстой оставлял семье возможность похоронить его по православному обряду, как хоронили всех его предков и умерших детей. Письмо Иоанникия епископам этой возможности лишало. «Определение» Синода, при всей его мягкости, закрепляло это положение до *покаяния* Толстого. Но Софья Андреевна хорошо знала упрямый характер своего мужа.

Репетиция смерти

Осенью 1901 года из-за ухудшающегося здоровья Толстой с семьей переезжает в Крым, в Гаспру, на виллу, предоставленную поклонницей писателя графиней Софьей Владимировной Паниной. Но этот переезд только ухудшил самочувствие писателя. У него открылось воспаление легких, которое в его возрасте было смертельной болезнью.

Двадцать шестого января 1902 года жена Толстого записывает в дневнике: «Мой Лёвочка умирает».

Толстой «умирал» тяжело. Кроме физических мук он испытывал то, что называется смертной тоской. «Он не жалуется никогда, но тоскует и мечется ужасно», — пишет Софья Андреевна. Он потерял чувство времени. В бреду ему виделся горящий Севастополь.

В Гаспре собрались все сыновья Толстых, чтобы проститься с отцом. Илья Львович в воспоминаниях описал это трогательное прощание:

«Почувствовав себя слабым, он пожелал со всеми проститься и по очереди призывал к себе каждого из нас, и каждому он сказал свое напутствие. Он был так слаб, что говорил полупшепотом, и, простившись с одним, он некоторое время отдыхал и собирался с силами. Когда пришла моя очередь, он сказал мне приблизительно следующее: “Ты еще молод, полон и буруеваем страстями. Поэтому ты еще не успел задумываться над главными вопросами жизни. Но время это придет, я в этом уверен. Тогда знай, что ты найдешь истину в евангельском учении. Я умираю спокойно только потому, что я познал это учение и верю в него. Дай Бог тебе это понять скорее”.

Я поцеловал ему руку и тихонько вышел из комнаты. Очутившись на крыльце, я стремглав кинулся в уединенную каменную башню и там в темноте разрыдался, как ребенок... Когда я огляделся, я увидел, что около меня, на лестнице, кто-то сидел и тоже плакал».

Но как только Толстой приходил в себя, он начинал диктовать окружающим записи в свой дневник.

«Ценность старческой мудрости возвышается, как брильянты, каратами: самое важное на самом конце, перед смертью. Надо дорожить ими, выражать и давать на пользу людям».

«Говорят: будущая жизнь. Если человек верит в Бога и закон Его, то он верит и в то, что он живет в мире по Его закону. А если так, то и смерть происходит по тому же закону и есть только возвращение к Нему».

«Ничто духовное не приобретается духовным путем: ни религиозность, ни любовь, ничто. Духовное всё творится матерьяльной жизнью, в пространстве и времени. Духовное творится делом».

Толстой не боится смерти. Смерть — это окончательное освобождение от эгоистического «я». «Единственное спасение от отчаяния жизни — вынесение из себя своего “я”». И человек естественно стремится к этому посредством любви. Но любовь к смертным тварям не освобождает. Одно освобождение — любовь к Богу. Возможна ли она? Да, если признавать жизнь всегда благом, наивысшим благом, тогда естественна благодарность к источнику истины, любовь к Нему и потому любовь безразлично ко всем, ко всему, как лучи солнца...»

Толстой «умирает» религиозным человеком. Но в нем нет никаких признаков примирения с Церковью. «Спокойные смерти под влиянием церковных обрядов подобны смерти под морфином», — диктует Толстой. А в это время ему делают инъекции морфия, чтобы избавить от физических мук. «Очнитесь от гипноза, — говорит он о духовенстве. — Задайте себе вопрос: что бы вы думали, если [бы] родились в другой вере? Побойтесь Бога, который дал вам разум не для затемнения, а выяснения истины».

Митрополит Петербургский Антоний отправляет в Крым телеграмму Софье Андреевне. «Неужели, графиня, не употребите Вы всех сил своих, всей любви своей к тому, чтобы воротить ко Христу горячо любимого Вами, всю жизнь лелеянного, мужа Вашего? Неужели допустите умереть ему без примирения с Церковью, без напутствования Таинственную трапезою тела и крови Христовых, дающего верующей душе мир, радость и жизнь? О, графиня! Умолите графа, убедите, упросите сделать это! Его примирение с Церковью будет праздником светлым для всей Русской

земли, всего народа русского, православного, радостью на небе и на земле».

В среде «толстовцев» телеграмма была воспринята как провокация, задуманная Победоносцевым: будто бы тот отдал приказ крымскому священнику после смерти Толстого войти в дом, а на выходе ложно объявить, что Толстой раскаялся и вернулся в лоно Церкви. Софья Андреевна решила иначе. Она сообщила мужу о телеграмме митрополита.

«Я сказала Лёвочке об этом письме, и он мне сказал, было, написать Антонию, что его дело теперь с Богом, напиши ему, что моя последняя молитва такова: “От Тебя изошел, к Тебе иду. Да будет воля Твоя”. А когда я сказала, что если Бог пошлет смерть, то надо умирать, примирившись со всем земным, и с Церковью тоже, на это Л. Н. мне сказал: “О примирении речи быть не может. Я умираю без всякой вражды или зла, а что такое Церковь? Какое может быть примирение с таким неопределенным предметом?” Потом Л. Н. прислал мне Таню (дочь. — П. Б.) сказать, чтоб я ничего не писала Антонию».

Могучий организм Толстого и неусыпная забота жены и близких победили болезнь. Но Крым не отпускал Толстого. 1 мая 1902 года он заболел еще и брюшным тифом. После только что перенесенного воспаления легких справиться с тифом 73-летнему старику при крайне низких возможностях медицины того времени казалось невыполнимым. Толстой выздоровел в течение месяца. Это было биологическое чудо — но и заслуга, не столько медицины, сколько Софьи Андреевны и старшей дочери Татьяны, посменно круглосуточно дежуривших возле постели больного.

Зима и весна 1902 года стали для Толстого вторым «крымским экзаменом» после его участия в обороне Севастополя в 1854—1855 годах. Оба раза он оказывался в положении, когда между жизнью и смертью было расстояние одного шага, одного мгновения. Но второй экзамен был куда труднее. Одно дело — храброе поведение на войне, да еще и в молодые годы, и совсем другое — две смертельные болезни подряд, перенесенные в старости. После второго выздоровления Софья Андреевна с болью пишет в дневнике: «Бедный, я видеть его не могу, эту знаменитость всемирную, — а в обыденной жизни худенький, жалкий старичок».

Но этот «старичок» выдержал испытание, которому подверглись его взгляды. На краю могилы самые отчаян-

ные атеисты обращаются к Церкви, хватаются за нее, как за спасительную соломинку. С Толстым этого не произошло. Он не смирился. Но это был не бунт, а подтверждение тех слов, которые он писал в «Ответе» Синоду: «Вернуться же к тому, от чего я с такими страданиями только что вышел, я уже никак не могу».

Завещание

Толстой написал шесть завещаний — в 1895, 1904, 1908, 1909 (два) и 1910 годах. Свое первое *неформальное* завещание он оставил в виде дневниковой записи.

Двадцать первого февраля 1895 года умер Н. С. Лесков. В записке «Моя посмертная просьба» он просил похоронить его «по самому низшему, последнему разряду». Толстой знал об этой записке и, размышляя о ней 27 марта, решил сделать свое предсмертное распоряжение.

«Мое завещание приблизительно было бы такое. Пока я не написал другого, оно вполне такое».

Он просит похоронить его «на самом дешевом кладбище и в самом дешевом гробу — как хоронят нищих. Цветов, венков не класть, речей не говорить». Он просит не писать о нем некрологов. Бумаги свои завещает жене, Черткову и Страхову (сначала и дочерям — Тане и Маше, но потом зачеркнул с припиской: «Дочерям не надо этим заниматься»). Сыновьям не дает никакого поручения — они «не вполне знают мои мысли, не следили за их ходом и могут иметь свои особенные взгляды на вещи, вследствие которых они могут сохранить то, что не нужно сохранять, и отбросить то, что нужно сохранить».

Дневники холостой жизни сначала просит уничтожить — «...не потому, что я хотел бы скрыть от людей свою дурную жизнь... но потому, что эти дневники, в которых я записывал только то, что мучало меня сознанием греха, производят одностороннее впечатление». Но потом советует сохранить: «Из них видно, по крайней мере, то, что, несмотря на всю пошлость и дрянность моей молодости, я всё-таки не был оставлен Богом и хоть под старость стал хоть немного понимать и любить Его».

Толстой просит своих наследников отказаться от прав на сочинения, которые через письмо в газеты он оставил в распоряжение жены, то есть написанные до 1881 года. Это именно *просьба*, а не распоряжение. «Сделаете это — хоро-

шо. Хорошо будет это и для вас, не сделаете — ваше дело. Значит, вы не могли этого сделать».

При этом Толстой искренне убежден, что его «завещание» имеет какой-то юридический смысл. Например, он уверен, что его письмо в газеты об отказе от авторских прав сохранит силу и после его смерти, а значит, и после его смерти издатели смогут безвозмездно публиковать его тексты.

Прожив на свете без малого 70 лет, он понимал в юридических вопросах не больше малого ребенка. Ему и в голову не приходило, что письмо об отказе от авторских прав имеет законную силу только до тех пор, пока жив автор, который сам отказывается получать от издателей гонорары, но после его смерти его права перейдут к законным наследникам, тем, кого он укажет не в дневнике, а в *формальном* завещании, написанном при свидетелях, либо заверенном нотариусом. Если же такого завещания не будет, то права автоматически перейдут к его вдове и всем детям.

Этого не понимали ни он сам, ни члены семьи, что породило жуткую чехарду с завещанием, которая напоминает детективную историю.

Копия с завещания 1895 года была сделана дочерью Марией Львовной в 1901-м тайно от матери. Софья Андреевна знала об этой записи, но забыла о ней. Дневник 1895 года она вкупе с другими рукописями мужа поместила на хранение в Румянцевский музей. Маша не показала ей этот текст, скопированный ею и подписанный Толстым. Она боялась реакции матери.

Но после Крыма скрывать завещание было сложно. Крымская история показала, что Толстой может умереть в любой момент. В октябре 1902 года о завещании стало известно Софье Андреевне, и она была возмущена.

«Мне это было крайне неприятно, когда я об этом случайно узнала, — пишет она в дневнике. — Отдать сочинения Льва Николаевича в *общую* собственность я считаю и дурным и бессмысленным. Я люблю свою семью и желаю ей лучшего благосостояния, а передав сочинения в общественное достояние, мы наградим богатые фирмы издательские, вроде Маркса, Цетлина и другие. Я сказала Л. Н., что если он умрет раньше меня, я *не* исполню его желания и *не* откажусь от прав на его сочинения, и если б я считала это хорошим и справедливым, я при жизни его доставила бы

ему эту радость отказа от прав, а после смерти это не имеет уже смысла для него».

Это была ее роковая ошибка! Фактически жена заявила мужу, что не исполнит его предсмертного распоряжения, которое он считал *самым важным*. Не откажется от прав даже на те сочинения, которые были написаны им после духовного переворота.

Софья Андреевна потребовала у мужа, чтобы он забрал завешание у Маши и отдал ей. И Толстой не смог ей отказать. Маша возмущалась поступком матери.

Причин, по которым Софья Андреевна не приняла завешания мужа, несколько. Во-первых, она была обижена на него и на дочь. Во-вторых, в это время она задумала издание нового собрания сочинений Толстого и вложила в это дело свои 50 тысяч рублей. Если бы вдруг Толстой умер и в газетах появилось бы его завешание в пользу всех, Софья Андреевна потерпела бы финансовый крах. Так она думала, тоже не понимая юридической стороны вопроса.

В июле 1902 года к ней приезжал владелец издательства «Просвещение» Натан Сергеевич Цетлин с предложением выкупить «на вечное владение» права Софьи Андреевны на ранние произведения мужа за миллион рублей. Жена Толстого отказала ему. И вдруг выяснилось, что, когда она отказывалась от этой огромной суммы, за ее спиной дочь интриговала с завешанием отца, собираясь лишить мать последних доходов от произведений Толстого.

Но в истории с литературным наследством Толстого был еще один важный фигурант — Чертков. По завешанию 1895 года его права на наследство уравнивались с правами Софьи Андреевны и Страхова. В январе 1896 года Страхов умер. Душеприказчиками Толстого остались его жена и духовный друг, которые к тому времени уже были в состоянии войны.

Через год Черткова выслали в Англию. Более чем на десять лет он был лишен возможности прямого общения с Толстым — только в письмах. При этом Софья Андреевна постоянно находилась рядом с мужем. Но именно это парадоксальным образом усилило позиции Черткова как душеприказчика. Во-первых, в глазах Толстого он пострадал за его, Толстого, взгляды. Во-вторых, он искренне собирался неукоснительно выполнить волю учителя во всем, что касалось отказа от литературных прав. Проблема была в другом. *Кто* — жена или духовный друг — будет на законных основаниях «безвозмездно» или за деньги передавать

издателям не напечатанные при жизни сочинения Толстого, его дневники, письма?

В мае 1904 года Чертков, находясь в Англии, пытается узаконить свое положение «духовного душеприказчика» (его выражение). Понимая, что сделать это *юридически* в тайне от семьи писателя невозможно, он посылает в Ясную Поляну со своим секретарем, англичанином Бриггсом, «вопросник». Вопросы Черткова были напечатаны на машинке, ответы написаны рукой Толстого.

«1. Желаете ли Вы, чтобы заявление Ваше в “Русских ведомостях” от 16 сентября 1891 г. оставалось в силе и в настоящее время, и после Вашей смерти?»

Желаю, чтобы все мои сочинения, написанные с 1881 года, а также, как и те, которые останутся после моей смерти, не составляли бы ничьей частной собственности, а могли бы быть перепечатываемы и издаваемы всеми, кто этого захочет.

2. Кому Вы желаете, чтобы было предоставлено окончательное решение тех вопросов, связанных с редакцией и изданием Ваших посмертных писаний, по которым почему-либо не окажется возможным полное единогласие?

Думаю, что моя жена и В. Г. Чертков, которым я поручал разобрать оставшиеся после меня бумаги, придут к соглашению, что оставить, что выбросить, что издавать и как.

3. Желаете ли Вы, чтобы и после Вашей смерти, если я Вас переживу, оставалось в своей силе данное Вами мне письменное полномочие как единственному Вашему заграничному представителю?

Желаю, чтобы и после моей смерти В. Г. Чертков один распоряжался бы изданием и переводами моих сочинений за границею.

4. Предоставляете ли Вы мне и после Вашей смерти в полное распоряжение по моему личному усмотрению как для издания при моей жизни, так и для передачи мною доверенному лицу после моей смерти все те Ваши рукописи и бумаги, которые я получил и получу от Вас до Вашей смерти?

Передаю в распоряжение В. Г. Черткова все находящиеся у него мои рукописи и бумаги. В случае же его смерти полагаю, что лучше передать эти бумаги и рукописи моей жене или в какое-нибудь русское учреждение — публичную библиотеку, академию.

5. Желаете ли Вы, чтобы мне была предоставлена возможность пересмотреть в оригинале все решительно без

изъятия Ваши рукописи, которые после Вашей смерти окажутся у Софьи Андреевны или у Ваших семейных?

Очень желал бы, чтобы В. Г. Чертков просмотрел бы все оставшиеся после меня рукописи и выписал бы из них то, что он найдет нужным для издания».

Это письмо было вторым *неформальным* завещанием Толстого. Оно также не имело юридического значения, потому что Толстой продолжал настаивать, чтобы права на сочиненное им после 1881 года принадлежали всем. Тем не менее оно любопытно как новое волеизъявление Толстого. Он распространил права Черткова на *все* рукописи, в том числе и на те, что находились у жены. Права на свое рукописное наследие, находящееся у Черткова за границей, он передавал одному Черткову. Софья Андреевна могла получить эти рукописи только в случае смерти Черткова, но при желании тот мог завещать их любой публичной библиотеке. О том же, чтобы передать рукописи детям, не было ни слова...

По сути, единственным наследником и распорядителем рукописей в этом завещании провозглашался Чертков. Жене отводилась скромная роль помощницы и посредницы в передаче ему всех рукописей мужа. Но за ней еще оставались литературные права на сочинения, созданные до 1881 года.

Это письмо было написано Толстым под давлением Черткова. Он хотел угодить духовному другу, но делать это было тягостно. Тягостно настолько, что во втором письме, которое Чертков спрятал и хранил у сына под грифом «секретно» (оно было напечатано лишь в 1961 году!), Толстой писал: «Не скрою от Вас, любезный друг Владимир Григорьевич, что Ваше письмо с Бриггсом было мне неприятно... Неприятно мне не то, что дело идет о моей смерти, о ничтожных моих бумагах, которым приписывается ложная важность, а неприятно то, что тут есть какое-то обязательство, насилие, недоверие, недоброта к людям. И мне, я не знаю как, чувствуется *втягивание меня* в неприязненность, в делание чего-то, что может вызвать зло. Я написал свои ответы на Ваши вопросы и посылаю. Но если Вы напишете мне, что Вы их разорвали, сожгли, то мне будет очень приятно».

Чертков это опасное для него письмо спрятал... Уничтожить рукопись учителя было выше его сил.

Позиция Толстого вызывает противоречивые чувства. Он оставляет вопрос о судьбе своих рукописей на

совести других людей, вместо того чтобы твердо решить его самому, так же, как он решил вопрос о своем имуществе, собрав семью и объявив свое решение. Он поступает по принципу *непротивления* и при этом фактически идет на поводу у Черткова, хотя это ему крайне досадно.

Ведь он имел полную возможность решить этот вопрос раз и навсегда, оставив за женой права на старые произведения, а за Чертковым — на новые. В создании старых помогала жена, о новых не узнал бы весь мир без Черткова. Конечно, такое «двоевластие» выглядело бы странно. Но, может быть, именно это заставило бы две враждебные стороны помириться. Не издавать же два разных собрания сочинений.

Третье завещание Толстого было продиктовано секретарю Н. Н. Гусеву, опять как запись в дневнике, 11 августа 1908 года. За две недели до своего восьмидесятилетнего юбилея Толстой тяжело заболел. Отказали ноги, и он был прикован к креслу-каталке. Думая, что умирает, он решил еще раз отредактировать свою предсмертную волю.

«Во-первых, хорошо бы, если бы наследники отдали все мои писания в общее пользование; если уж не это, то непременно всё народное, как то: “Азбуки”, “Книги для чтения”. Второе, хотя это из пустяков пустяки, то, чтобы никаких не совершали обрядов при погребении в землю моего тела. Деревянный гроб, и кто хочет, снесет или свезет в Заказ против оврага, на место зеленой палочки. По крайней мере, есть повод выбрать то или иное место».

Это было первое завещание Толстого, которое могло иметь какую-то силу после его смерти. Речь идет о месте, где он завещал себя похоронить и был похоронен. История с «зеленой палочкой», символом людского счастья и братства, зарытой в лесу Старого Заказа братьями Лёвочкой и Николенькой, известна читателям автобиографической трилогии писателя.

В остальном третье завещание повторяло ошибки первых двух. Он *просил*, а не распоряжался. И хотел передать права на произведения *всем*, что было юридически невозможно.

Толстой и «юридизм» оказались вещами несовместными, как гений и злодейство в драме Пушкина «Моцарт и Сальери». Тем не менее в первых завещаниях Толстого была какая-то *позиция*. И он должен был бы держаться ее до конца, предоставив своим наследникам право уже по своей совести распоряжаться его литературным наследием. Он

и хотел так поступить. Но это ущемляло бы права одного-единственного человека, которого Толстой любил и которого ненавидела Софья Андреевна, — Черткова. Перешагнуть через эту любовь он не мог — и по душе, и по совести.

А Чертков не мог добровольно отказаться от своих прав на наследие Толстого. Нужно войти в его положение. Он посвятил Толстому всю жизнь. Отказ от наследия Толстого для него был равнозначен отказу от жизни. Договориться с Софьей Андреевной было невозможно. Слишком разными людьми они были, и слишком много обид на Черткова накопилось у нее к тому времени. Наконец, безграничная любовь Софьи Андреевны к сыновьям внушала опасение, что литературным наследием Толстого распорядятся не так, как того желал сам Толстой. Сыновья оказались плохими помещиками, постоянно нуждались в деньгах и просили их у матери. Встанем на точку зрения Черткова. Так ради кого он должен был отказываться от наследия Толстого? Ради безумной, во всем нелогично поступающей жены? Ради проматывающих деньги сыновей? Что будет с теми рукописями, которые Чертков хранил в Англии как зеницу ока, не имея на них никаких юридических прав?

Попыткой отказаться от литературных прав Толстой создал беспрецедентную юридическую ситуацию: до 1909 года ни один из участников этой истории, не исключая и опытного Черткова, не понимал реальной юридической стороны этого вопроса. Все действовали вслепую.

В июле 1909 года настал момент истины. В это время Софья Андреевна задумала судиться с «Посредником» и другими изданиями, перепечатавшими некоторые вещи Толстого семидесятых годов (например, «Кавказского пленника»). Она считала их *своей* собственностью и обратилась к адвокату с просьбой составить судебную жалобу. Адвокат поинтересовался: на основании какого документа возбуждается судебное преследование? На основании доверенности, ответила она. На основании доверенности нельзя, объяснил адвокат. Нужен документ от мужа с передачей прав на издание. Однако Толстой не только отказался выдать жене такой документ, но был страшно возмущен ее поведением по отношению к народным издательствам. И он решил оставить жену вовсе без каких-либо прав...

Юрист и родственник Толстого Иван Васильевич Денисенко вспоминал:

«В июле 1909 года, когда я был в Ясной Поляне... она

позвала меня к себе в спальню и, показавши мне общую доверенность на управление делами, выданную ей уже давно Львом Николаевичем, спросила меня, может ли она по этой доверенности продать третьему лицу право на издание произведений Льва Николаевича, а главное возбудить преследование против Сергеенко* и какого-то учителя военной гимназии за составление ими из произведений Льва Николаевича сборников и хрестоматий, ввиду того, что эти сборники могут причинить ей, С. А-не, большой материальный ущерб...

Кажется, на другой день после этого, днем, я с женою и детьми были в парке на ягодах. Жена попросила меня зачем-то сходить во флигель. Я пошел по аллее, проходящей между цветами, и тут совершенно неожиданно встретил Льва Николаевича. Вид его меня поразил. Он был сгорбленный, лицо измученное, глаза потухшие, казался слабым, каким я его никогда не видал. При встрече он быстро схватил меня за руку и сказал со слезами на глазах:

“Голубчик, Иван Васильевич, что она со мною делает! Она требует от меня доверенности на возбуждение преследования. Ведь я этого не могу сделать... Это было бы против моих убеждений”.

Затем, пройдя со мною несколько шагов, он сказал мне: “У меня к вам большая просьба, пусть только она останется пока между нами, не говорите о ней никому, даже Саше. Составьте, пожалуйста, для меня бумагу, в которой бы я мог объявить во всеобщее сведение, что все мои произведения, когда бы то ни было мною написанные, я передаю во всеобщее пользование”».

Двенадцатого июля Толстой пишет в дневнике: «Вчера вечером было тяжело от разговоров Софьи Андреевны о печатании и преследовании судом. Если бы она знала и поняла, как она одна отравляет мои последние часы, дни, месяцы жизни!»

Между тем еще в июне 1908 года из Англии приехал Чертков с семьей и поселился на даче близ Ясной Поляны. Но, разрешив ему вернуться в Россию, правительство тотчас начало преследовать его и наказало весьма странным способом: в январе 1909 года его выслали за пределы Тульской губернии — подальше от Толстого. Он поселился в имении Крёкшино Московской губернии. Именно здесь

* *Петр Алексеевич Сергеенко* (1854—1930) — писатель, журналист, биограф Толстого.

18 сентября 1909 года было составлено первое *формальное* завещание Толстого:

«Заявляю, что желаю, чтобы все мои сочинения, литературные произведения и писания всякого рода, как уже где-либо напечатанные, так и еще не изданные, написанные или впервые напечатанные с 1-го января 1881 года, а также и все, написанные мною до этого срока, но еще не напечатанные, не составляли бы после моей смерти ничьей собственности, а могли бы быть безвозмездно издаваемы и перепечатываемы всеми, кто этого захочет. Желаю, чтобы все рукописи и бумаги, которые останутся после меня, были бы переданы Владимиру Григорьевичу Черткову, с тем чтобы он и после моей смерти распоряжался ими, как он распоряжается ими теперь, для того, чтобы все мои писания были безвозмездно доступны всем желающим ими пользоваться для издания. Прошу Владимира Григорьевича Черткова выбрать также такое лицо или лица, которому бы он передал это уполномочие на случай своей смерти.

Лев Николаевич Толстой.

Крёкшино, 18 сентября 1909 г.

При подписании настоящего завещания присутствовали и сим удостоверяют, что Лев Николаевич Толстой при составлении настоящего завещания был в здравом уме и твердой памяти: *Свободный художник Александр Борисович Гольденвейзер. Мещанин Алексей Петрович Сергеенко. Александр Васильевич Калачев, мещанин.*

Настоящее завещание переписала Александра Толстая».

Оригинал завещания написан рукой Толстого. Но достаточно сравнить этот текст с двумя завещаниями, сделанными в виде дневниковых записей, чтобы понять: *это не язык Толстого*. Не только по содержанию, но и буквально по тексту первое формальное завещание совпадает с тем «вопросником», который Чертков посылал из Англии с секретарем Бриггсом. Ответы Толстого, повторявшие вопросы в утвердительной форме, и легли в основу завещания.

Чертков победил Софью Андреевну. Духовный друг Толстого оказался сильнее законной жены. И это было сделано за ее спиной.

После отъезда мужа она стала что-то подозревать. Утром 8 сентября она из Москвы отправилась в Крёкшино. Толстой встретил ее на станции, и всё в доме Чертковых показалось ей «хорошо, приветливо, красиво». 10—12 сентября она вновь была в Москве. Ходила в банк, привела в

порядок свои издательские дела. 13 сентября снова приехала в Крёкшино.

В этот день она определенно почувствовала что-то неладное. Вместе с ней из Москвы ехала дочь Саша, которая тоже была в городе по делам и теперь возвращалась к Чертковым и отцу. Мать и дочь в то время не любили друг друга. Они соперничали за влияние на Толстого. Находившийся в Крёкшине музыкант А. Б. Гольденвейзер заметил «болезненно-раздраженное состояние Софьи Андреевны, ежеминутно готовой сделать сцену или впасть в истерический припадок». 17 сентября, накануне подписания завещания, между ней и Чертковым вспыхнула ссора.

«У Чертковых ей всё не нравилось, — вспоминала дочь Саша, — “темные”, окружавшие отца, общий стол, где Илья Васильевич (слуга Толстых. — П. Б.) сидел вместе с ней. Нервы ее были в ужасном состоянии. — Трудно себе представить, что было бы, если бы она узнала, что здесь, в Крёкшине, отец решил написать завещание... Я переписала это завещание, отец и три свидетеля подписали его. Я дала копию Черткову, оставила у себя оригинал, и Чертков просил меня зайти в Москве к присяжному поверенному Муравьеву, чтобы узнать, имеет ли такое завещание юридическую силу».

Николай Константинович Муравьев объяснил участникам этой истории, что литературные права, как любая собственность, не могут быть переданы *всем*. Их можно передать только физическому или юридическому *лицу*. Или — *лицам*. Толстой был поставлен перед выбором. Или оставить всё как есть и ничего не предпринимать (в этом случае наследниками стали бы его жена и дети), или доводить начатое до конца.

Осенью 1909 года в Ясную Поляну дважды приезжает молодой сотрудник Черткова Федор Страхов (родной брат писательницы Лидии Алексеевны Авилловой, не имевший отношения к Н. Н. Страхову). 11 октября дочь Толстого Саша пишет Черткову: «(Самое важное) На днях много думала о завещании отца, и пришло в голову, что лучше было бы написать такое завещание и закрепить его подписями свидетелей, объявить сыновьям при жизни о своем желании и воле. Дня три тому назад я говорила об этом с папá. Я сказала ему, что была у Муравьева, что Муравьев сказал, что завещание папá недействительно и что, по моему мнению, следовало бы сделать. На мои слова о недействительности завещания он сказал: ну что же, это можно сделать, мож-

но в Туле. Об остальном сказал, что подумает, а что это хорошо в том отношении, что если он объявит о своем желании при жизни, это не будет так, как будто он подозревает детей, что они не исполнят его воли, если же после смерти окажется такая бумага, то сыновья, Сережа например, будут оскорблены, что отец подумал, что они не исполнят его воли без нотариальной бумаги. Из разговора с отцом вынесла впечатление, что он исполнит всё, что нужно. Теперь думайте и решайте вы, как лучше. Нельзя ли поднять речь о всех сочинениях? Прошу вас, не медлите. Когда придет Таня, будет много труднее, а может быть, и совсем невозможно что-либо устроить».

Саша в то время имела некоторые основания не любить мать. Еще в детстве ей стало известно, что родилась она в ночь после первой попытки отца уйти от матери в июне 1884 года. Она знала, что, будучи беременной, мать ходила к тульской акушерке с просьбой устроить искусственный выкидыш. Акушерка отказалась, за что Софья Андреевна потом благодарила Бога. Тем не менее она не баловала Сашу, не уделяла ей того внимания, которое досталось другим детям. Она держала ее на дистанции, часто сердилась на нее, оскорбляла и даже унижала. Дочь отвечала дерзостью и непослушанием.

«Он сейчас же пошел в свой кабинет и увел туда с собою Александру Львовну и меня, — вспоминал Федор Страхов о своем первом визите к Толстому. — Я вас удивлю своим крайним решением, — обратился он к нам обоим с доброй улыбкой на лице. — Я хочу быть *plus royaliste que le roi**. Я хочу, Саша, отдать тебе одной всё, понимаешь? Всё, не исключая и того, о чем была сделана оговорка в том моем газетном заявлении. — Мы стояли перед ним, пораженные как молнией этими его словами: “одной” и “всё”. Он же произнес их с такой простотой, как будто он сообщал нам о самом незначительном приключении, случившемся с ним во время прогулки».

«1 ноября 1909 года отец подписал новое завещание, составленное адвокатом Муравьевым, — вспоминала Александра Львовна. — Вначале отец думал оставить права на все свои сочинения нам троим, более близким ему, Сереже, Тане и мне, чтобы мы в свою очередь передали эти права на общее пользование. Но один раз, когда я утром пришла к нему в кабинет, он вдруг сказал: “Саша, я решил сделать за-

* Бóльшим роялистом, чем король (*фр.*).

вешание на тебя одну” — и вопросительно поглядел на меня. Я молчала. Мне представилась громадная ответственность, ложившаяся на меня, нападки семьи, обида старших брата и сестры, и вместе с тем в душе росло чувство гордости, счастья, что он доверяет мне такое громадное дело.

— Что же ты молчишь? — сказал он.

Я высказала ему свои сомнения.

— Нет, я так решил, — сказал он твердо, — ты единственная сейчас осталась жить со мной, и вполне естественно, что я поручаю тебе это дело».

В дневнике Толстого это событие описано в более мрачных тонах. 26 октября: «Не спал до 3-х, и было тоскливо, но я не отдавался вполне. Проснулся поздно. Вернулась Софья Андреевна. Я рад ей, но очень возбуждена... Приехал Страхов. Ничего не делал утром. Хорошее письмо Черткова. Он говорит мне яснее то, что я сам думал. Разговор с Страховым был тяжел по требованиям Черткова, потому что надо иметь дело с правительством. Кажется, решу всё самым простым и естественным способом — Саша. Хочу и прежние, до 82... Вечер. Еще разговор с Страховым. Я согласился. Но жалею, что не сказал, что мне всё это очень тяжело, и лучшее — неделание».

У Толстого были проблемы с памятью: он перепутал 1881 и 1882 годы. Вообще он чувствовал себя плохо. «...сомнительно, что буду жив: слабость, сонливость», — пишет в дневнике 28 октября. «...неестественно много спал» (запись от 29 октября). «Необыкновенно странное, тоскливое состояние. Не могу заснуть, два часа (ночи)» (31 октября, накануне подписания завешания). 1 ноября: «Сегодня приехали Гол[ь]денвейзер и Страхов, привезли от Черткова бумаги. Я всё переделал. Довольно скучно».

Летом 1910 года у Саши обнаружили признаки чахотки. Она поехала в Крым, где быстро встала на ноги. Однако болезнь Саши сыграла значительную роль в истории с завешанием. Она встревожила Черткова. Без Саши, этого подставного юридического лица, завешание потеряло бы значение. Чертков опять-таки лишился бы всего. И тогда в июне—июле 1910 года повторилась ситуация осени 1909-го. Сначала Толстой, измученный поведением жены, отправился отдохнуть к «милому другу», который жил уже не в Крёкшине, а в Отрадном близ села Мещерского Московской губернии. Его сопровождали вернувшаяся из Крыма Саша, личный врач Д. А. Маковицкий и молодой секретарь Валентин Булгаков. В Мещерском Толстой отдыхал душой

и плодотворно работал. Написал два небольших художественных текста, в том числе замечательный психологический этюд «Нечаянно».

Между тем болезнь графини приобретала неуправляемый, агрессивный характер. Она посылает мужу и дочери телеграмму за подписью жившей в Ясной Поляне подруги Саши, Варвары Феокритовой (чтобы не подумали, что это бред сумасшедшей): «Софье Андреевне сильное нервное расстройство, бессонницы, плачет, пульс сто, просит телеграфировать. Варя». Затем она отправляет новую телеграмму, уже от своего имени, где умоляет мужа немедленно приехать. Ответ пришел 23 июня: «Удобнее приехать завтра днем, но, если необходимо, приедем ночью». Слово «удобнее» взрывает ее.

И в это же время в Отрадное приходит сообщение: власти разрешили Черткову вернуться в Тульскую губернию. И Толстой спешит «обрадовать» этим больную жену.

Двадцать третьего июня Толстой с Сашей возвращаются в Ясную Поляну. 27 июля поблизости, в Телятинках, поселяется Чертков и начинает ежедневно посещать яснополянский дом, чем окончательно сводит с ума Софью Андреевну. Родные вынуждены вызвать из Москвы знаменитого невропатолога и психиатра профессора Григория Ивановича Россолимо. Он был потрясен состоянием Софьи Андреевны. Поставленный им диагноз был такой: «Дегенеративная двойная конституция: паранойяльная и истерическая, с преобладанием первой».

Как же воспринял этот диагноз Толстой?

«Россолимо поразительно глуп по-ученому, безнадежно», — пишет он в дневнике 20 июля. «Письмо от Россолимо, замечательно глупое, о положении Софьи Андреевны», — делает он запись в тайном «Дневнике для одного себя», который прячет от жены.

Весь тайный дневник посвящен ей. «Я совершенно искренне могу любить ее, чего не могу по отношению к Льву (сыну. — П. Б.). Несчастная, как мне не жалеть ее». «Оказывается, она нашла и унесла мой дневник маленький. Она знает про какое-то, кому-то, о чем-то завещание — очевидно касающееся моих сочинений. Какая мука из-за денежной стоимости их — и боится, что я помешаю ее изданию. И всего боится, несчастная». «Всю ночь видел мою тяжелую борьбу с ней. Проснулся, заснул и опять то же».

Но есть в этом тайном дневнике и другие признания: «Софья Андреевна спокойна, но так же чужда»; «Нынче с

утра тяжелое чувство, недоброе к ней, к Софье Андреевне. А надо прощать и жалеть, но пока не могу»; «Ничего враждебного нет с ее стороны, но мне тяжело это притворство с обеих сторон». И наконец: «Нынче думал, вспоминая свою женитьбу, что это было что-то роковое. Я никогда даже не был влюблен. А не мог не жениться...»

По дневникам Толстого можно судить о его истинном отношении к Софье Андреевне в последние месяцы жизни. Здесь были и любовь, и привычка, и жалость к ней, и ужас перед ее поведением, и постоянное желание уйти, и понимание того, что уход станет жестоким поступком по отношению к больной жене.

В конце жизни Толстого они с женой поменялись местами. Одиночество Софьи Андреевны в собственном доме было таким же, как одиночество Толстого в начале его духовного переворота. И в обоих случаях речь шла о «безумии». Как Толстого подозревали в том, что он «сошел с ума», так и его супругу воспринимали либо сумасшедшей, либо симулирующей сумасшествие. Несмотря на диагноз Россолимо, все противники Софьи Андреевны, включая родную дочь, были уверены, что она не больна, а только притворяется больной. Наиболее грубо это мнение отразилось в дневнике Варвары Феофоровой.

Она пишет, что «мнимое» безумие Софьи Андреевны началось, когда та стала подозревать, что в Мещерском Толстой и Чертков составляют завещание против нее. В это время графиня спешно готовила новое издание сочинений мужа, которое, считала она, после смерти автора будет особенно хорошо раскупаться. Но если Толстой завещает всё Черткову, она прогорит. Отсюда ее болезненный интерес к дневникам мужа с 1900 года, которые хранились у Черткова (дневники до 1900 года она отдала на хранение сначала в Румянцевскую библиотеку, потом в Исторический музей). Нет ли в них «завещания», подобного тому, что было в дневнике 1895 года? Феофорова утверждает, что когда Саша по просьбе Толстого привезла в яснополянский дом дневники от Черткова, Софья Андреевна стала просматривать их, бормоча: «Нет ли здесь завещания?» По мнению Феофоровой, она лаской, угрозами, истериками и шантажом хотела добиться главного: уничтожения завещания, если оно имеется. Когда она похитила тайный дневник мужа и узнала, что такое завещание существует, ситуация стала невыносимой.

Дневник Феофоровой до сих пор не опубликован, хо-

тя Н. Н. Гусев готовил его к печати еще в 1930-е годы. Это самый безжалостный по отношению к жене Толстого документ, написанный человеком, которого она сама же взяла в свой дом в качестве машинистки для перепечатки ее мемуаров «Моя жизнь». Но беда в том, что мнение Феокритовой разделяли почти все участники этой истории, а самое главное — склоняли к этой точке зрения Толстого.

На стороне Софьи Андреевны оставались только двое ее сыновей — Лев и Андрей. Ничего удивительного, что она вызвала их к себе в Ясную Поляну. Но именно они своим присутствием определили окончательное решение Толстого лишить семью всех прав на его литературное наследство.

«Приехал Лёва, — записывает Толстой в дневнике 4 июля. — Небольшой числитель, а знаменатель ∞».

«Сыновья, Андрей и Лев, очень тяжелы, хотя разнообразно каждый по-своему», — пишет он. «Андрей просто один из тех, про которых трудно думать, что в них душа Божья (но она есть, помни)». «Льва Львовича не могу переносить. А он хочет поселиться здесь».

За несколько дней до того, как в Телятинках, в доме Черткова, Толстой подписал третий, исправленный и дополненный вариант формального завещания, в котором, в случае смерти Саши, его наследницей объявлялась дочь Татьяна, между Толстым и сыном Львом разыгралась скандальная сцена.

«Жив еле-еле, — пишет Толстой в дневнике 11 июля. — Ужасная ночь. До 4 часов. И ужаснее всего был Лев Львович. Он меня ругал, как мальчишку...»

В ночь на 11 июля Софья Андреевна потребовала, чтобы муж отдал ей дневники, которые хранились у Черткова, и получила отказ. Она отправилась на балкон, куда выходила комната мужа, легла там на доски и начала громко стонать. Безумие ее поведения подтверждается ее собственным дневником, в котором она пишет, что в тот момент она «вспоминала, как на этом же балконе 48 лет тому назад, еще девушкой, я почувствовала впервые любовь Льва Николаевича. Ночь холодная, и мне хорошо было думать, что где я нашла его любовь, там я найду и смерть».

Толстой вышел на балкон и попросил жену уйти. Она пообещала «убить Черткова», побежала в сад и легла на сырую землю. В темноте ее искали несколько человек и нашли с помощью пуделя Маркиза. Но на просьбы вернуться домой она отвечала, что пойдет лишь в том случае, если за ней придет муж.

Лев Львович пошел к отцу.

«— Она не хочет идти, — сказал я, — говорит, что ты ее выгнал.

— Ах, ах, Боже мой! — крикнул отец. — Да нет! Нет! Это невыносимо!

— Пойди к ней, — сказал я ему, — без тебя она не придет.

— Да нет, нет, — повторял он вне себя от отчаяния, — я не пойду.

— Ведь ты же ее муж, — тогда сказал я ему громко и с досадой, — ты же и должен всё это уладить.

Он посмотрел на меня удивленно и робко и молча пошел в сад».

Даже в описании Льва Львовича сцена выглядит неприятно. Еще хуже она смотрится в дневнике Гольденвейзера. «Софья Андреевна требовала, чтобы Л. Н. пришел за ней. Лев Львович пошел к отцу, кричал на него, ругал его, дошел до того, что назвал его “дрянью”».

В дневнике Гольденвейзера от 17 июля есть рассказ о том, как Толстой в Телятинках переписывал завешание:

«Чертков привел Л. Н. наверх. Л. Н., здороваясь со мной, два раза крепко пожал мне руку. Он сел за стол и попросил меня диктовать с данного Муравьевым текста, тождественного со старым, но с прибавкой, что на случай смерти Александры Львовны раньше Л. Н. — всё переходит Татьяне Львовне.

Л. Н. был, видимо, взволнован, но писал быстро и не ошибался. Когда он дописал, то сказал мне:

— Ну вот, как хорошо!»

Однако впопыхах Толстому забыли продиктовать слова *«находящимся в здравом уме и твердой памяти»*. Там было просто: *«составлено, написано и подписано графом Львом Николаевичем Толстым»*. В этом виде завешание не имело законной силы. На его исправление потребовалось пять дней.

Двадцать второго июля 1910 года в лесу близ деревни Грумант он еще раз переписывает и подписывает на этот раз уже окончательный текст юридического завешания.

История создания этого текста подробно описана в воспоминаниях секретаря Черткова Алексея Сергеенко, сына П. А. Сергеенко:

«Лев Николаевич сел на пень и вынул прицепленное к блузе английское резервуарное перо, попросил нас дать ему всё нужное для писания. Я дал ему бумагу и припасен-

ный мной для этой цели картон, на котором писать, а Александр Борисович (Гольденвейзер. — П. Б.) держал перед ним черновик завещания. Перекинув ногу на ногу и положив картон с бумагой на колено, Лев Николаевич стал писать: “Тысяча девятьсот десятого года, июля дватцать второго дня”. Он сейчас же заметил опisku, которую сделал, написав “двадцать” через букву “т”, и хотел ее переправить или взять чистый лист, но раздумал, заметив, улыбаясь:

— Ну, пускай думают, что я был неграмотный.

Затем прибавил:

— Я поставлю еще цифрами, чтобы не было сомнения.

И после слова “июля” вставил в скобках “22” цифрами.

Ему трудно было, сидя на пне, следить за черновиком, и он попросил Александра Борисовича читать ему. Александр Борисович стал отчетливо читать черновик, а Лев Николаевич старательно выводил слова, делая двойные переносы в конце и в начале строк, как, кажется, делалось в старину и как сам Лев Николаевич делал иногда в своих письмах, когда старался особенно ясно и разборчиво писать.

Он сначала писал строчки сжато, а когда увидел, что остается еще много места, сказал:

— Надо разгонистей писать, чтобы перейти на другую страницу, — и увеличил расстояния между строками.

Когда в конце завещания ему надо было подписаться, он спросил:

— Надо писать “граф”?

Мы сказали, что можно и не писать, и он не написал.

Потом подписались и мы — свидетели. Лев Николаевич сказал нам:

— Ну, спасибо вам».

Одновременно Толстому была передана бумага от Черткова — важнейшее дополнение к завещанию: все права на сочинения и рукописи Толстого переходили к Саше только формально, а реальным их распорядителем являлся Чертков.

Вечером того же дня, когда Толстой написал тайное завещание против своей жены, Чертков приехал в гости в Ясную Поляну. Секретарь Валентин Булгаков писал: «Когда я вспоминаю об этом вечере, я поражаюсь интуиции Софьи Андреевны: она будто чувствовала, что только что произошло что-то ужасное, непоправимое... По отношению к гостю, да и ко всем присутствующим держала себя грубо и вызывающе. Понятно, как это на всех действовало. Все сидели натянутые, подавленные. Чертков — точно аршин

проглотил: выпрямился, лицо окаменело. На столе уютно кипел самовар, ярко-красным пятном выделялось на белой скатерти блюдо с малиной, но сидевшие за столом едва притрагивались к своим чашкам чая, точно повинность отбывали. И, не засиживаясь, скоро все разошлись».

Двадцать пятого июля, собрав вещи и взяв с собой пузырек с опиумом, графиня поехала в Тулу на коляске, посланной на вокзал встретить сына Андрея. У нее было смутное намерение то ли уехать навсегда, то ли покончить с собой. Перед отъездом она написала записку, которую предполагала отправить в газеты: «В мирной Ясной Поляне случилось необыкновенное событие. Покинула свой дом граф[иня] Софья Андреевна Толстая, тот дом, где она в продолжение 48 лет с любовью берегла своего мужа, отдав ему всю свою жизнь. Причина та, что ослабевший от лет Лев Ник. подпал совершенно под вредное влияние господина Ч.....ва, потерял всякую волю, дозволяя Ч.....ву, и о чем-то постоянно тайно совещался с ним. Проболев месяц нервной болезнью, вследствие которой были вызваны из Москвы два доктора, графиня не выдержала больше присутствия Ч.....ва и покинула свой дом с отчаянием в душе».

На вокзале Андрей, увидев ненормальное состояние матери, заставил ее вернуться вместе с ним в усадьбу.

Двадцать седьмого июля Лев и Андрей допрашивали Сашу, не написал ли отец завещания. Наконец, Андрей отправился к отцу и задал ему прямой вопрос: не сделал ли он какого-нибудь письменного распоряжения на случай своей смерти? Солгать Толстой не мог. Сказать правду тоже не мог. В этом случае весь гнев жены и сыновей пал бы на Сашу. Он ответил, что не желает это обсуждать. Но фактически это было признанием существования завещания.

Толстой оказался в ловушке. Он не мог лгать и не мог сказать правду. В этом же положении оказалась и Саша, которую он сам воспитал в том духе, что лгать кому-то в глаза нельзя.

Тридцатого числа в Ясную Поляну приехал биограф Толстого П. И. Бирюков. Ему как доверенному лицу рассказали о завещании. И «Поша», как называли его близкие, выразил свое неодобрение. Он сказал Толстому, что держать такой документ в тайне неправильно. Он был потрясен интригами, которые происходили в Ясной. И Толстой сам понял, что сделал что-то не то.

«Очень, очень понял свою ошибку, — пишет он в днев-

нике. — Надо было собрать всех наследников и объявить свое намерение, а не тайно. Я написал это Черткову».

Вот это письмо:

«Вчера говорил с Пошей, и он очень верно сказал мне, что я виноват тем, что сделал завешание тайно. Надо было или сделать это явно, объявив тем, до кого это касалось, или всё оставить, как было, — *ничего не делать*. И он совершенно прав, я поступил дурно и теперь плачусь за это. Дурно то, что сделал тайно, предполагая дурное в наследниках, и сделал, главное, несомненно дурно тем, что воспользовался учреждением отрицаемого мной правительства, составив по форме завешание. Теперь я ясно вижу, что во всём, что совершается теперь, виноват только я сам. Надо было оставить всё, как было, и ничего не делать...»

Кому он это писал?! Человеку, который шесть лет вел сложнейшую конспиративную работу по организации завешания Толстого в свою пользу. Что означали для него слова «ничего не делать»? То, что всё наследие Толстого достанется жене и детям.

В течение десяти дней ошеломленный Чертков сочинял ответ своему учителю. В этом письме он подробно рассказал (!) Толстому, как готовилось завешание и что руководило завещателем (то есть самим Толстым), когда он его подписывал. Он как будто восстанавливал память своего кумира, рассказывая ему о том, что он сделал сам, своей рукой. И Толстой опять уступил...

«Пишу на листочках, потому что пишу в лесу, на прогулке. И с вчерашнего вечера и с нынешнего утра думаю о Вашем вчерашнем письме. Два главных чувства вызвало во мне это Ваше письмо: отвращение к тем проявлениям грубой корысти и бесчувственности, которые я или не видел, или видел и забыл; и огорчение и раскаяние в том, что я сделал Вам больно своим письмом, в котором выражал сожаление о сделанном. Вывод же, какой я сделал из письма, тот, что Павел Иванович был неправ и также неправ и я, согласившись с ним, и что я вполне одобряю Вашу деятельность, но своей деятельностью всё-таки недоволен: чувствую, что можно было поступить лучше, хотя я и не знаю как».

Толстой не хотел решать эту проклятую юридическую проблему! Он хотел, чтобы она решилась как-то сама собой, полюбовно. В письме Черткову он не только уступал своему другу, но и объяснял мотивацию своего поступка: «В то же, что решительное отстаивание моих решений,

противных ее (жены. — П. Б.) желанию, могло бы быть полезно ей, я не верю, а если бы и верил, всё-таки не мог бы этого делать. Главное же, кроме того, что думаю, что я должен так поступать, я по опыту знаю, что, когда я настаиваю, мне мучительно, когда же уступаю, мне не только легко, но даже радостно».

Чертков ответил Толстому безумным письмом, в котором лихорадочно доказывал, что держать завешание в тайне необходимо... «в интересах самой Софьи Андреевны». «Если бы она при Вашей жизни определенно узнала о Вашем распоряжении, то просто не выдержала бы этого, столько лет подряд она измышляла, лелеяла и применяла, с такой обдуманностью, предусмотрительностью и осторожностью, свой план захвата после Вашей смерти всех Ваших писаний, что разочарование в этом отношении при Вашей жизни было бы для нее ударом слишком невыносимым, и она никого и ничего бы не пощадила бы, не пощадила бы не только Вас, Вашего здоровья и Вашей жизни, но не пощадила бы себя, своей жизни и, ужаснее всего, своей души, — последних остатков совести, в отчаянной попытке отвоевать, добиться своего, пока Вы еще живы...»

Чем отличался сам Чертков от душевнобольной Софьи Андреевны, когда доказывал Толстому, что держать жену в неведении относительно завешания теперь необходимо, чтобы она окончательно не сошла с ума и не покончила с собой?

Двадцать четвертого сентября 1910 года Толстой записал в «Дневнике одного себя»: «Они разрывают меня на части. Иногда думается: уйти ото всех».

На следующий день он послал Черткову письмо, в котором впервые за всю историю их переписки потребовал *не вмешиваться* в его отношения с женой. «Решать это дело должен я один в своей душе, перед Богом, я и пытаюсь это делать, всякое же чужое участие затрудняет эту работу. Мне было больно от письма, я почувствовал, что меня разрывают на две стороны...»

В ночь на 28 октября он бежал из дома.

Бегство

Из записок доктора Душана Петровича Маковицкого:

«Утром, в 3 ч., Л. Н. в халате, в туфлях на босу ногу, со

свечой, разбудил меня; лицо страдальческое, взволнованное и решительное.

— Я решил уехать. Вы поедете со мной. Я пойду наверх, и вы приходите, только не разбудите Софью Андреевну. Вещей много не будем брать — самое нужное. Саша дня через три за нами приедет и привезет, что нужно».

Какие вещи были «самые нужные»? Толстой не думал об этом. Он был озабочен тем, чтобы Саша спрятала от Софьи Андреевны его дневники. Он взял с собой самопишущее перо, подаренное Чертковым, и записные книжки. Вещи и провизию собирали и укладывали Маковицкий, Саша и ее подруга Варвара Феокритова. Оказалось, что вещей набралось много. Потребовался большой дорожный чемодан. Но как его достать, не разбудив Софью Андреевну? Между спальнями Толстого и его жены было три двери. Софья Андреевна держала их ночью открытыми, чтобы проснуться на любой тревожный сигнал из комнаты мужа. Она говорила, что, если ночью ему потребуется помощь, через закрытые двери она не услышит. Но главная причина была в том, что она боялась его ночного бегства. 15 июля 1910 года после бурного объяснения с мужем она провела ночь без сна и утром написала ему письмо:

«Лёвочка, милый, пишу, а не говорю, потому что после бессонной ночи мне говорить трудно, я слишком волнуюсь и могу опять всех расстроить, а я хочу, ужасно хочу быть тиха и благоразумна. Ночью я всё обдумывала, и вот что мне стало мучительно ясно: одной рукой ты меня приласкал, в другой показал нож. Я еще вчера смутно почувствовала, что этот нож уж поранил мое сердце. Нож этот — это угроза, и очень решительная, взять слово обещания назад и тихонько от меня уехать, если я буду такая, как теперь... Значит, всякую ночь, как прошлую, я буду прислушиваться, не уехал ли ты куда? Всякое твое отсутствие, хотя слегка более продолжительное, я буду мучиться, что ты уехал навсегда. Подумай, милый Лёвочка, ведь твой отъезд и твоя угроза равняются угрозе убийства».

Саша, Варвара и Маковицкий собирали вещи тихо, как заговорщики. Заслышав любой звук из комнаты Софьи Андреевны, тотчас тушили свечи. Толстой плотно закрыл три двери, ведущие в спальню жены, и без шума достал чемодан. Но и его было недостаточно, получились еще узел с пледом и пальто, корзина с провизией... Окончания сборов Толстой дожидаться не стал. Он поспешил в кучерскую разбудить кучера Андриана и помочь ему запрячь лошадей.

Из дневника Толстого:

«...иду на конюшню велеть закладывать; Душан, Саша, Варя доканчивают укладку. Ночь — глаз выколи, сбиваюсь с дорожки к флигелю, попадаю в чашу, накаливаясь, стучаюсь об деревья, падаю, теряю шапку, не нахожу, насили выбираюсь, иду домой, беру шапку и с фонариком добираюсь до конюшни, велю закладывать. Приходят Саша, Душан, Варя... Я дрожу, ожидая погони».

Александра Львовна в поздних воспоминаниях описывала состояние отца иначе:

«Я ждала его ухода, ждала каждый день, каждый час, но тем не менее, когда он сказал: “я уезжаю совсем”, меня это поразило, как что-то новое, неожиданное. Никогда не забуду его фигуру в дверях, в блузе, со свечой и светлое, прекрасное, полное решимости лицо».

Да, самообладание не покинуло его. Шедших с вещами помощников он встретил на полдороге.

«Было грязно, ноги скользили, и мы с трудом продвигались в темноте, — вспоминала Александра Львовна. — Около флигеля замелькал синенький огонек. Отец шел нам навстречу.

— Ах, это вы, — сказал он, — ну, на этот раз я дошел благополучно. Нам уже запрягают. Ну, я пойду вперед и буду светить вам. Ах, зачем вы дали Саше самые тяжелые вещи? — с упреком обратился он к Варваре Михайловне. Он взял из ее рук корзину и понес ее, а Варвара Михайловна помогла мне тащить чемодан. Отец шел впереди, изредка нажимая кнопку электрического фонаря и тотчас же отпуская ее, отчего казалось еще темнее. Отец всегда экономил и тут, как всегда, жалел тратить электрическую энергию».

Но когда Толстой помогал кучеру запрягать лошадь, «руки его дрожали, не слушались, и он никак не мог застегнуть пряжку». Потом «сел в уголке каретного сарая на чемодан и сразу упал духом».

— Я чувствую, — сказал он, — что вот-вот нас настигнут, и тогда всё пропало. Без скандала уже не уехать.

Выехав из усадьбы на тульское шоссе, Толстой, пишет сопровождавший его врач Маковицкий, «до сих пор молчавший, грустный, взволнованным, прерывающимся голосом сказал, как бы жалуясь и извиняясь, что не выдержал, что уезжает тайком от Софьи Андреевны». И тут же задал вопрос:

— Куда бы подальше уехать?

После того как на станции Щекино они сели в отдель-

ное купе вагона второго класса «и поезд тронулся, он почувствовал себя, вероятно, уверенным, что Софья Андреевна не настигнет его; радостно сказал, что ему хорошо». Но, выпив кофе и согревшись, вдруг произнес:

— Что теперь Софья Андреевна? Жалко ее.

В Астапове уже после смерти Толстого Софья Андреевна спросит у Маковицкого:

— Куда же вы ехали?

— Далеко.

— Ну, куда же?

— Сначала в Ростов-на-Дону, там паспорта заграничные хотели взять.

— Ну, а дальше?

— В Одессу.

— Дальше?

— В Константинополь.

— А потом куда?

— В Болгарию...

Бежав из дома, Толстой действительно не знал в точности, куда он направляется и где конечный пункт его «ухода». Одним из таких вероятных пунктов была Болгария, где, как надеялся Толстой, его не узнают, не найдут и где он сможет жить инкогнито. Он не знал (или забыл), что в Болгарии, как и в других славянских странах, было огромное количество его поклонников, местных «толстовцев».

В Щекине, войдя в здание станции, он сразу спросил буфетчика: есть ли сообщение в Горбачеве на Козельск? Затем уточнил то же у дежурного по станции. На следующий день Софья Андреевна от кассира узнала, куда отправился муж.

Из Горбачева в Козельск он пожелал ехать в вагоне третьего класса, самом дешевом. Сев на деревянную скамью, сказал:

— Как хорошо, свободно!

Но Маковицкий забил тревогу. Поезд был товарный, с одним пассажирским вагоном, переполненным и прокуренным. Пассажиры из-за тесноты перебирались в товарные вагоны-теплушки. Не дожидаясь отхода поезда, Маковицкий побежал к начальнику станции с требованием прицепить дополнительный вагон. Тот отправил его к своему помощнику, помощник указал на дежурного. Дежурный был в вагоне, глазел на Толстого, которого пассажиры уже узнали. Он бы и рад был помочь, но это был не тот дежурный, который отвечает за вагоны. Тот дежурный

тоже был здесь и разглядывал Толстого. Маковицкий повторил просьбу.

«Он как-то неохотно и нерешительно (процедив сквозь зубы) сказал железнодорожному рабочему, чтобы тот передал обер-кондуктору распоряжение прицепить другой вагон третьего класса, — пишет Маковицкий. — Через шесть минут паровоз провез вагон мимо нашего поезда. Обер-кондуктор, вошедший контролировать билеты, объявил публичке, что будет прицеплен другой вагон и все разместятся, а то многие стояли в вагоне и на площадках. Но раздался второй звонок и через полминуты третий, а вагона не прицепили. Я побежал к дежурному. Тот ответил, что лишнего вагона нет. Поезд тронулся. От кондуктора я узнал, что тот вагон, который было повезли для прицепки, оказался нужным для перевозки станционных школьников».

«Наш вагон был самый плохой и тесный, в каком мне когда-либо приходилось ездить по России, — вспоминает Маковицкий. — Вход несимметрично расположен к продольному ходу. Входящий во время трогания поезда рисковал расшибить себе лицо об угол приподнятой спинки, которая как раз против середины двери; его надо было обходить. Отделения в вагоне узки, между скамейками мало простора, багаж тоже не умещается. Духота».

Толстой стал задыхаться от духоты и табачного дыма. Надев пальто и шапку, глубокие зимние калоши, он вышел на заднюю площадку. Но и там стояли курильщики. Он перешел на переднюю площадку, где дул встречный ветер. Проведенные на площадке три четверти часа Маковицкий назовет «роковыми». Их было достаточно, чтобы простудиться.

Вернувшись в вагон, Толстой разговорился с пятидесятилетним мужиком — о семье, хозяйстве, извозе... Мужик оказался словоохотливым. Он смело рассуждал о торговле водкой, жаловался на помещика, с которым община не поделила лес, за что власти провели в деревне «эзекуцию». Сидевший рядом землемер вступился за помещика и стал обвинять во всём крестьян. Мужик стоял на своем.

— Мы больше вас, мужиков, работаем, — сказал землемер.

— Это нельзя сравнить, — возразил Толстой.

Крестьянин поддакивал, землемер спорил... По мнению Маковицкого, «он готов был спорить бесконечно, и не для того, чтобы дознаться правды в разговоре», а чтобы любой ценой доказать свою правоту. Спор перекинулся на систе-

му единого налога на землю, на Дарвина, на науку и образование. Толстой возбудился, встал и говорил более часа. С обоих концов вагона к нему шла публика: крестьяне, мещане, рабочие, интеллигенты... Одна гимназистка записывала за Толстым, но потом бросила и тоже стала *спорить*.

— Люди уже летать умеют! — сказала она.

— Предоставьте птицам летать, — ответил Толстой, — а людям надо передвигаться по земле.

Выпускница Белёвской гимназии Т. Таманская оставила об этом воспоминания, опубликованные в газете «Голос Москвы». Она пишет, что Толстой был «в черной рубашке, доходившей почти до колен, и в высоких сапогах. На голову вместо круглой суконной шляпы надел черную шелковую ермолку».

Когда Толстой в процессе спора уронил рукавицу и стал светить фонариком, ища ее на полу, гимназистка заметила:

— Вот, Лев Николаевич, наука и пригодилась!

Измученный спором и табачным дымом, Толстой снова отправился на площадку продышаться. Землемер и девушка последовали за ним, «с новыми возражениями». Сходя в Белёве, гимназистка попросила его автограф. Он написал ей: *Лев Толстой*.

Крестьянин советовал Толстому:

— А ты, отец, в монастырь определись. Тебе мирские дела бросить, а душу спасать. Ты в монастыре и оставайся.

«Л. Н. ответил ему доброй улыбкой».

В конце вагона играли на гармошке и пели. Толстой с удовольствием слушал и похваливал.

Поезд ехал медленно, преодолев 100 с небольшим верст почти за шесть с половиной часов. В конце концов Толстой «устал сидеть». «Эта медленная езда по российским железным дорогам помогала убивать Л. Н.», — пишет Маковицкий.

Около пяти часов вечера 28 октября они сошли в Козельске.

В это время Толстой еще не знал, что происходило в Ясной Поляне после его внезапного отъезда. Он не знал, что Софья Андреевна дважды пыталась покончить с собой.

Утром 28 октября она встала поздно, в 11 часов, и сразу почувствовала нехорошее по поведению слуг. Побежала к Саше.

— Где папá?

— Уехал.

— Куда?

— Не знаю.

Саша подала ей прощальное письмо отца.

«Отъезд мой огорчит тебя. Сожалею об этом, но пойми и поверь, что я не мог поступить иначе. Положение мое в доме становится, стало невыносимым. Кроме всего другого, я не могу более жить в тех условиях роскоши, в которых жил, и делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста: уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни...»

Она быстро пробежала письмо глазами. Голова ее тряслась, руки дрожали, лицо покрылось красными пятнами. Не дочитав письма, бросила его на пол и с криком: «Ушел, ушел совсем, прощай, Саша, я утоплюсь!» — побежала к пруду.

Ее первая попытка самоубийства подробно описана в дневнике Валентина Булгакова:

«Когда я утром, часов в одиннадцать, пришел в Ясную Поляну, Софья Андреевна только что проснулась и оделась. Заглянула в комнату Льва Николаевича и не нашла его. Выбежала в “ремингтонную” (комнату, где делались машинописные копии рукописей Толстого. — П. Б.), потом в библиотеку. Тут ей сказали об уходе Льва Николаевича, подали его письмо.

— Боже мой! — прошептала Софья Андреевна.

Разорвала конверт письма и прочла первую строчку: “Отъезд мой огорчит тебя...” Не могла продолжать, бросила письмо на стол в библиотеке и побежала к себе, шепча:

— Боже мой!.. Что он со мной делает!..

— Да вы прочтите письмо, может быть, там что-нибудь есть! — кричали ей вдогонку Александра Львовна и Варвара Михайловна, но она их не слушала.

Тотчас кто-то из прислуги бежит и кричит, что Софья Андреевна побежала в парк к пруду.

— Выследите ее, вы в сапогах! — обратилась ко мне Александра Львовна и побежала надевать калоши.

Я выбежал во двор, в парк. Серое платье Софьи Андреевны мелькало вдаль между деревьями: она быстро шла по липовой аллее вниз, к пруду. Прячась за деревьями, я пошел за ней. Потом побежал.

— Не бегите бегом! — крикнула мне сзади Александра Львовна.

Я оглянулся. Позади шло уже несколько человек: повар Семен Николаевич, лакей Ваня и другие.

Вот Софья Андреевна свернула вбок, всё к пруду. Скрылась за кустами. Александра Львовна стремительно летит мимо меня, шумя юбками. Я бросился тоже бегом за ней. Медлить было нельзя: Софья Андреевна была у самого пруда.

Мы подбежали к спуску. Софья Андреевна оглянулась и заметила нас. Она уже миновала спуск. По доске идет на мостки (около купальни), с которых полощут белье. Видимо, торопится. Вдруг поскользнулась — и с грохотом падает на мостки прямо на спину... Цепляясь руками за доски, она ползет к ближайшему краю мостков и перекачивается в воду.

Александра Львовна уже на мостках. Тоже падает, на скользком месте, при входе на них... На мостках и я. Александра Львовна прыгает в воду. Я делаю то же. С мостков еще вижу фигуру Софьи Андреевны: лицом кверху, с раскрытым ртом, в который уже залилась, должно быть, вода, беспомощно разводя руками, она погружается в воду... Вот вода покрыла ее всю.

К счастью, мы с Александрой Львовной чувствуем под ногами дно. Софья Андреевна счастливо упала, поскользнувшись. Если бы она бросилась с мостков прямо, там дна бы не достать. Средний пруд очень глубок, в нем тонули люди... Около берега нам — по грудь.

С Александрой Львовной мы тащим Софью Андреевну кверху, подсаживаем на бревно козел, потом — на самые мостки.

Подоспевает лакей Ваня Шураев. С ним вдвоем мы с трудом подымаем тяжелую, всю мокрую Софью Андреевну и ведем ее на берег.

Александра Львовна бежит переодеться, поощряемая вышедшей за ней из дома Варварой Михайловной.

Ваня, я, повар увлекаем потихоньку Софью Андреевну к дому. Она жалеет, что вынули ее из воды. Идти ей трудно. В одном месте она бессильно опускается на землю:

— Я только немного посижу!.. Дайте мне посидеть!..

Но об этом нельзя и думать: Софье Андреевне необходимо скорее переодеться...

Мы с Ваней складываем руки в виде сиденья, с помощью повара и других усаживаем Софью Андреевну и несем. Но скоро она просит спустить ее».

После первой попытки самоубийства за Софьей Андреевной стали следить. Отобрали опиум, перочинный нож,

тяжелое пресс-папье. Но она повторяла, что найдет способ покончить с собой. Через час ей снова удалось выбежать из дома. Булгаков нагнал ее по дороге к пруду и силой привел домой.

— Как сын, как родной сын! — говорила она ему.

Она опять угрожала выброситься в окно, утопиться в колодце. Но одновременно послала на станцию спросить, куда были взяты билеты. Узнав, что Толстой и Маковицкий поехали в Горбачево, велела лакею отправить телеграмму, но не за своей подписью: «Вернись немедленно. Саша». Лакей сообщил об этом Саше, и та отправила вслед другую телеграмму: «Не беспокойся, действительны только телеграммы, подписанные Александрой».

— Я его найду! — кричала Софья Андреевна. — Как вы меня устережете? Выпрыгну в окно, пойду на станцию. Что вы со мной сделаете? Только бы узнать, где он! Уж тогда-то я его не выпущу, день и ночь буду караулить, спать буду у его двери!»

Вечером 28 октября Чертков получил телеграмму: «Ночуем Оптиной. Завтра Шамордино. Адрес Подборки. Здоров. Т. Николаев».

Оптина пустынь

Самым загадочным и до сих пор не проясненным моментом «ухода» Толстого является его посещение Оптиной пустыни. Почему отлученный от Церкви писатель местом первой остановки в пути выбрал именно православный монастырь? Не означает ли это, что в конце жизни Толстой хотел помириться с Церковью, а может быть, даже рассказать в своих прегрешениях против нее? Вопрос этот и сейчас остается открытым.

Двадцать восьмого октября в 4.50 пополудни Толстой с Маковицким сошел с поезда в Козельске. Лев Николаевич вышел из вагона первым. Пока доктор с носильщиком переносили вещи в зал ожидания, Толстой исчез, но вскоре вернулся и сказал, что нанял двух извозчиков до Оптиной пустыни. Взял корзинку с провизией и повел Маковицкого с носильщиком к бричкам. Извозчиком на коляске, где поехали Толстой с доктором, оказался Федор Новиков. Через несколько дней он впервые в жизни давал интервью газетам и так говорил о своем пассажире:

— Явственных знаний у меня о нем нет, но чувствую, что сердце у него не как у всех. Хочу отстегнуть фартук экипажа, а он не дает, сам, говорит, Федор, сделаю, у меня руки есть. В церковь не ходит, а по монастырям ездит.

По дороге Новиков попросил у барина разрешения закурить (сначала он признал барином Маковицкого — тот был одет богаче, чем Толстой, которого извозчик принял за старого мужика). Толстой разрешил, но поинтересовался: сколько уходит денег на табак и водку? Получилось, что за годовую норму табака можно купить пол-лошади, за водочную — целых две. Вот как нехорошо, вздохнул Толстой. Да, нехорошо, согласился мужик.

На пароме через Жиздру, на которой стоит Оптиная, Толстой разговорился с паромщиком-монахом. У служителя монастырской гостиницы послушника Михаила спросил: может ли он принять на постой отлученного от Церкви?

«А приехали, — рассказывал потом брат Михаил, — они вдвоем. Постучались. Я открыл. Лев Николаевич спрашивает: “Можно мне войти?” Я сказал: “Пожалуйста”. А он и говорит: “Может, мне нельзя: я — Толстой”. — “Почему же, — говорю, — мы всем рады, кто имеет желание к нам”. Он тогда говорит: “Ну здравствуй, брат”. Я отвечаю: “Здравствуйте, Ваше Сиятельство”. Он говорит: “Ты не обиделся, что я тебя братом назвал? Все люди — братья”. Я отвечаю: “Никак нет, а это истинно, что все — братья”. Ну, и остановились у нас. Я им лучшую комнату отвел».

Просторная, в три окна, с кисейными занавесками, с большим образом Спасителя в углу, со старинным диваном и круглым столом перед ним, со вторым мягким диваном и деревянными, вделанными в пол ширмами, скрывающими удобную постель, — эта комната пришла по душе Толстому.

— Как здесь хорошо! — сказал он.

Когда он ложился спать, то попросил еще один столик и свечку. Перед сном выпил чаю. Михаил принес антоновских яблок. Толстой похвалил яблоки и спросил:

— Нет ли у вас медку, брат Михаил? Ведь вы мантии* не принимали еще, вот я вас и буду звать «братом».

Михаил принес меду...

Однако ночь, проведенная в Оптиной, оказалась беспокойной. По коридору бегали кошки, прыгали на мебель,

* Мантия (малая схи́ма) — вторая из трех степеней посвящения в монашество.

расположенную у стены, за которой спал Толстой. Потом громко плакала какая-то женщина. У нее умер брат, монах-лавочник. Утром она пришла к графу и умоляла устроить ее малютку.

В семь часов утра Толстой вышел из комнаты и в коридоре столкнулся с Алексеем Сергеенко. Но откуда он знал, что Толстой находится в Оптиной? Еще из Шекина Толстой отправил телеграмму Саше со словами «Поедем, вероятно, в Оптину... Пожалуйста, голубушка, как только узнаешь, где я, а узнаешь это очень скоро, — извести меня обо всём: как принято известие о моем отъезде, и всё чем подробнее, тем лучше».

«Спал тревожно, — записывает Толстой в дневнике 29 октября, — утром Алеша Сергеенко... Я, не поняв, встретил его весело. Но привезенные им известия ужасны. Они догадались, где я, и Софья Андреевна просила Андрея (сына. — П. Б.) во что бы то ни стало найти меня. И я теперь, вечер 29, ожидаю приезда Андрея... Мне очень тяжело было весь день, да и физически я слаб».

«Дневник для одного себя»: «Приехал Сергеенко. Всё то же, еще хуже. Только бы не согрешить. И не иметь зла. Теперь нету».

Нету?

«Если кому-нибудь топиться, то уж никак не ей, а мне... — жаловался он в письме Саше. — Я желаю одного — свободы от нее, от этой лжи, притворства и злобы, которой проникнуто всё ее существо... Видишь, милая, какой я плохой».

Если не считать ночь, Толстой провел в Оптиной пустыни примерно восемь часов. За это время постарался помочь просительнице, вдове Дарье Окаёмовой с детьми, вручив ей письмо своему сыну Сергею с просьбой о помощи. Затем продиктовал Алеше Сергеенко заметку о смертных казнях «Действительное средство», написанную по просьбе Корнея Чуковского. И два раза попытался встретиться со старцем Оптиной пустыни отцом Иосифом.

По дороге к скиту у Толстого случилась встреча с другим гостинником*, отцом Пахомом, бывшим солдатом гвардии. Тот, уже зная, что Толстой приехал в монастырь, вышел ему навстречу.

— Это что за здание?

— Гостиница.

* Гостинник — монах, ведающий монастырской гостиницей.

— Как будто я тут останавливался. Кто гостинник?

— Я, отец Пахом грешный. А это вы, ваше сиятельство?

— Я — Толстой Лев Николаевич. Вот я иду к отцу Иосифу, старцу, я боюсь его беспокоить, говорят, он болен.

— Не болен, а слаб. Идите, ваше сиятельство, он вас примет.

— Где вы раньше служили?

Пахом назвал какой-то гвардейский полк в Петербурге.

— А, знаю... До свидания, брат. Извините, что так называю; я теперь всех так называю. Мы все братья у одного царя.

Была еще одна встреча, с гостиничным мальчиком. «Со мной тоже разговаривал Лев Николаевич, — с гордостью рассказывал мальчик. — Спрашивал, дальний ли я или ближний, кто мои родители, а потом этак ласково потрепал, да и говорит: — Ты что ж тут, в монахи пришел?»

Всё было хорошо, пока Толстой не дошел до скита. Почему он так и не встретился с отцом Иосифом, ради чего, по-видимому, и приехал в монастырь, вовсе не рассчитывая на теплый прием, который ему оказали простые насельники? Почему отец Иосиф не пригласил Толстого, с которым в свое время несколько раз встречался духовный наставник Иосифа старец Амвросий?

При оценке причин, по которым эта встреча так и не состоялась, едины во мнении ревнители православия и его противники. «Гордыня!» — говорят одни. «Гордыня!» — говорят другие.

Столкнулись два авторитета, церковный и светский. Два старца. Один не позвал, второй — не пошел. А если бы позвал? А если бы пошел? Может быть, состоялось бы примирение между Церковью и Толстым? Не формальное, не ради Синода, не ради иерархов, не ради государства. Ради простых насельников монастыря Михаила и Пахома, ради мальчика Корюшки, который взрослым гордился бы своей встречей с великим писателем России. Ради тех монахов, которые, по свидетельству Маковицкого, толпились возле парома, когда Толстой отплывал на пароме от Оптиной.

— Жалко Льва Николаевича, ах ты, господи! — шептали монахи. — Да! Бедный Лев Николаевич!

Толстой, стоя у перил, разговаривал с паромщиком, седым стариком-монахом в очках. Участиливо расспрашивал его о зрении. Вспомнил смешной случай из своей казанской молодости, когда ему, студенту, татарин предлагал:

«Купи очки». — «Мне не нужны». — «Как не нужны! Теперь каждый порядочный барин очкам носит».

«Переправа была короткой, — пишет Маковицкий, — одна минута». Одна минута, и возможность примирения Толстого и Церкви навсегда была упущена. Потом ничего исправить было нельзя.

Что же случилось?

Настоятель монастыря архимандрит Ксенофонт тогда болел. Несколько дней назад он вернулся из Москвы после операции. Да и не мог игумен самовольно встретиться с «еретиком» Толстым, не получив на это разрешения калужского владыки.

«Долгом своим считаю почтительнейшим донести Вашему Преосвященству, что 28 прошлого Октября в вверенную мне пустынь приезжал, с 5-часовым вечерним поездом, идущим от Белёва, граф Лев Николаевич Толстой, в сопровождении, по его словам, доктора... 29 Октября часов в 7 утра к нему приехал со станции какой-то молодой человек, долго что-то писали в номере, и с этим же извозчиком доктор его ездил в г. Козельск. Часу в 8-м утра этого дня Толстой отправился на прогулку; оба раза ходил один. Во второй раз его видели проходившим около пустого корпуса, находящегося вне монастырской ограды, называемого “Консульский”, в котором он бывал еще при жизни покойного старца Амвросия, у покойного писателя К. Леонтьева; затем проходил около скита, но ни у старцев, ни у меня, настоятеля, он не был. Внутри монастыря и скита не входил. С этой прогулки Толстой вернулся в часу в первом дня, пообедал и часа в три дня этого же числа выехал в Шамордино, где живет его сестра-монахиня. В книге для записки посетителей на гостинице он написал: “Лев Толстой благодарит за прием”».

Это «доношение» игумена Ксенофонта калужскому епископу Вениамину (Муратовскому). Из него можно понять следующее: Толстой не был не только в скиту, но и в монастыре, не пересек Святые врата. Гостиница и скит были за территорией монастыря. «Л. Н. ходил гулять к скиту, — пишет Маковицкий. — Подошел к его юго-западному углу. Прошел вдоль южной стены... и пошел в лес... В 12-м ч. Л. Н. опять ходил гулять к скиту. Вышел из гостиницы, взял влево, дошел до Святых ворот, вернулся и пошел вправо, опять возвратился к Святым воротам, потом пошел и завернул за башню к скиту».

Обычная прогулка? Но, замечает Маковицкий, «Л. Н.

утром по два раза никогда не гулял». Доктор обращает внимание на странность поведения Толстого. «У Л. Н. видно было сильное желание побеседовать со старцами».

Не получается! Вернувшись со второй прогулки, он сказал:

— К старцам сам не пойду. Если бы сами позвали, пошел бы.

В этих словах видят проявление «гордыни» Толстого. Почему просто не постучался в дом Иосифа, который выходил крыльцом за ограду скита как раз для того, чтобы всякий паломник мог попроситься на прием через его келейника? Почему ждал, чтобы его «позвали»? Знал ли Иосиф о его приезде?

Знал.

Вот что рассказывает в «Летописи» Оптинского скита келейник старца Иосифа:

«Старец Иосиф был болен, я возле него сидел. Заходит к нам старец Варсонофий и рассказывает, что отец Михаил прислал предупредить, что Л. Толстой к нам едет. “Я, — говорит, — спрашивал его: ‘А кто тебе сказал?’ Он говорит: ‘Сам Толстой сказал’”. Старец Иосиф говорит: “Если придет, примем его с лаской и почтением и радостно, хоть он и отлучен был, но раз сам пришел, никто ведь его не заставлял, иначе нам нельзя”. Потом послали меня посмотреть за ограду. Я увидел Льва Николаевича и доложил старцам, что он возле дома близко ходит, то подойдет, то отойдет. Старец Иосиф говорит: “Трудно ему. Он ведь к нам за живой водой приехал. Иди, пригласи его, если к нам приехал. Ты спроси его”. Я пошел, а его уже нет, уехал. Мало еще отъехал совсем, а ведь на лошади он, не догнать мне было...»

Это противоречит тому, что зафиксировано в записках Маковицкого. После второй прогулки Толстой пешком вернулся в гостиницу и успел плотно пообедать. «Л. Н. показались очень вкусны монастырские щи да хорошо проваренная гречневая каша с подсолнечным маслом; очень много ее съел». Он успел расплатиться с гостинником. «— Что я вам должен? — По усердию. — Три рубля довольно?» Он расписался в книге почетных посетителей и *пешком* дошел до парома, где его на двух колясках догнали Сергеенко и Маковицкий. У парома Толстого провожали, по подсчетам Маковицкого, 15 монахов. Келейника старца Иосифа среди них не было.

Толстого надо было просто *позвать*. Он не пошел к Иосифу, потому что знал о его болезни. Он, с его воспи-

танием, не мог беспокоить старого больного человека без приглашения. Об этом Толстой сказал своей сестре Марии Николаевне в Шамордине. И еще он сказал, что боялся, что его как «отлученного» не примут. Его подвела деликатность. В свою очередь, отцу Иосифу не была известна цель приезда Толстого. О том, что граф хочет говорить с ним, он знал только по слухам. Наконец, Иосиф не знал о самом главном — об «уходе». Газетные сообщения об этом появились только на следующий день.

После смерти Толстого одна игуменья в присутствии Маковицкого выговаривала брату Пахому: почему же он не отвел Толстого к старцу, зная, что граф хочет с ним говорить? «Да как-то не решился... — оправдывался брат Пахом. — Не хотел быть навязчивым».

Из Оптиной пустыни Толстой отправился в женский Шамординский монастырь к Марии Николаевне...

Он сказал сестре, что собирается еще раз вернуться в Оптину и поговорить с отцом Иосифом. Но было уже поздно.

Шамордино и дальше

Еще в Ясной Поляне в ночь на 28 октября, покидая дом, Толстой сказал дочери Саше, что отправится скорее всего к «Машеньке» — своей сестре Марии Николаевне в Шамордино.

После личных драм с Валерианом Толстым, де Кленом и незаконной дочерью Еленой Мария Николаевна встала на путь иночества. Сначала она поселилась в Белёвском женском монастыре в Тульской губернии, откуда писала брату в 1889 году:

«Ты ведь, конечно, интересуешься моей внутренней, душевной жизнью, а не тем, как я *устроилась*, и хочешь знать, нашла ли я себе то, чего искала, то есть удовлетворения нравственного и спокойствия душевного и т. д. А вот это-то и трудно мне тебе объяснить, именно тебе: ведь если я скажу, что не нашла (это уж слишком скоро), а надеюсь найти, что мне нужно, то надо объяснить, каким путем и почему именно *здесь*, а не в ином каком месте. Ты же ничего этого не признаёшь, но ты ведь признаёшь, что нужно отречение от всего пустого, суетного, лишнего, что нужно работать над собой, чтоб исправить свои недостатки, побороть слабости, достичь смирения, бесстра-

тия, т. е. возможного равнодушия ко всему, что может разрушить мир душевный. В миру я не могу этого достичь, это очень трудно; я пробовала отказаться от всего, что меня отвлекает, — музыка, чтение ненужных книг, встречи с разными ненужными людьми, пустые разговоры... Надо слишком много силы воли, чтоб в кругу всего этого устроить свою жизнь так, чтобы ничего нарушающего мой покой душевный меня не прикасалось, ведь мне с тобой равняться нельзя: я самая обыкновенная женщина; если я отдам всё, мне надо к кому-нибудь пристроиться; трудиться, т. е. жить своим трудом, я не могу. Что же я буду делать? Какую я принесу жертву Богу? А без жертвы, без труда спастись нельзя; вот для нас, слабых и одиноких женщин, по-моему, самое лучшее, приличное место — это то, в котором я теперь живу».

Она окончательно ушла из мира в 1891 году, поселившись в Шамординском монастыре, в домике-келье, специально построенном по проекту ее духовника, оптинского старца Амвросия. Став монахиней, она не перестала переживать за брата. «...я тебя очень, очень люблю, молюсь за тебя, чувствую, какой ты хороший человек, так ты лучше всех твоих Фетов, Страховых и других. Но всё-таки как жаль, что ты не *православный*, что ты не хочешь *ощутительно* соединиться с Христом... Если бы ты захотел только соединиться с Ним... какое бы ты почувствовал *просветление* и мир в душе твоей и как многое, что тебе теперь непонятно, стало бы тебе ясно, как день!» — писала она ему в 1909 году.

На это Толстой ответил в дневнике: «Да, монашеская жизнь имеет много хорошего: главное то, что устранены соблазны и занято время безвредными молитвами. Это прекрасно, но отчего бы не занять время трудом прокормления себя и других, свойственным человеку».

Толстой не раз бывал в Шамордине, и все монахини, включая игуменью, любили его, несмотря на отлучение его от Церкви. Однажды, посетив сестру в Шамордине, Толстой неудачно пошутил: «Вас тут семьсот дур монахинь, ничего не делающих». Шамординский монастырь был переполнен девицами и женщинами из самых бедных слоев населения, потому что его устроитель Амвросий перед кончиной приказал принимать в него всех желающих. В ответ на шутку брата Мария Николаевна прислала в Ясную собственноручно вышитую подушечку с надписью: «Одна из семисот Ш-х дур». Толстой не только оценил этот ответ, но и

устыдился своих необдуманно сказанных слов. Подушечка эта и сегодня лежит на кресле в кабинете Толстого в музее-усадьбе «Ясная Поляна».

Сама Мария Николаевна была не вполне обычной шамординской монахиней. Перед смертью, приняв схиму, она бредила по-французски. Привыкшей жить по своей воле, ей было трудно смиряться, во всём спрашивая разрешение своего духовника (после смерти Амвросия им стал старец Иосиф) или игумены. Она скучала по общению с равными ей по образованию людьми, читала газеты и современные книги. «У нее в келье, — вспоминала ее дочь Елизавета Валериановна Оболенская, — в каждой комнате перед образами и в спальне перед киотом горели лампадки, она это очень любила; но в церкви она не ставила свечей, как это делали другие, не прикладывалась к образам, не служила молебнов, а молилась просто и тихо на своем месте, где у нее стоял стул и был постелен коврик. Первое время на это покашивались, а иные и осуждали ее, но потом привыкли... Я как-то раз приехала к матери с моей дочерью Наташей, которая страдала малярией. Мать приставила к ней молодую, очень милую монашенку, которая ходила с ней всюду гулять; но когда та хотела повести ее на святой колодезь, уверяя, что стоит ей облиться водой, как лихорадка сейчас же пройдет, мать сказала:

— Ну, Наташа, вода хоть и святая, а всё лучше не обливаться».

На два летних месяца она приезжала гостить к брату в Ясную Поляну. Выхлопотать разрешение на это было не просто, пришлось обратиться к калужскому архиерею. Последний раз она была в Ясной летом 1909 года. Уезжая, плакала, говоря, что больше не увидит брата...

Приехав с Маковицким и Сергеенко в Шамордино 29 октября поздно вечером, Толстой даже не заглянул в номер гостиницы, где они остановились, а сразу же отправился к сестре.

В келье Марии Николаевны были ее дочь Елизавета и сестра игумены. Они стали свидетелями трогательной сцены: великий Толстой рыдал попеременно на плечах у сестры и племянницы, рассказывая, что происходило в Ясной Поляне в последнее время и что там случилось после его «ухода». «Подумай, какой ужас: в воду!»

Племяннице он показался «жалким и стареньким». «Был повязан своим коричневым башлыком, из-под которого как-то жалко торчала седенькая борода. Монахиня,

проводившая его от гостиницы, говорила нам потом, что он пошатывался, когда шел к нам».

Жалкий вид отца отметила и приехавшая на следующий день в Шамордино дочь Саша. «Мне кажется, что папа уже жалеет, что уехал», — сказала она своей кузине Лизе Оболенской.

«За чаем мать стала расспрашивать про Оптиную пустынь, — вспоминала Е. В. Оболенская. — Ему там очень понравилось (он ведь не раз бывал там раньше), и он сказал:

— Я бы с удовольствием там остался жить. Нес бы самые тяжелые послушания, только бы меня не заставляли креститься и ходить в церковь».

В письме французскому переводчику Толстого Шарлю Саломону от 16 января 1911 года Мария Николаевна писала: «Вы хотели бы знать, что мой брат искал в Оптиной Пустыни? Старца-духовника или мудрого человека, живущего в уединении с Богом и своей совестью, который понял бы его и мог бы несколько облегчить его большое горе? Я думаю, что он не искал ни того, ни другого. Горе его было слишком сложно; он просто хотел успокоиться и пожить в тихой духовной обстановке».

В гостинице Толстой был сонлив, рассеян. Назвал Маковицкого Душаном Ивановичем (вместо Петровича), «чего никогда не случалось». На следующий день, уходя от сестры после второго посещения ее кельи, он заблудился в коридоре и никак не мог найти входную дверь. Перед этим сестра рассказала ему, что по ночам к ней приходит какой-то «враг», бродит по коридору, ощупывает стены, ищет дверь. «Я тоже запутался, как враг», — сказал Толстой. Это были последние слова, которые слышала от него Мария Николаевна.

Тридцатого октября Толстой отправился в деревню Шамордино и подыскал себе дом у вдовы Алёны Хомкиной с чистой и теплой горницей за пять рублей в месяц.

Несмотря на плохое физическое самочувствие, Толстой был по-прежнему любопытен. Он собирался изучить состояние дел монастыря, осмотреть мастерские и типографию. В его дневнике были планы четырех произведений, которые он записал еще в Оптиной: «1) Феодорит и издохшая лошадь; 2) Священник, обращенный обращаемым; 3) Роман Страхова. Грушенька-экономка; 4) Охота; дуэль и любовые». Найдя в домашнем собрании сестры книжки из «Религиозно-философской библиотеки»

М. А. Новоселова, он забрал их и с интересом изучал в гостинице, особенно статью Герцена о социализме, вспоминая, что оставил в Ясной Поляне свою незаконченную статью на ту же тему.

Перед тем как приехали дочь Саша с Варварой Феофоровой, Толстой твердо решил остаться в Шамордине. Но приезд дочери изменил его планы...

В это время в Ясную Поляну, вызванные телеграммами, приехали все дети Толстого, за исключением Льва Львовича, находившегося в Париже.

Сергей, Татьяна, Илья, Андрей и Михаил обсуждали не отца. Главной проблемой была больная мать.

«Мать вышла к нам в залу, — вспоминал Сергей Львович. — Она была не одета, не причесана, в каком-то капоте. Меня поразило ее лицо, вдруг постаревшее, сморщенное, трясущееся, с бегающим взглядом. Это было новое для меня выражение. Мне было и жалко ее и жутко. Она говорила без конца, временами плакала и говорила, что непременно покончит с собой, что ей не дали утонуть, но что она уморит себя голодом. Я довольно резко сказал ей, что такое ее поведение произведет на отца обратное действие, что ей надо успокоиться и полечить свои нервы; тогда отец вернется. На это она сказала: “Нет, вы его не знаете, на него можно подействовать только жалостью” (то есть возбудив в нем жалость). Я подумал, что это правда, и хотя возражал, но чувствовал, что мои возражения слабы. Впрочем, я говорил, что раз отец уехал, он не может скоро вернуться, что надо подождать, а через некоторое время он, может быть, вернется в Ясную. Особенно тяжело было то, что всё время надо было держать ее под наблюдением. Мы не верили, что она может сделать серьезную попытку на самоубийство, но, симулируя самоубийство, она могла не учесть степени опасности и действительно себе повредить...»

А отец? Он неизвестно где, ему 82 года! На это Андрей «совершенно верно говорил, что отыскать отца ничего не стоит, что губернатор и полиция, вероятно, уже знают, где он, что наивно думать, что Лев Толстой может где-нибудь скрыться. Газеты тоже, очевидно, сейчас же это пронохают. Установится даже особого рода спорт: кто первым найдет Толстого».

Прочитав письма, привезенные Сашей из дома, Толстой был раздавлен. Именно эти письма стали главной причиной его дальнейшего бегства.

Самым страшным было письмо Софьи Андреевны:

«Лёвочка, голубчик, вернись домой, милый, спаси меня от вторичного самоубийства. Лёвочка, друг всей моей жизни, всё, всё сделаю, что хочешь, всякую роскошь брошу совсем; с друзьями твоими будем вместе дружны, буду лечиться, буду кротка, милый, милый, вернись, ведь надо спасти меня, ведь и по Евангелию сказано, что не надо ни под каким предлогом бросать жену. Милый, голубчик, друг души моей, спаси, вернись, вернись хоть проститься со мной перед вечной нашей разлукой.

Где ты? Где? Здоров ли? Лёвочка, не истязай меня, голубчик, я буду служить тебе любовью и всем своим существом и душой, вернись ко мне, вернись; ради Бога, ради любви Божьей, о которой ты всем говоришь, я дам тебе такую же любовь смиренную, самоотверженную! Я честно и твердо обещаю, голубчик, и мы всё опростим дружелюбно; уедем, куда хочешь, будем жить, как хочешь.

Ну прощай, прощай, может быть, навсегда...

Твоя Соня.

Неужели ты меня оставил навсегда? Ведь я не переживу этого несчастья, ты ведь убьешь меня. Милый, спаси меня от греха, ведь ты не можешь быть счастлив и спокоен, если убьешь меня. Лёвочка, друг мой милый, не скрывай от меня, где ты, и позволь мне приехать повидаться с тобой, голубчик мой, я не расстрою тебя, даю тебе слово, я кротко, с любовью отнесусь к тебе. Тут все мои дети, но они не помогут мне своим самоуверенным деспотизмом; а мне одно нужно, нужна твоя любовь, необходимо повидаться с тобой. Друг мой, допусти меня хоть проститься с тобой, сказать в последний раз, как я люблю тебя. Позови меня или приезжай сам. Прощай, Лёвочка, я всё ищу тебя и зову. Какое истязание моей душе».

Из этого безумного письма Толстой не мог не сделать два вывода. Первый: жена не оставит его в покое. Она либо догонит, либо будет преследовать из Ясной Поляны постоянной угрозой самоубийства. Второй: дети не справятся с больной матерью. «...не помогут мне своим самоуверенным деспотизмом».

Второе письмо было от Черткова: «Не могу высказать словами, какой для меня радостью было известие о том, что Вы ушли... Уверен, что от Вашего поступка всем будет лучше, и прежде всего бедной С. А-не, как бы он внешним образом на ней ни отразился».

Что значит «внешним образом»? «Внешним образом» Софья Андреевна уже дважды пыталась покончить с собой.

Самым сочувственным было письмо Сергея Львовича. «Я думаю, что мамá нервно больна и во многом невменяема, что вам надо было расстаться (может быть, уже давно), как это ни тяжело обоим. Думаю также, что если даже с мамá что-нибудь случится, чего я не ожидаю, то ты себя ни в чем упрекать не должен. Положение было безвыходное, и я думаю, что ты избрал настоящий выход...»

Татьяна Львовна в письме всё-таки обещала отцу удержать мать от рокового шага, используя «страх или власть».

Илья Львович жалел, что отец «не вытерпел этого креста до конца». «Жизнь обоих вас прожита, но надо умирать хорошо».

Андрей Львович откровенно заявил, что ни он, ни другие сыновья не возьмут на себя ответственность за жизнь матери: «Способ единственный — это охранять ее постоянным надзором наемных людей. Она же, конечно, этому всеми силами воспротивится и, я уверен, никогда не подчинится. Наше же, братьев, положение в данном случае невозможно, ибо мы не можем бросить свои семьи и службы, чтобы находиться неотлучно при матери».

Бегство Толстого из Шамордина ранним утром 31 октября зеркально повторяет его «уход» из Ясной Поляны.

«В начале 4-го ч. Л. Н. вошел ко мне, разбудил; сказал, что поедет, не зная куда, и что поспал 4 ч. и видел, что больше не заснет (и поэтому) решил уехать из Шамордина утренним поездом дальше, — пишет Маковицкий. — Л. Н. опять, как и под утро перед отъездом из Ясной, сел написать письмо Софье Андреевне, а после написал и Марии Николаевне. Я стал укладывать вещи. Через 15 минут Л. Н. разбудил Александру Львовну и Варвару Михайловну».

В письме Черткову, написанном перед бегством из Шамордина, Толстой писал: «Едем на юг, вероятно, на Кавказ. Так как мне всё равно, где быть, я решил избрать юг, особенно потому, что Саша кашляет». Но для дочери с ее больными легкими лучшим местом был Крым. Именно крымское, а не кавказское направление они обдумывали накануне в гостинице, склонившись над картой железнодорожного указателя Брюля. «Намечали Крым, — пишет Маковицкий. — Отвергли, потому что туда только один путь, оттуда — некуда. Да и местность курортная, а Л. Н. ищет глушь».

Отказавшись от Крыма, «говорили о Кавказе, о Бессарабии. Смотрели на карте Кавказ, потом Льгов». «Ни на чем определенном не остановились, — вспоминает Маковицкий. — Скорее всего на Льгове, от которого в 28 верс-

тах живет Л. Ф. Анненкова, близкий по духу друг Л. Н. Хотя Льгов показался нам очень близко, Софья Андреевна могла бы приехать».

Саша, вспоминая их вечернее сидение над картой, называла Новочеркасск. «Предполагали ехать до Новочеркаска. В Новочеркасске остановиться у Елены Сергеевны Денисенко, попытаться взять там с помощью Ивана Васильевича заграничные паспорта и, если удастся, ехать в Болгарию. Если же не удастся — на Кавказ, к единомышленникам отца...»

Все варианты были плохие.

Льгов — захолустный уездный город, в котором было всего чуть более пяти тысяч жителей, в 60 верстах от Курска на реке Сейм. Имение поклонницы Толстого Леонилы Фоминичны Анненковой располагалось в 28 верстах от Льгова. Толстого приняли бы там с радостью. «Какая религиозная женщина!» — отзывается Толстой о Леониле Фоминичне в одном из писем. Но переезд к Анненковой после ухода от жены был бы для последней слишком жестоким ударом. Поэтому Толстой не намеревался останавливаться там навсегда. Только «отдохнуть». Но если бы они выбрали железнодорожную линию Сухиничи—Брянск, их дальнейший путь лежал на Киев, куда Толстой ехать вовсе не собирался. В противном случае нужно было возвращаться назад, рискуя быть настигнутым Софьей Андреевной. Таким образом, Льгов тоже был «тупиком».

И Толстой выбирает скорейший с точки зрения железнодорожного расписания, но самый длительный по географии маршрут: Козельск—Горбачево—Воронеж—Новочеркасск.

Перед отъездом он оставил сестре и племяннице письмо: «Милые друзья, Машенька и Лизонька.

Не удивитесь и не осудите меня за то, что мы уезжаем, не простившись хорошенько с вами. Не могу выразить вам обеим, особенно тебе, голубушка Машенька, моей благодарности за твою любовь и участие в моем испытании. Я не помню, чтобы, всегда любя тебя, испытывал к тебе такую нежность, какую я чувствовал эти дни и с которой уезжаю. Уезжаем мы непредвиденно, потому что боюсь, что меня застанет здесь Софья Андреевна. А поезд только один — в 8-м часу...

Целую вас, милые друзья, и так радостно люблю вас.
Л. Т.».

Уже находясь в поезде, беглецы продолжали обсуждать

вопрос: куда же они едут? «За Горбачевым опять советовались и остановились на Новочеркасске, — пишет Маковицкий. — Там у племянницы Л. Н. отдохнуть несколько дней и решить, куда окончательно направить путь — на Кавказ или, раздобыв для нас, сопровождающих Л. Н., паспорта («У вас у всех виды (на жительство. — Л. Б.), а я буду вашей прислугой без вида», — сказал Л. Н.), поехать в Болгарию или в Грецию».

Они собирались пересечь границу, провозя больного 82-летнего старика с легкоузнаваемой внешностью, всемирно известного Льва Толстого под видом прислуги?! Но это было невозможно! Во-первых, их вычислили бы на границе, потому что известие о том, что Лев Толстой сбежал из своего дома вместе с плохо говорящим по-русски доктором-словачком, к тому времени облетело весь мир. Во-вторых, в поезде их тайно сопровождал корреспондент газеты «Русское слово» Константин Орлов. Он следовал за Толстым от Козельска, имея задание с каждой крупной железнодорожной станции сообщать в газету о местонахождении Толстого и его спутников. Если бы они даже доехали до Новочеркасска, там их встречала бы толпа корреспондентов со всего юга России. Но и без этого все газеты писали о бегстве Толстого.

Газетчики уже успели допросить яснополянского кучера Фильку, который вез Толстого в Щекино, лакеев в графском доме и крестьян из Ясной Поляны, кассиров и буфетчиков на всех станциях, которые проезжал Толстой, извозчика, который вез его из Козельска в Оптину пустынь, гостиничных монахов.

Его мечта уйти, спрятаться, стать невидимым для мира была совершенно неисполнимой!

Сын Толстого Андрей был прав. Поиски превратились в своего рода спортивное состязание: кто раньше найдет Льва Толстого? «Разумеется, его новое местопребывание очень скоро будет открыто», — писала «Петербургская газета».

На станции Горбачево Саша купила свежие газеты и показала отцу...

— Всё уже известно, все газеты полны моим уходом! — воскликнул он.

В вагоне многие пассажиры читали газеты и обсуждали главную новость.

«Против меня сидели два молодых человека, — вспоминала Саша, — пошло-франтовато одетые, с папиросами в зубах.

— Вот так штуку выкинул старик, — сказал один из них. — Небось это Софье Андреевне не особенно понравилось, — и глупо захохотал, — взял, да и ночью удрал.

— Вот тебе и ухаживала она за ним всю жизнь, — сказал другой, — не очень-то, видно, сладки ее ухаживания».

Вскоре вагон облетел слух, что Толстой находится здесь. К ним стали заглядывать любопытствующие пассажиры. Одних усилий спутников Толстого сдержать этот натиск было недостаточно. Тогда вмешались кондукторы.

— Что вы ко мне пристали? — говорил один из них. — Что вы в самом деле ко мне пристали? Ведь говорю же я вам, что Толстой на предпоследней станции слез.

Толстой этого уже не видел и не слышал. Он спал, накрывшись пледом, в пустом купе. А когда проснулся, стало ясно, что Толстой тяжело болен. И Саша внезапно увидела, что из родного дома бежал не великий писатель, а 82-летний старик, больной и беспомощный.

«В четвертом часу отец позвал меня, его знобило. Я укрыла его потеплее, поставила градусник — жар. И вдруг я почувствовала такую слабость, что мне надо было сесть. Я была близка к полному отчаянию. Душное купе второго класса накуренного вагона, кругом совсем чужие, любопытные люди, равномерно стучит, унося нас всё дальше и дальше в неизвестность, холодный, равнодушный поезд, а под грудой одежды, уткнувшись в подушку, тихо стонет обессиленный больной старик. Его надо раздеть, уложить, напоить горячим... А поезд несется всё дальше, дальше... Куда? Где пристанище, где наш дом?..»

Маковицкий померил температуру — 38,1. Через час — 38,5. Начались сердечные перебои. И стало ясно, что Кавказ отменяется.

Доктор, понимая, что Толстой не может ехать дальше, побежал к кондукторам с вопросом: когда будет ближайший город с гостиницей, где можно остановиться? Они посоветовали ехать до Козлова.

Поезд двигался по маршруту Козельск—Белёв—Горбачево—Волово—Данков—Астапово—Раненбург—Богоявленск—Козлов—Грязи—Графская—Воронеж—Лиски—Миллерово—Новочеркасск—Ростов.

Ни в Данкове, ни в Астапове, ни в Раненбурге, ни в Богоявленске не было даже приличной гостиницы, где можно было бы обеспечить больному нужный уход. Но состояние Толстого было уже таким, что пришлось сойти в Астапове. Это было в 6.35 вечера.

«Я поспешил к начальнику станции, который был на перроне, сказал ему, что в поезде едет Л. Н. Толстой, он заболел, нужен ему покой, лечь в постель, и попросил принять его к себе... спросил, какая у него квартира», — пишет Маковицкий.

Начальник станции Иван Иванович Озолин, латыш по национальности и лютеранин по вероисповеданию, с изумлением смотрел на странного господина с бледным, бескровным лицом и нерусским выговором, который говорил, что на его станцию приехал больной Лев Толстой и почему-то хочет остановиться на его квартире. Но кондукторы подтвердили слова доктора.

По удачному стечению обстоятельств Озолин оказался почитателем Толстого. Он немедленно согласился принять его, задержал отход поезда, чтобы дать Толстому и его спутникам спокойно собраться и сойти. Но сразу оставить свой пост, когда подходили и отходили еще несколько поездов, он не мог. Сначала Толстого отвели в дамский зал ожидания, потому что в дамском зале не курят. По перрону Толстой шел сам, приподняв воротник пальто. Было холодно, дул резкий ветер. В зале он присел на край дивана, втянул шею в воротник, засунул руки в рукава и стал дремать, заваливаясь набок. Маковицкий предложил ему подушку. Он отказался.

«Когда мы пришли на вокзал, — вспоминала Александра Львовна, — отец сидел в дамской комнате на диване в своем коричневом пальто, с палкой в руке. Он весь дрожал с головы до ног, и губы его слабо шевелились. Я предложила ему лечь на диван, но он отказался. Дверь из дамской комнаты в залу была затворена, и около нее стояла толпа любопытных, дожидаясь прохода Толстого. То и дело в комнату врывались дамы, извинялись, оправляли перед зеркалом прически и шляпы и уходили... Когда мы под руки вели отца через станционный зал, собралась толпа любопытных. Они снимали шапки и кланялись отцу. Отец едва шел, но отвечал на поклоны, с трудом поднимая руку к шляпе».

К дому Озолина Толстого нужно было не вести, а нести. Но как? Никто из толпы, включая журналиста Орлова, не вызвался помочь врачу и двум девушкам. Шляпы снимали, кланялись. Но помощь не предлагали. Наконец, один служащий решился взять Толстого сзади под руки. Потом выяснилось, что его отец — уроженец Ясной Поляны. На выходе из станции подошел еще сторож железной дороги, он взял Толстого под мышки спереди.

Дом Озолина стоял под откосом. Было уже темно. «При выходе из здания станции, — вспоминал Озолин, — направляясь к квартире, служащий, который держал за руку Льва Николаевича, предупредил его, что спускаемся с лестницы. Он ответил: “Ничего, ничего, я вижу...” Такое предупреждение было сделано и тот же ответ был получен при входе на лестницу квартиры; один из сослуживцев при входе в коридор попросил лампу для освещения коридора, но Лев Николаевич сказал: “Нет, я вижу, я всё вижу”».

Астапово

Толстой и его спутники были еще в дороге, когда из Белёва на станцию Куркино была отправлена телеграмма: «По прибытии п. № 12 немедленно справиться, едет ли с этим поездом писатель Лев Толстой; если едет, то где он остался от поезда. Телеграф. мне. Вах. Пушк о в».

Телеграмма полицейского вахмистра* Пушкина была послана в 3.20 пополудни 31 октября. Ответ пришел через два с половиной часа из Данкова, последней крупной станции перед Астаповом: «Едет п. № 12 по билету 2 класса Ростов-Дон. Унт.-офицер Дыкин».

Еще через два часа из Астапова в Елец ушла телеграмма ротмистру Савицкому, начальнику Елецкого отделения жандармского полицейского управления железных дорог: «Писатель граф Толстой проездом п. 12 заболел. Начальник ст. г. Озолин принял его в свою квартиру. Унтер-офицер Филиппов».

«Делом» бежавшего Толстого поначалу занимались должностные лица даже не офицерского, а унтер-офицерского состава. Но уже в десять часов утра 1 ноября в Елец Савицкому телеграфировал начальник Московско-Камышинского жандармского полицейского управления железных дорог генерал-майор Львов: «Ожидается донесение на № 649». Ответ Савицкого пришел в семь вечера: «Лев Толстой, в сопровождении доктора Маковицкого и двух родственников, заболел в пути, остался в квартире начальника станции Астапово».

Ротмистр Михаил Николаевич Савицкий оказался

* Вахмистр — в дореволюционной России унтер-офицерский чин в кавалерии, казачьих частях и Отдельном корпусе жандармов, соответствует чину фельдфебеля в пехоте.

«крайним» из всех полицейских чинов, которые должны были наблюдать за Толстым и доносить в Москву, а также отвечать за общественное спокойствие в Астапове.

Возможно, ротмистр понял, какую ответственность на него хотят возложить, а потому не спешил из Ельца в Астапово. 3 ноября он телеграфировал генералу Львову о том, о чем уже знала из газет вся Россия: «После второго звонка п. № 12 дочь Толстого, ввиду заявления врача о крайне опасном его положении, обратилась с просьбой к начальнику станции дать помещение. Таковое начальником и предоставлено в своей квартире за неимением другого».

В тот же день генерал Львов *шифрованной* телеграммой приказал ему самолично отправиться в Астапово с пятью жандармами. Но Савицкий медлил и оставался в Ельце, пока из Астапова не пришла телеграмма унтер-офицера Филиппова: «Прибыли корреспонденты Утро, Русское слово, Ведомости, Речь, Голос Москвы, Новое время и Петербургское Телеграфное Агентство. Завтра поездом 11 едет Астапово рязанский губернатор».

Ответ был такой: «Астапово. Унтер-офицеру Филиппову. Никому из прибывших на вокзал не проживать. Приеду завтра вечером. Кроме квартиры начальника станции в станционных зданиях никому не оставаться. В квартире Озолина жить только четверым раньше прибывшим. Ротмистр Савицкий».

Астапово уже кишело корреспондентами газет. С каждым прибывшим поездом их количество увеличивалось. Но где их было размещать? В Астапове не было даже гостиницы. Находившийся в Саратове управляющий делами Рязанско-Уральской железной дороги Матрёнинский, в чьем подчинении находилось Астапово, телеграфировал Озолину: «Разрешаю допустить для временного на один два дня пребывания корреспондентов петербургских, московских и других газет, занятие одного резервного вагона второго класса с предупреждением, что вагон может экстренно понадобиться для начавшихся воинских перевозок». Он также отправил телеграмму начальнику дистанции Рязанско-Уральской железной дороги на станции Астапово Клясовскому, чтобы тот подготовил для временной гостиницы отдельный дом, протопил его, оборудовал кроватями с бельем.

Но, получив телеграмму от своего непосредственного начальника Савицкого, полицейский унтер-офицер Филиппов запретил журналистам заселение дома и вагона.

Обеспокоенный Матрёнинский, понимая, что ситуация на станции скоро станет неуправляемой, 4 ноября обратился телеграммой к Савицкому: «Ввиду исключительных обстоятельств покорно прошу не препятствовать нахождению на станции Астапово [в] общественных домах и вагонах прибывающих родных графа Льва Николаевича Толстого и посторонних лиц; в поселке поместиться затруднительно и даже невозможно». И Савицкий пошел на попятную. «Для помещения в полосе отчуждения лиц, имеющих паспорта, препятствий не встречается, — отвечал ротмистр, — прочих будет решено сегодня вечером на месте».

Четвертого ноября Савицкий заработал от своего генерала шифрованный нагоняй: «До сего времени ни разу не получил никаких сведений, как бы следовало делать ежедневно подробно почтою, в экстренных случаях по телеграфу, о том, что происходит Астапове. Ставите трудное положение перед штабом». Вечером Савицкий был в Астапове.

В течение восьми дней, с 31 октября по 7 ноября 1910 года, узловая станция Астапово Рязанско-Уральской железной дороги была «узловым» местом всей России.

Третьего ноября корреспондент газеты «Утро России» Савелий Семенович Раецкий сообщил в редакцию: «Телеграф работает без передышки. Запросы идут министерства путей, управления дороги, калужского, рязанского, тамбовского, тульского губернаторов. Чиновник особых [поручений] тульского губернатора приезжал, производил расследование. Семья Толстого забрасывается телеграммами всех концов России мира».

Умиравший писатель стал головной болью для местной власти. Рязанский губернатор князь Александр Николаевич Оболенский сделал попытку «убрать» Толстого со станции. Генерал Львов шифровкой приказывал Савицкому: «Телеграфируйте кем разрешено Льву Толстому пребывание Астапове станционном здании, не предназначенном помещения больных. Губернатор признаёт необходимым принять меры отправления лечебное заведение или постоянное местожительство».

Толстой стал головной болью и для руководства местной епархии. Заместителю министра внутренних дел генерал-лейтенанту Павлу Григорьевичу Курлову в Петербург пришла телеграмма от Оболенского: «Прошу сообщить, переговорив архиереем, можно ли местному священнику служить молебен здравии Толстого. Вчера его запросили, он не склонен согласиться. Посоветуйте не разрешать».

Из телеграммы можно понять, что вопрос о разрешении или запрете простому астаповскому священнику молиться о здравии Толстого решался на уровне рязанского губернатора, замминистра внутренних дел и петербургского митрополита.

Но весь этот огромный государственный механизм в конечном итоге замыкался на одном-единственном человеке, ротмистре Савицком... Он непосредственно отвечал за ситуацию в Астапове.

Как и в 1902 году, когда Толстой тяжело заболел в Крыму, Святейший синод оказался в сложном положении. Недовольство Николая II отлучением Толстого, принимая во внимание его возможную смерть, было очевидным, тем более что решение это в свое время было принято без участия царя. Премьер-министр Петр Аркадьевич Столыпин отправил в Синод своего чиновника особых поручений. Он стоял возле дверей, за которыми проходило экстренное заседание членов Синода по случаю ухода и вероятной смерти Толстого.

Четвертого ноября в Астапово пришла телеграмма санкт-петербургского митрополита Антония, того самого, который в 1902 году писал в Крым графине Софье Андреевне. Он умолял Льва Николаевича вернуться в Церковь. Но эту телеграмму Толстому уже не показали.

О реакции Николая II на конфликт Церкви и Толстого, к сожалению, известно из ненадежного источника — книги Сергея Труфанова (бывшего иеромонаха Илиодора) о Григории Распутине «Святой черт». В ней приводятся слова Распутина, говорившего с царем после смерти Толстого: «Папа (царь. — П. Б.) говорит, что если бы они (епископы. — П. Б.) ласкали Л. Н. Толстого, то он бы без покаяния не умер. А то они сухо к нему относились. За всё время только один Парфений и ездил к нему беседовать по душам. Гордецы они!»

Впрочем, тульский и белёвский епископ Парфений действительно посетил Толстого в Ясной Поляне в 1909 году, несколько часов разговаривал с ним и произвел на него самое благоприятное впечатление. Поэтому в октябре 1910-го именно Парфений был затребован Синодом в Петербург с докладом, а затем отправлен в Астапово с целью вернуть Толстого в лоно Церкви.

Его миссия не удалась. Парфений прибыл на станцию 7 ноября в девять часов утра, через три часа после смерти Толстого. Между тем он выехал из Петербурга 4-го чис-

ла. Его неторопливость, возможно, объясняется нежеланием владыки участвовать в безнадежном деле. Парфений знал, что у постели больного дежурит не Софья Андреевна, а Чертков и Саша, которые не допустят встречи Толстого с православным архиереем.

Парфений не хотел оказаться в неудобной ситуации, в которой поневоле оказался оптинский старец Варсонофий.

По поводу приезда Варсонофия в Астапово до сих пор существует миф, не имеющий к астаповской истории никакого отношения. Якобы, уходя из Ясной Поляны, Толстой думал вернуться в православие. Ради этого он поехал в Оптину пустынь, где хотел остаться послушником. Но гордыня не пустила его к старцам. Выгнанный из Шаморди-на приехавшей туда дочерью Сашей, он отправился в дальнейший путь. Но, оказавшись в Астапове, уже смертельно больной, он раскаялся и послал в Оптину телеграмму о желании встретиться с Варсонофием. Однако приехавшего со Святыми Дарами Варсонофия не пустили к Толстому Чертков и младшая дочь. Они же не пустили к Толстому и его глубоко верующую жену.

Никакой телеграммы Толстого в Оптину не было. Этот миф возник после публикации в русском православном журнале, выходящем в Бразилии (Владимирский вестник. 1956. № 62) воспоминаний бывшего послушника оптинской канцелярии игумена Иннокентия. В них говорилось, что из Астапова в монастырь приходила телеграмма от Толстого с просьбой, чтобы *отец Иосиф* приехал на станцию. Посовещавшись, монастырская братия решила послать туда не тяжелобольного Иосифа, а скитоначальника Варсонофия.

Иннокентий, вероятно, имел в виду телеграмму калужского епископа Вениамина об указании Синода иеромонаху Иосифу ехать на станцию Астапово к заболевшему графу. И действительно, вместо больного отца Иосифа поехал старец Варсонофий.

В «Летописи» Оптиной пустыни нет ни слова о телеграмме Толстого. Но в ней подробно говорится о телеграмме калужского епископа Вениамина, из-за которой отец Варсонофий оказался в Астапове.

«Накануне, 4-го числа сего месяца (ноября. — П. Б.), утром получена телеграмма Преосвященного Калужского о назначении по распоряжению Синода бывшему скитоначальнику иеромонаху Иосифу ехать на стан-

цию Астапово Рязанско-Уральской железной дороги к заболевшему в пути графу Льву Толстому для предложения ему духовной беседы и религиозного утешения в целях примирения с Церковью. На сие отвечено телеграммой, что отец Иосиф болен и на воздух не выходит, но за послушание ехать решился. При сем настоятелем Оптиным испрашивалось разрешение вследствие затруднения для отца Иосифа ехать по назначению заменить его отцом игуменом Варсонофием. На это последовал ответ епископа Вениамина, что Святейший Синод сие разрешил. Затем отцом настоятелем телеграммой запрошено у Преосвященного, достаточно ли в случае раскаяния Толстого присоединить его к Церкви чрез Таинства Покаяния и Святого Причащения, на что получен ответ, что посланное для беседы с Толстым лицо имеет донести Преосвященному Калужскому о результате сей беседы, чтобы епископ мог о дальнейшем снестись с Синодом. Вечером 4-го же числа от старца отца Иосифа было телеграммой спрошено у начальника станции Астапово, там ли Толстой, можно ли его застать 5-го числа вечером и если выехать, то куда. На это получен ответ, что семья Толстого просит не выезжать. Однако утром сего числа игумен Варсонофий, во исполнение синодального распоряжения, выехал к графу Толстому в Астапово».

Толстой не выражал желания встретиться в Астапове с православным священником. Но не было никакой инициативы и со стороны Оптиной пустыни. Инициатива исходила от Синода, а старцы приняли ее как *послушание*.

Приехавший в Астапово Варсонофий, в отличие от епископа Вениамина, оказался в трудном положении. Открыть истинные причины своего приезда он не мог — это означало бы выставить Синод в неподобающем свете. Варсонофий вынужден был об этом молчать. Но при этом он выглядел самозванцем. Ведь его не приглашал в Астапово не только Толстой, но и его семья, которая к тому времени уже в полном составе (за исключением Льва Львовича) находилась на станции и жила в отдельном вагоне.

Варсонофий оказался таким же «крайним», как и ротмистр Савицкий. На него переложили ответственность за роковое решение Синода 1901 года, к которому старец не имел ни малейшего отношения. Варсонофий был вынужден не просто молчать, а говорить неправду. Журналист Александр Федорович Аврех телеграфировал в газету «Раннее Утро»: «Только что приехал игумен из Оптиной пусты-

ни Варсонофий сопровождении иеромонаха Пантелеймона (оптинского врача. — П. Б.). По словам последнего Варсонофий командирован Синодом. Сам же Варсонофий отрицает это, говоря, что заехал проездом на богомолье».

Репортер Петр Абрамович Виленский сообщил в газету «Киевская мысль»: «Мне игумен сказал, Толстого не знает; ехал на богомолье, заехал».

Для оптинского старца поначалу даже не нашлось места для проживания. Виленский: «Варсонофий ночует дамской уборной».

В дом Озолина старца не пустили. Корреспондент Гарнес — «Саратовскому вестнику»: «Монахи прибыли дарами, совещались дорожным священником, ночью тайно пробрались дому. Толстому не проникли: дверь замке, ключник пропускает паролю».

Не самым красивым образом повела себя по отношению к старцу и дочь Толстого. Зная, что отец первым делом поехал в Оптину, Саша сделала всё для того, чтобы в Астапове он ничего не узнал о приезде священника. У нее была отговорка: врачи не советовали беспокоить больного. Но это зыбкое оправдание. В Крыму, когда Толстой тоже находился в предсмертном состоянии, Софья Андреевна сообщила ему о телеграмме Антония и ничего страшного не случилось. Зато мы точно знаем, что думал Толстой о Церкви в тот момент. Мы не знаем, что он думал о ней в Астапове.

Второй миф, связанный с телеграммами, якобы посланными Толстым из Астапова, — что единственным человеком, которого он вызвал к себе, был Чертков. Об этом сам Чертков написал в книге «Уход Толстого», вышедшей в 1922 году. Но никакой телеграммы Толстого с вызовом Черткова не было. Телеграмма была от Саши со слов Толстого, вроде бы пожелавшего видеть рядом с собой Черткова. Однако сам он продиктовал дочери телеграмму совсем другого содержания. Две телеграммы были посланы ею одновременно утром 1 ноября.

В это утро, пишет Маковицкий, Толстой почувствовал себя лучше. Температура упала до 36,2. «Л. Н. говорил, что ему лучше и что можно ехать дальше». Телеграмма Черткову, которую Толстой продиктовал Саше, была такая: «Вчера захворал. Пассажиры видели ослабевши шел с поезда. Нынче лучше. Едем дальше. Примите меры. Известите. Николаев».

О каких мерах шла речь? Без сомнения, они касались

Софьи Андреевны. Об этих мерах Толстой написал Черткову еще из Шамордина, попросив друга не приезжать к нему, а оставаться на месте, следить за состоянием Софьи Андреевны и сообщать об этом ему по пути следования. Но вместе с телеграммой, продиктованной отцом, Саша отправила свою: «Вчера слезли Астапово. Сильный жар, забытье. Утром температура нормальная, теперь снова озноб. Ехать невыносимо. Выражал желание видиться с вами. Фролова (секретная подпись. — П. Б.)».

Конечно, то состояние, в котором находился Толстой и во время ухода из Ясной Поляны, и в Астапове, не позволяет делать какие-то уверенные выводы. Кроме одного: Толстой явно *хотел* видеть Черткова.

В письме старшим детям из Астапова он писал: «Милые мои дети, Сережа и Таня, надеюсь и уверен, что вы не попрекнете меня за то, что я не призвал вас. Призвание вас одних без мамá было бы великим огорчением для нее, а также и для других братьев. Вы оба поймете, что Чертков, которого я призвал, находится в исключительном по отношению ко мне положении. Он посвятил свою жизнь на служение тому делу, которому и я служил в последние 40 лет моей жизни».

После бегства мужа из дома Софья Андреевна попыталась помириться с Чертковым. Через секретаря Валентина Булгакова она пригласила его приехать в Ясную Поляну. И получила отказ.

«В Ясной Поляне, — пишет Булгаков, — все были удивлены, что я вернулся один. Никто не допускал и мысли, что Чертков мог отказать Софье Андреевне в исполнении ее желания увидеться и примириться с ним... Когда Владимир Григорьевич выслушал просьбу Софьи Андреевны, он было в первый момент согласился поехать в Ясную Поляну, но потом раздумал.

— Зачем же я поеду? — сказал он. — Чтобы она унижалась передо мной, просила у меня прощения? Это ее уловка, чтобы просить меня послать ее телеграмму Льву Николаевичу».

Он всё правильно понял. Главной ее задачей было вернуть мужа во что бы то ни стало. Даже ценой временного примирения с человеком, которого она ненавидела. Но в данной ситуации Чертков поступил неблагородно. Он холодно отказался вступить с соперницей в переговоры. Он послал жене Толстого вежливое письмо, прочитав которое она презрительно сказала: «Сухая мораль!»

Чертков первым примчался к Толстому. Раньше врачей, священников, членов его семьи. Уже 2 ноября. «В девять часов утра приехал Владимир Григорьевич со своим секретарем А. П. Сергеенко, — вспоминала Саша. — Очень трогательно было их свидание с отцом после нескольких месяцев разлуки. Оба плакали. Я не могла удержаться от слез, глядя на них, и плакала в соседней комнате».

Чертков в своих воспоминаниях тоже описал встречу: «Я застал Л. Н-ча в постели, весьма слабым, но в полной памяти. Он очень обрадовался мне, протянул мне свою руку, которую я осторожно взял и поцеловал. Он прослезился и тотчас же стал расспрашивать, как у меня дома... Вскоре он заговорил о том, что в эту минуту его, очевидно, больше всего тревожило. С особенным оживлением он сказал мне, что нужно принять все меры к тому, чтобы Софья Андреевна не приехала к нему. Он несколько раз с волнением спрашивал меня, что она собирается предпринять. Когда я сообщил ему, что она заявила, что не станет против его желания добиваться свидания с ним, то он почувствовал большое облегчение и в этот день уже больше не заговаривал со мной о своих опасениях...»

Это правда, что Толстой боялся приезда супруги. В ночь на 1 ноября он бормотал во сне:

— Удрать... Удрать... Догонять!

В результате семья Толстого узнала о его местонахождении не от Саши, Черткова или Маковицкого, а от корреспондента «Русского слова» Константина Орлова. За это дочь Толстого Татьяна была ему «до смерти» благодарна. «Отец умирает где-то поблизости, а я не знаю, где он, — вспоминала она. — И я не могу за ним ухаживать. Может быть, я его больше и не увижу. Позволят ли мне хотя бы взглянуть на него на его смертном одре? Бессонная ночь. Настоящая пытка. Но нашелся неизвестный нам человек, который понял и сжалился над семьей Толстого. Он телеграфировал нам: "Лев Николаевич в Астапове у начальника станции. Температура 40°"».

Для поездки в Астапово семья Толстого арендовала отдельный поезд. Поздно вечером 2 ноября на станцию прибыли Софья Андреевна, Татьяна, Андрей и Михаил.

Сергей и Илья приехали отдельно.

На семейном совещании все дети решили не допускать мать к отцу. Это развенчивает третий миф — о том, что Софью Андреевну к мужу не пускали Саша и Чертков. Все дети понимали, что в том состоянии, в котором находит-

ся отец, и в том, в котором находится мать, их встреча невозможна. Этого не понимал только находившийся в Париже Лев Львович, который узнавал о том, что происходило в Астапове, из французских газет. В воспоминаниях он писал: «Есть фотография, снятая с моей матери в Астапове. Неряшливо одетая, она крадется снаружи домика, где умирал отец, чтобы подслушать, подсмотреть, что делается там. Точно какая-то преступница, глубоко виноватая, забитая, раскаянная, — она стоит, как нищенка, под окном комнатки, где умирает ее муж, ее Лёвочка, ее жизнь, ее тело, она сама».

Существует не только фотография, но и кинохроника этого страшного момента, которую сделал первый русский кинооператор Александр Дранков. Софья Андреевна всматривается в окно дома Озолина, пытаясь увидеть своего мужа. Вдруг рядом открывается дверь. Софья Андреевна пытается войти в дом. Ее отталкивает какая-то женщина. По-видимому, это Саша. В дневнике она пишет, что, увидев мать и стоявшего за ней человека с трещавшей кинокамерой, пришла в ужас...

В этой истории нельзя найти одного, двух или трех виноватых. Все, кроме Черткова, не знали, как себя вести. Не только Софья Андреевна, но и сыновья Илья, Андрей и Михаил не были возле постели умиравшего. Возможно, они чувствовали вину перед отцом. Но главное — их появление в доме Озолина означало бы, что в Астапове находится вся семья... и Софья Андреевна, конечно. Поэтому к отцу пришли только старшие дети — Сергей и Татьяна. Но и они были вынуждены делать вид, что приехали одни.

Варвара Феофановна в дневнике пишет, что Толстой, конечно, догадывался о нахождении жены в Астапове. Приученные отцом не лгать, Саша, Сергей и Татьяна не могли сказать ему в глаза, что Софья Андреевна продолжает оставаться в Ясной, а он спрашивал о ней постоянно. Приходилось уклоняться от разговоров на эту тему.

«Он начал с того, что слабым прерывающимся голосом с придыханием сказал: “Как ты нарядна и аванжна”, — писала Татьяна мужу. — Я сказала, что знаю его плохой вкус, и посмеялась. Потом он стал расспрашивать про мамá. Этого я больше всего боялась, потому что боялась сказать ему, что она здесь, а прямо солгать ему, я чувствовала, что у меня не хватит сил. К счастью, он так поставил вопрос, что мне не пришлось сказать ему прямой лжи.

— С кем она осталась?

— С Андреем и Мишей.

— И Мишей?

— Да. Они все очень солидарны в том, чтобы не пускать ее к тебе, пока ты этого не пожелаешь.

— И Андрей?

— Да, и Андрей. Они очень милы, младшие мальчики, очень замучились, бедняжки, стараются всячески успокоить мать.

— Ну, расскажи, что она делает? Чем занимается?

— Папенька, может быть, тебе лучше не говорить: ты взволнуешься.

Тогда он очень энергично меня перебил, но всё-таки слезящимся, прерывающимся голосом сказал:

— Говори, говори, что же для меня может быть важнее этого? — И стал дальше расспрашивать, кто с ней, хорош ли доктор. Я сказала, что нет и что мы с ним расстались, а очень хорошая фельдшерица, которая служила три с половиной года у С. С. Корсакова и, значит, к таким больным привыкла.

— А полюбила она ее?

— Да.

— Ну дальше. Ест она?

— Да, ест и теперь старается поддержать себя, потому что живет надеждой свидеться с тобой.

— Получила она мое письмо?

— Да.

— И как же она отнеслась к нему?»

Этими вопросами он мучил детей и самого себя. Но так и не сказал главного. Не сказал, что *хотел бы видеть перед смертью жену*. Хотя один раз он был на волосок от этого.

«Как-то раз, — вспоминала Татьяна Львовна, — когда я около него дежурила, он позвал меня и сказал: “Многое падает на Соню. Мы плохо распорядились”.

От волнения у меня перехватило дыхание. Я хотела, чтобы он повторил сказанное, чтобы убедиться, что я правильно поняла, о чем идет речь. “Что ты сказал, папá? Какая со... сода?”

И он повторил: “На Соню, на Соню многое падает”.

Я спросила: “Хочешь ты видеть ее, хочешь видеть Соню?” Но он уже потерял сознание».

В Астапове Толстой раздражался на окружающих за то, что его не могут правильно понять. «Как вы не понимаете. Отчего вы не хотите понять... Это так просто... Почему вы не хотите это сделать», — бормотал он в бреду за два дня до

смерти. «И он, видимо, мучился и раздражался оттого, что не может объяснить, что надо понять и сделать, — вспомнил Сергей Львович. — Мы так и не поняли, что он хотел сказать».

Шестого числа утром он привстал на кровати и отчетливо произнес: «Только советую вам помнить одно: есть пропасть людей на свете, кроме Льва Толстого, а вы смóтрите на одного Льва».

Согласно запискам Маковицкого, он часто говорил: «Не будите меня», «Не мешайте мне», «Не пихайте в меня».

Когда у постели больного собрался консилиум из шести докторов, Толстой спросил:

— Кто эти милые люди?

Врач Никитин хотел поставить клизму, но Толстой отказался. «Бог всё устроит», — сказал он. Когда его спрашивали, чего он хочет, он отвечал: «Мне хочется, чтобы мне никто не надоедал».

«Он как ребенок маленький совсем!» — воскликнула Саша, когда умывала отца.

«Никогда не видал такого больного!» — признался прибывший из Москвы врач Усов. Когда во время осмотра он приподнимал больного, поддерживая его за спину, тот обнял его и поцеловал.

Перед смертью ему привиделись две женщины. Одной он испугался и просил занавесить окно. Возможно, это была жена. Увидев вторую, он громко воскликнул: «Маша! Маша!» «У меня дрожь пробежала по спине, — писал С. Л. Толстой. — Я понял, что он вспомнил смерть моей сестры Маши, которая была ему особенно близка (Маша умерла тоже от воспаления легких в ноябре 1906 года)».

Однажды две женщины пришли к нему вместе. Александра Львовна вспоминала: «Днем проветривали спальню и вынесли отца в другую комнату. Когда его снова внесли, он пристально посмотрел на стеклянную дверь против его кровати и спросил у дежурившей Варвары Михайловны:

— Куда ведет эта стеклянная дверь?

— В коридор.

— А что за коридором?

— Сенцы и крыльцо.

В это время я вошла в комнату.

— А что эта дверь, заперта? — спросил отец, обращаясь ко мне.

Я сказала, что заперта.

— Странно, а я ясно видел, что из этой двери на меня смотрели два женских лица.

Мы сказали, что этого не может быть, потому что из коридора в сенцы дверь также заперта.

Видно было, что он не успокоился и продолжал с тревогой смотреть на стеклянную дверь.

Мы с Варварой Михайловной взяли плед и занавесили ее.

— Ах, вот теперь хорошо, — с облегчением сказал отец. Повернулся к стене и на время затих».

Кроме смертных мук («Как Л. Н. кричал, как метался, как задыхался!» — писал Маковицкий) страдание его заключалось в том, что разум продолжал работать. Толстой пытался диктовать окружающим какие-то важные для него вещи, но язык уже не повиновался ему.

«Отец просил нас записывать за ним, но это было невозможно, так как он говорил отрывочные, непонятные слова, — вспоминала Александра Львовна. — Когда он просил прочитать записанное, мы терялись и не знали, что читать. А он всё просил:

— Да прочтите же, прочтите!

Мы пробовали записывать его бред, но чувствуя, что записанное не имело смысла, он не удовлетворялся и снова просил прочитать».

Последняя запись в дневнике Толстого от 3 ноября: «Вот и план мой. *Fais ce que dois, adv...** И всё на благо и другим, и главное мне...»

Последние осмысленные слова, сказанные им за несколько часов до смерти старшему сыну: «Сережа... истину... я люблю много, я люблю всех».

«За всё время его болезни, — вспоминала Александра Львовна, — меня поражало, что, несмотря на жар, сильное ослабление деятельности сердца и тяжелые физические страдания, у отца всё время было поразительное ясное сознание. Он замечал всё, что делалось кругом, до мельчайших подробностей. Так, например, когда от него все вышли, он стал считать, сколько всего приехало народа в Астапово, и счел, что всех приехало 9 человек».

Навязчивой идеей умиравшего Толстого было бегство. «Удирать! Удирать!» — часто бормотал он. 5 ноября он опять попытался сбежать.

«Всё это время, — вспоминала Александра Львовна, —

* Незаконченное: «Делай, что должно, и будь что будет» (фр.).

мы старались дежурить по двое, но тут случилось как-то так, что я осталась одна у постели отца. Казалось, он задремал. Но вдруг сильным движением он привстал на подушках и стал спускать ноги с постели. Я подошла. “Что тебе, папаша?” — “Пусти, пусти меня”, — и он сделал движение, чтобы сойти с кровати. Я знала, что, если он встанет, я не смогу удержать его, он упадет, и я всячески пробовала успокоить его и удержать на кровати. Но он изо всех сил рвался от меня и говорил: “Пусти, пусти, ты не смеешь меня держать, пусти!” Видя, что я не могу справиться с отцом, так как мои увещевания и просьбы не действовали, а силой у меня не хватало духу его удержать, я стала кричать: “Доктор, доктор, скорее сюда!” Кажется, в это время дежурил Семеновский. Он вошел вместе с Варварой Михайловной, и нам удалось успокоить отца и удержать его на кровати».

Серьезным переживанием для него стало то, что вместе с камфорой ему кололи и морфий, чтобы избавить от физических страданий. Он ненавидел наркотики! Он ненавидел всё, что затуманивает разум! Когда перед самым смертным концом врачи предложили ему впрыснуть морфий, Толстой заплетающимся языком просил: «Парфину не хочу... Не надо парфину!»

«Впрыснули морфий, — пишет Маковицкий. — Л. Н. еще тяжелее стал дышать и, немощен, в полубреду бормотал:

— Я пойду куда-нибудь, чтобы никто не мешал... Оставьте меня в покое... Надо удирать, надо удирать куда-нибудь...»

Только после инъекции морфия к нему впустили Софью Андреевну. «Она сперва постояла, издали посмотрела на отца, — пишет Сергей Львович, — потом спокойно подошла к нему, поцеловала его в лоб, опустилась на колени и стала ему говорить: “Прости меня” и еще что-то, чего я не расслышал».

Около трех часов утра 7 ноября он очнулся, открыл глаза. Кто-то поднес к его глазам свечу. Он поморщился и отвернулся. Маковицкий подошел к нему, предложил попить: «Овлажните свои уста, Лев Николаевич». Толстой сделал один глоток. После этого жизнь в нем проявлялась только в дыхании.

В шесть часов пять минут Толстого не стало...

ЭПИЛОГ

Толстой не любил вспоминать свою жизнь. Он не принадлежал к тем словоохотливым дедушкам, что в глубокой старости собирают вокруг себя детей и внуков и рассказывают о своем прошлом с гордостью или добродушным юмором.

Возможно, во время прогулок по яснополянскому парку или одному из ближних лесов, Заказу или Чепыжу, Толстой мысленно и обращался к прошлому. Но в дневниках, которые он писал после этих прогулок, мы не найдем тому прямых свидетельств. Один результат мысли.

«Ради Бога, хоть не Бога, но ради самих себя, опомнитесь. *Поймите всё безумие своей жизни.* Хоть на часок отрешитесь от тех мелочей, которыми вы заняты и которые кажутся вам такими важными: все ваши миллионы, грабежи, приготовления к убийствам, ваши парламенты, науки, церкви... Хоть на часок оторвитесь от всего этого и взгляните на свою жизнь, главное на себя, на свою душу, которая живет такой неопределенный, короткий срок в этом теле, опомнитесь, взгляните на себя и на жизнь вокруг себя и поймите всё свое безумие, и ужаснитесь на него...»

Мог ли этот человек с радостью вспоминать свое прошлое, а тем более гордиться им? Ведь и его собственная жизнь в значительной ее части, когда он жил теми мелочами, которые казались ему тогда такими важными, в старости стала для него источником муки и стыда. Позорная, *постыдная* жизнь!

В 1903 году по просьбе своего биографа Павла Ивановича Бирюкова Толстой всё же начал писать «Воспоминания». «В это время я заболел, — признаётся он. — И во время невольной праздности болезни мысль моя всё вре-

мя обращалась к воспоминаниям, и эти воспоминания были ужасны. Я с величайшей силой испытал то, что говорит Пушкин в своем стихотворении:

ВОСПОМИНАНИЕ

Когда для смертного умолкнет шумный день
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, трудов земных награда, —
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток:
И, с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю».

«В последней строке, — замечает Толстой, — я только изменил бы так, вместо: строк печальных... поставил бы: строк постыдных...»

Перед тем как начать «Воспоминания», пишет в дневнике: «Я теперь испытываю муки ада: вспоминаю всю мерзость своей прежней жизни, и воспоминания эти не оставляют меня и отравляют жизнь».

Едва ли не главное духовное утешение верующего человека состоит в надежде, что после смерти он сохранится как личность. А ведь это невозможно, если за гробом не помнить свою жизнь, не помнить себя. Но именно такая перспектива казалась Толстому самой ужасной! Он верил, что после смерти его *как личности* просто не будет. Исчезнет память, и не будет никакого *Льва Толстого*.

«Какое счастье, что воспоминание исчезает со смертью и остается одно сознание... Да, великое счастье — уничтожение воспоминания, с ним нельзя бы жить радостно...» — писал он.

И даже в земном существовании опасность забывания не пугала, а скорее радовала Толстого. «Моя жизнь — мое сознание моей личности всё слабеет и слабеет, будет еще слабее и кончится маразмом и совершенным прекращением сознания личности».

Мог ли такой человек написать «Воспоминания»? Толстой не только не закончил их, но даже не довел до начала самостоятельной жизни, ограничившись детством, отрочеством и несколькими впечатлениями от юности в Казани.

И только милое детство было радостно вспоминать. «Да, столько впереди интересного, важного, что хотелось бы рассказать, а не могу оторваться от детства, яркого, нежного, поэтического, любовного и таинственного детства».

В раннем детстве он любил слушать рассказы о своей матери, которую считал почти святой. Об отце, красивом и сильном мужчине, герое войны 1812—1814 годов. О дедушке, гордом просвещенном аристократе. В огромном родительском доме было 32 комнаты. Но почему-то детский горшок находился в комнате экономки. Старый Толстой в «Воспоминаниях» умиленно называет его «детским суднышком». На этом-то «суднышке» маленький Лёвочка и слушал истории об участии дедушки в покорении Очакова.

«— Прасковья Исаевна, а дедушка как воевал? Верхом? — кряхтя спросишь ее, чтобы только поговорить и послушать.

— Он всячески воевал, и на коне, и пеший. Зато генерал-аншеф был, — ответит она и, открывая шкаф, достает смолку, которую она называла очаковским курением. По ее словам выходило, что эту смолку дедушка привез из-под Очакова. Зажжет бумажку об лампадку у икон и зажжет смолку, и она дымит приятным запахом».

В этой картине есть что-то церковное. Зажженная смолка — как ладан в кадиле. Безгрешная душа на «суднышке» уносится в прошлое своих предков. Она счастлива, что соединяется с ними, ушедшими, но такими живыми!

А жизнь... Что жизнь? Это то «важное», от чего он в старости как раз призывал «отрешиться». И в это «важное», если бы он продолжил «Воспоминания», вошли бы Кавказ и Севастополь, заграница и женитьба, деревенское хозяйство и та, как пишет поздний Толстой, «художественная болтовня, которой наполнены мои 12 томов сочинений и которым люди нашего времени приписывают не заслуженное ими значение...».

Обычно после смерти писателя, признанного гением еще при жизни, остаются черновики, незаконченные вещи и ранние опыты. С Толстым было не так. Когда вышли три книги его «Посмертных художественных произведений»,

публика ахнула! Шедевр на шедевре! «Дьявол», «Отец Сергий», «Живой труп», «После бала», «Фальшивый купон», «Хаджи-Мурат». Всё это он не опубликовал при жизни. Зачем? Куда было спешить?

Жизнь Толстого... Что в ней было главное и что второстепенное? Как он сам это понимал?

Это может показаться странным, но единственной целью и смыслом существования этого величайшего моралиста была *радость жизни*. Об этом он часто писал. «Жизнь должна и может быть непрерывающей радостью». «Человек должен бы быть всегда радостным. Если радость кончается, ищи, в чем ошибся». «Если жизнь не представляется тебе огромной радостью, то это только потому, что ум твой ложно направлен».

Это чувство — *непрерывающей радости жизни* — он потерял с окончанием детства. И все оставшиеся годы потратил на то, чтобы это чувство вернуть.

Разуверившись в возможности изменить внешние обстоятельства своей жизни, которые, как он сперва думал, мешали возвращению этого чувства, он стал менять самого себя, свой ложно направленный ум. На это ушли десятилетия каторжной работы над самим собой.

Достиг он ли этого чувства? Трудно сказать. Бегство из Ясной Поляны 82-летнего старика было нарушением главного открытого им морального закона: ничего не изменяй во внешних обстоятельствах — меняйся сам!

Значит, жизнь не удалась? Но тогда почему фигура Толстого и сегодня притягивает внимание читающих людей всего мира? Притягивает едва ли не больше, чем все его художественные творения. Почему сам облик седобородого старца в белой «толстовке», запечатленный на тысячах фотографий и в кадрах кинохроники, продолжает нести в себе таинственный смысл, который мы пытаемся разгадать? Почему его могила в лесу, на краю мрачного оврага, по виду такая скромная, оказалась одной из самых посещаемых усыпальниц мира, подобно Тадж-Махалу и египетским пирамидам?!

Не потому ли, что *вблизи Толстого* мы чувствуем то же, что и его современники, один или несколько раз побывавшие в Ясной Поляне? Они покидали это место с главными вопросами в душе: в чем же секрет жизни этого человека и почему так неотразимо его влияние?

«Тот, кто вглядывался в его походку, поворот головы, посадку, тот ясно видел *всегда* сознательность движений,

т. е. каждое движение было выработано, разработано, осмыслено, выражало идею», — писал знакомый семьи Толстых, профессор медицины Владимир Федорович Снегирев. И всякий, кто хотя бы однажды встречался с Толстым, чувствовал, что этот человек кроме жизни, которую он провел на глазах у всех, прожил еще одну. Не ту, которой жили его современники и которой живем мы.

Жизнь свободного человека.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Л. Н. ТОЛСТОГО*

- 1828, 28 августа — в имении Ясная Поляна Крапивинского уезда Тульской губернии в семье военного, участника Отечественной войны 1812 года графа Николая Ильича Толстого и его жены Марии Николаевны родился сын Лев.
- 1830, 4 августа — смерть матери «от нервной горячки».
- 1835 — написал ученические упражнения «Орел» и «Сокол» — первые известные автографы.
- 1837, январь — переезд семьи из Ясной Поляны в Москву.
21 июня — смерть отца «от кровавого удара».
Назначение опекуницей тетки, А. И. Остен-Сакен.
- 1838, 25 мая — смерть бабушки, П. Н. Толстой.
Переехал с братом Дмитрием, сестрой Марией и тетушкой Т. А. Ёргольской в Ясную Поляну.
- 1840 — написал первое литературное произведение — поздравительные стихи Т. А. Ёргольской «Милой тётиньке».
- 1841, 30 августа — смерть в Оптиной пустыни опекуни А. И. Остен-Сакен.
Сентябрь — переехал с братьями и сестрой в Казань к новой опекуне, П. И. Юшковой.
- 1844, сентябрь — поступил в Казанский университет на восточное отделение.
- 1846, январь — посажен в карцер за непосещение лекций.
Перевелся на юридической факультет.
- 1847, март — лечился в университетской клинике от гонореи; начал вести дневник.
Апрель — бросил университет.
Май — переехал в Ясную Поляну, предпринял первые попытки заниматься сельским хозяйством.
Июль — вместе с братьями подписал акт о разделе родительского наследства.
- 1848, октябрь — переехал в Москву, где стал жить «очень безалаберно, без службы, без занятий, без цели».
- 1849, февраль — отправился в Петербург для сдачи экзаменов в университете.
Апрель — сдал экстерном экзамены на степень кандидата права.
Май — возвратился в Ясную Поляну.
Занимался музыкой. Пытался организовать школу для крестьянских детей.
- 1850, декабрь — переехал в Москву.
Жил «совершенно скотски, хотя и не совсем беспутно».

* Даты приводятся по действовавшему тогда в России юлианскому календарю.

- 1851, *март* — начал вести «франклиновский дневник».
- Октябрь* — уехал на Кавказ с братом Николаем.
- 1852, *январь* — сдал экзамен на чин юнкера, зачислен на военную службу фейерверкером 4-го класса.
- Сентябрь* — опубликовал в девятом номере журнала «Современник» повесть «Детство» за подписью Л. Н.
- 1853 — участвовал в походах против чеченцев; начал работать над повестями «Кзаки» и «Отрочество».
- 1854, *январь—февраль* — возвратился с Кавказа в Ясную Поляну.
- Февраль* — приехал в Москву.
- Март* — отправился в Дунайскую армию через Курск, Полтаву и Кишинев.
- Апрель* — прибыл в Бухарест.
- Май—июнь* — участвовал в осаде крепости Силистрия.
- Июнь* — возвратился в Бухарест.
- Сентябрь* — прибыл в Кишинев. Вместе с другими офицерами пытался организовать журнал «Солдатский вестник».
- Ноябрь* — переведен в Севастополь; получил отказ императора Николая I в разрешении издавать журнал.
- 1855, *январь* — проиграл в карты деньги от продажи родового яснополянского дома.
- Март* — участвовал в ночной вылазке вместе с А. Д. Столыпиным.
- Апрель* — служил в Севастополе на самом опасном 4-м бастионе.
- Июнь* — опубликовал в «Современнике» рассказ «Севастополь в декабре месяце» — первый в цикле, впоследствии названном «Севастопольские рассказы». Указание Александра II перевести рассказ на французский язык.
- Август* — участвовал в «неудачном, ужасном деле» — сражении на речке Черной. Падение Севастополя.
- Ноябрь* — уехал из Крыма в Петербург с заездом в Ясную Поляну.
- Ноябрь—декабрь* — жил у И. С. Тургенева, общался с Н. А. Некрасовым, познакомился с А. А. Фетом, И. А. Гончаровым, А. Ф. Писемским, А. В. Дружининым и другими писателями.
- 1856, *январь* — посетил в Орле умирающего брата Дмитрия.
- Ноябрь* — уволился с военной службы.
- 1857, *январь* — отправился в первое заграничное путешествие.
- Март* — наблюдал публичную казнь на гильотине, в ужасе бежал из Парижа.
- Июль* — в Баден-Бадене проиграл в рулетку три тысячи франков. Узнал о разрыве сестры с мужем. «Эта новость задушила меня». Уехал в Россию спасать сестру.
- 1858, *сентябрь* — познакомился с «милыми девочками» — сестрами Лизой, Соней и Таней Берс.
- 1859 — охотился с Фетом и Тургеневым. Открыл в Ясной Поляне

школу для крестьянских детей. Написал повесть «Семейное счастье».

1860, июль — отправился с сестрой Марией и ее детьми во второе заграничное путешествие.

Сентябрь — присутствовал при смерти брата Николая во французском городе Гиере.

1861, февраль — посетил Лондон, познакомился с А. И. Герценом.

Март—апрель — во время заграничного путешествия изучал систему образования в Европе; пришел к мысли об издании в России своего педагогического журнала. «Цель одна — образование народа».

Апрель — приехал в Петербург.

Май — возвратился в Ясную Поляну. Назначен мировым посредником в деле освобождения крестьян. В имении Фета ссора с Тургеневым, едва не завершившаяся дуэлью.

Сентябрь — приехал в Москву, посещал Берсов, начал думать о женитьбе. «Лиза Берс искушает меня; но этого не будет».

1862, январь — выход первого номера педагогического журнала «Ясная Поляна».

Февраль — после крупного проигрыша в карты взял деньги займы у издателя журнала «Русский вестник» М. Н. Каткова с обязательством предоставить ему повесть «Казак».

Май—июль — совершил поездку в Самарскую губернию для поправки здоровья.

Август — в имении родственника Берсов А. М. Исленева объяснился в любви Софье Берс.

23 сентября — женился на Софье Берс, в тот же день уехал с женой в Ясную Поляну.

1863, 28 июня — рождение первенца Сергея.

Жил с семьей в Ясной Поляне. Охладел к педагогической деятельности. Начал работать над романом-эпопеей, впоследствии названным «Война и мир».

1864, 4 октября — рождение дочери Татьяны.

Работал над романом, занимался сельским хозяйством.

1865, февраль — начало публикации в «Русском вестнике» глав романа «1805 год» (первоначальное название «Войны и мира»).

1866, 22 мая — рождение сына Ильи.

Июль — участвовал в качестве адвоката в военно-полевом суде над солдатом Шабунинным, ударившим офицера.

Июль—август — сделал пристройку к яснополянскому дому.

Октябрь — утвержден в звании почетного мирового судьи.

1867—1868 — работал над завершением романа «Война и мир» и его отдельным изданием.

1869, 20 мая — рождение сына Льва.

Сентябрь — во время поездки с целью осмотра имения перед покупкой пережил нервный срыв — «арзамасский ужас».

Октябрь — подписан в печать последний, шестой том «Войны и мира».

1870 — начал работать над романом о Петре I.

1870/71, *зима* — за полтора месяца выучил греческий язык.

1871, 12 *февраля* — рождение дочери Марии.

Февраль — первый серьезный конфликт в семье из-за намерения Софьи Андреевны отказаться от дальнейшего рождения детей.

Март — читал в подлиннике Платона и Гомера.

13 *июня* — рождение сына Петра.

Июнь — подозревая, что болен чахоткой, уехал в самарские степи для лечения кумысом.

1872, *март* — написал рассказ для детей «Кавказский пленник».

Май — перестраивал яснополянский дом для растущей семьи.

Ноябрь — выход в свет «Азбуки» — хрестоматии, составленной Толстым для воспитания детей всех сословий.

Работал над романом из эпохи Петра I.

1873, *сентябрь—октябрь* — в Ясной Поляне позировал И. Н. Крамскому для портрета, заказанного П. М. Третьяковым.

9 *ноября* — смерть сына Петра.

Разочаровался в идее романа о Петре I.

Начал работать над романом «Анна Каренина».

1874, 22 *апреля* — рождение сына Николая.

20 *июня* — смерть любимой тетушки Т. А. Ёргольской.

1875, *январь* — начал публиковать «Анну Каренину» в журнале «Русский вестник».

20 *февраля* — смерть сына Николая.

Ноябрь — рождение и смерть дочери Варвары.

1876 — продолжал работу над «Анной Карениной».

1877, *июль* — в Оптиной пустыни беседовал со старцем Амвросием.

6 *декабря* — рождение сына Андрея.

Завершил работу над «Анной Карениной». Окончание публикации «Анны Карениной» в «Русском вестнике». Огромный успех романа. Первые признаки духовного переворота, связанного с утратой смысла жизни.

1878, *январь* — выход «Анны Карениной» отдельным изданием.

Февраль — встречался в Москве с декабристами П. Н. Свистуновым и М. И. Муравьевым-Апостолом.

Март — ездил в Петербург для сбора материалов для романа «Декабристы». На лекции философа В. С. Соловьева впервые оказался рядом с Ф. М. Достоевским, но не познакомился.

Апрель — отправил И. С. Тургеневу за границу письмо с предложением помириться и получил его охотное согласие.

Сентябрь — встретился с И. С. Тургеневым в Ясной Поляне.

Увлёкся церковными службами, молитвами, постами.

1879, *июнь* — совершил паломничество в Киево-Печерский монастырь.

Сентябрь — в Москве встретился с митрополитом Московским Макарием (Булгаковым). Совершил паломничество в Троице-Сергиеву лавру.

20 декабря — рождение сына Михаила.

Отошел от Церкви. Начал работать над сочинением, в котором собирался изложить основы своей новой веры.

1880, январь — совершил поездку в Петербург. Пытался доказать тетушке А. А. Толстой, что церковная вера — ложь.

Май — в Ясной Поляне не поддался на уговоры Тургенева принять участие в торжествах по случаю открытия памятника А. С. Пушкину в Москве, из-за чего получил от Достоевского отказ приехать в Ясную Поляну.

Работал над «Исповедью» и книгой «Соединение, перевод и исследование четырех Евангелий».

1881, 1 марта — гибель императора Александра II от бомбы народовольцев.

8—15 марта — написал письмо новому императору Александру III с просьбой помиловать цареубийц.

Март—апрель — начал враждовать с обер-прокурором Синода К. П. Победоносцевым.

Июнь — вместе со слугой Сергеем Арбузовым посетил Оптиную пустынь под видом простого мужика.

Сентябрь — по желанию жены и старших детей переехал с семьей в Москву.

31 октября — рождение сына Алексея.

Пережил окончательный «духовный переворот», приведший к началу раскола в семье.

Написал рассказ «Чем люди живы».

1882, январь — участвовал в переписи населения Москвы.

Июль — купил дом в Долгом Хамовническом переулке (ныне Музей-усадьба Л. Н. Толстого в Хамовниках).

Начал писать повесть «Смерть Ивана Ильича».

1883, май — выдал жене доверенность на ведение всех имущественных дел.

Октябрь — познакомился с В. Г. Чертковым.

Работал над сочинением «В чем моя вера?».

1884, 17 июня — пытался уйти из семьи.

18 июня — рождение дочери Александры.

Основание издательства для народа «Посредник», задуманного Толстым и Чертковым.

Увлечен шитьем сапог. Пытался бросить курить и отказаться от мяса.

1885, март — совершил поездку в Крым с больным князем Л. Д. Урусовым, посетил места, где воевал.

Декабрь — пытался уйти из семьи.

Написал и опубликовал народные рассказы «Где любовь, там и Бог», «Упустишь огонь — не потушишь» и др.

Письмо С. А. Толстой сестре: «Помешан на чтении для народа».

В Москве вел новый образ жизни: вставал в семь утра, качал воду, пилил и колол дрова, не ел белого хлеба, не ходил по гостям, рано ложился спать.

1886, 18 января — смерть сына Алексея.

Февраль — познакомился с В. Г. Короленко.

Написал драму «Власть тьмы» (сначала запрещена к постановке).

Начал работу над комедией «Плоды просвещения».

1887, апрель — познакомился с Н. С. Лесковым.

Начал работать над повестью «Крейцеров соната».

1888, январь — первая постановка «Власти тьмы» в Париже.

31 марта — рождение последнего ребенка, сына Ванечки.

24 декабря — рождение первой внучки Анны, дочери Ильи Львовича.

Окончательно бросил курить. Участвовал в общественном движении «Согласие против пьянства».

Волна отказов от военной службы под влиянием толстовских убеждений.

1889, март — встретился с философом В. С. Соловьевым.

Август — читал вслух семейным и гостям «Крейцерову сонату». «Подняло всех. Очень нужно».

Начал писать роман «Воскресение» («Коневская повесть»).

Работал с крестьянами на пахоте и косьбе.

1890, февраль — чтение императором Александром III «Крейцеровой сонаты», запрещенной к печати духовной цензурой.

Апрель — завершил «Послесловие к “Крейцеровой сонате”».

Шил сапоги. Работал над статьей «Для чего люди одурманиваются?», повестью «Отец Сергей» и статьей о «непротивлении».

Сделал запись в дневнике: «Очень тяжело нравственно, — тоска, всё дурно, и нет любви».

1891, апрель — встреча с царем С. А. Толстой, пытавшейся добиться разрешения на публикацию «Крейцеровой сонаты».

Сентябрь — вместе с женой, детьми и последователями начал помогать голодающим крестьянам.

1892 — «работал на голоде» в Рязанской губернии. Писал статьи о голодающих. Писал книгу «Царство Божие внутри вас».

1893 — продолжал «работать на голоде».

1894, июль — запрет Главным управлением по делам печати редакциям газет «заимствовать из иностранных газет какие-либо сведения о графе Л. Н. Толстом, его сочинениях и частной его жизни».

Написал статью «Христианство и патриотизм». Пытался составить «Катехизис» с изложением основ своей веры.

1895, январь — пытался уйти из семьи.

23 февраля — смерть любимого сына Ванечки.

Август — познакомился с А. П. Чеховым.

Октябрь — премьера «Власти тьмы» в Александринском театре в Петербурге.

Ноябрь — премьера «Власти тьмы» в Малом театре в Москве.

Написал статью «Стыдно» против телесных наказаний.

1896 — начал работу над повестью «Хаджи-Мурат».

1897, *июль* — пытался уйти из семьи.

Декабрь — завершил статью «Что такое искусство?».

Начал помогать преследуемой в России секте духоборов.

1898 — окончил роман «Воскресение». Принял решение напечатать его в пользу духоборов, переселяющихся в Канаду.

1899, *март—декабрь* — опубликовал «Воскресение» в журнале «Нива».

1900, *январь* — познакомился с А. М. Горьким.

1901, *февраль* — публикация в «Церковных ведомостях» определения Синода об «отпадении» Толстого от Церкви.

Сентябрь — из-за ухудшения здоровья уехал в Крым.

1902, *январь—май* — встречался в Крыму с А. П. Чеховым, А. М. Горьким, А. И. Куприным.

Июнь — возвратился в Ясную Поляну.

1903, *август* — написал рассказ «Дочь и отец» (издан посмертно под названием «После бала»).

Продолжал работу над «Хаджи-Муратом».

1904, *27 января* — начало Русско-японской войны, вызвавшей антивоенные настроения Толстого.

23 августа — смерть старшего брата Сергея.

1905, *январь* — начало первой русской революции.

Тяжело переживал поражение русского флота и сдачу Порт-Артура. Написал статьи «Конец века» и «Царю и его помощникам».

1906, *27 ноября* — смерть любимой дочери Марии.

Работал над антологиями «Круг чтения» и «Мысли мудрых людей» («Мысли на каждый день»).

1907 — работал над изложением Евангелия для детей и «Детским кругом чтения».

1908, *май* — написал статью «Не могу молчать» против смертной казни.

Август — торжества в России и во всём мире, посвященные восьмидесятилетию Толстого.

1909 — сделал запись в дневнике: «Не пишется, а хочется и думается... Очень, очень хочется сказать, душит потребность...» Конфликт с женой из-за литературного наследства. Интриги В. Г. Черткова вокруг завещания Толстого.

1910, *июль* — втайне подписал завещание в пользу дочери Александры.

Ночь на 11 октября — ушел из Ясной Поляны.

7 ноября — скончался на железнодорожной станции Астапово.

9 ноября — похоронен в лесу Ясной Поляны.

БИБЛИОГРАФИЯ

Произведения Л. Н. Толстого

Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. М., 1928—1958.

Воспоминания, дневники, письма, интервью

Булгаков В. Ф. Как прожита жизнь: Воспоминания последнего секретаря Л. Н. Толстого. М., 2012.

Булгаков В. Ф. Л. Н. Толстой в последний год его жизни: Дневник секретаря Л. Н. Толстого. М., 1957.

Булгаков В. Ф. Лев Толстой, его друзья и близкие. Тула, 1970.

Величкина В. М. В голодный год с Львом Толстым. М.; Л., 1928.

Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого (записки за пятнадцать лет). М., 2002.

Гусев Н. Н. Два года с Л. Н. Толстым. М., 1973.

Жиркевич А. В. Встречи с Толстым: Дневники. Письма. Тула, 2009.

Интервью и беседы с Львом Толстым. М., 1986.

Кузминская Т. А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. М., 1986.

Л. Н. Толстой и его близкие. М., 1986.

Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1978.

Л. Н. Толстой и А. А. Толстая. Переписка (1857—1903). М., 2011.

Маковицкий Д. П. У Толстого. 1904—1910: «Яснополянские записки»: В 4 кн. // Литературное наследство. Т. 90. М., 1979.

Микулич В. (Веселитская Л. И.) Встречи с писателями. Л., 1929.

Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. 1870—1894. СПб., 1914.

Переписка Л. Н. Толстого с сестрой и братьями / Вступ. ст. Л. Д. Опульской; сост., подгот. текста и коммент. Н. А. Калининой, В. В. Лобзяковой, Т. Г. Никифоровой. М., 1990.

Сухотина-Толстая Т. Л. Воспоминания. М., 1980.

Сухотина-Толстая Т. Л. Дневник. М., 1987.

Толстая А. Л. Дневники (1903—1920). М., 2015.

Толстая А. Л. Дочь. М., 2001.

Толстая А. Л. Отец: В 2 т. М., 2001.

Толстая С. А. Дневники: В 2 т. М., 1978.

Толстая С. А. Моя жизнь: В 2 т. М., 2011.

Толстая С. А. Письма к Л. Н. Толстому. М; Л., 1936.

Толстой А. Л. О моем отце // Яснополянский сборник. Тула, 1965.

Толстой И. Л. Мои воспоминания. М., 1969.

Толстой Л. Л. В Ясной Поляне. Правда об отце и его жизни. Прага, 1923.

Толстой Л. Л. Опыт моей жизни. М., 2014.

Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями: В 2 т. М., 1978.

Толстой С. Л. Очерки былого. Тула, 1975.

Толстой С. М. Дети Толстого. Тула, 1994.

Литература

Басинский П. В. Лев Толстой: бегство из рая. М., 2010.

Басинский П. В. Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды. М., 2013.

Бирюков П. И. Биография Л. Н. Толстого: В 4 т. М., 2000.

Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1828 по 1855 год. М., 1954.

Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. М., 1958.

Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1870 по 1881 год. М., 1963.

Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1881 по 1885 год. М., 1970.

Гусев Н. Н. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого. М.; Л., 1936.

Духовная трагедия Льва Толстого. М., 1995.

Жданов В. А. Толстой и Софья Берс. М., 2008.

Зверев А. М., Туниманов В. А. Лев Толстой (серия «Жизнь замечательных людей»). М., 2006.

Ксюнин А. И. Уход Толстого. СПб., 1911.

Л. Н. Толстой: Pro et contra. СПб., 2000.

Л. Н. Толстой: Энциклопедия. М., 2009.

Лев Толстой и его современники: Энциклопедия. М., 2008.

Мейлах Б. С. Уход и смерть Льва Толстого. М.; Л., 1960.

Опульская Л. Д. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1886 по 1892 год. М., 1979.

Опульская Л. Д. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1892 по 1899 год. М., 1998.

Ореханов Г., свящ. Русская православная церковь и Л. Н. Толстой. М., 2010.

Петров Г. П. Отлучение Льва Толстого от церкви. М., 1978.

Русские мыслители о Льве Толстом. Тула, 2002.

Смерть Толстого по новым материалам: Астаповские телеграммы. М., 1929.

- Толстая А. Л.* Об уходе и смерти Л. Н. Толстого. Тула, 1929.
- Уход и смерть Льва Толстого. Корреспонденции. Статьи. Очерки. СПб., 2010.
- Чертков В. Г.* О последних днях Л. Н. Толстого. СПб., 1911.
- Чертков В. Г.* Уход Толстого. Берлин; М., 1922.
- Шкловский В. Б.* Лев Толстой (серия «Жизнь замечательных людей»). М., 1963.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Предисловие. Толстой как произведение</i>	5
--	---

Часть первая ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ (1828—1847)

Жизнь как насилие	7
Волконские	12
Толстые	20
Тетеньки	27
Братья	35

Часть вторая БЕГЛЕЦ (1847—1862)

Утро помещика	42
Пустьшный малый	47
Сам себе шпион	51
Кавказский пленник	56
Подпоручик Севастопольский	65
Тургенев и другие	77
Толстой за границей	83

Часть третья СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ (1862—1877)

Подколесин	90
Дьявол	95
Берсы	101
Роковая ошибка	111
Неимоверное счастье	114
Яши Поляновы	118
Солнце в зените	124

Часть четвертая ПЕРЕВОРОТ (1877—1892)

Еще не катастрофа	129
Остановка жизни	131

Соблазн и безумие	134
Отречение от Церкви	138
Отречение от литературы	146
Отречение от государства	154
Отказ от собственности	161
Отказ от литературных прав	172
Чертков	180
Чертков и Софья Андреевна	193

Часть пятая
УХОД И СМЕРТЬ (1892—1910)

Толстой в девяностые годы	200
Отлучение от Церкви	215
Репетиция смерти	225
Завешание	228
Бегство	247
Оптина пустынь	255
Шамордино и дальше	261
Астапово	272
<i>Эпilog</i>	286

Басинский П. В.

Б 27 Лев Толстой: Свободный человек / Павел Басинский. — М.: Молодая гвардия, 2017. — 302[2] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1637).

ISBN 978-5-235-03980-3

О Льве Толстом написаны десятки мемуаров, включая воспоминания его ближайших родственников, мельчайшие факты его биографии отражены в сотнях писем и дневниковых записей современников. Тем не менее его жизнь продолжает оставаться загадкой. Как из «пустяшного малого», не получившего систематического образования, получился великий писатель и философ? Что означал его «духовный переворот»? Что побудило его отказаться от собственности и литературных прав? За что его отлучили от Церкви? Каковы истинные причины нескольких попыток его ухода из дома? Зачем перед смертью он отправился в Оптину пустынь?

Писатель и журналист, лауреат литературной премии «Большая книга» Павел Басинский подводит итог своих многолетних поисков «истинного Толстого» в книге, написанной на основе обширного документального материала, из которой читатель узнает, почему Толстой продал отчий дом, зачем в преклонном возрасте за полтора месяца выучил греческий язык, как спас десятки голодающих, за что не любил «толстовцев», для чего шесть раз переписывал завещание... Словом, это полная биография литературного гения в небольшом формате.

УДК 821.161.1.0(092)

ББК 83.3(2Рос=Рус)1-8

знак информационной
продукции

16+

Басинский Павел Валерьевич

ЛЕВ ТОЛСТОЙ: СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Редактор Е. А. Никулина

Художественный редактор К. В. Забусик

Технический редактор М. П. Качурина

Корректоры Л. С. Барышникова, Т. И. Маляренко, Г. В. Платова

Сдано в набор 01.02.2017. Подписано в печать 09.02.2017. Формат 84×108/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Newton». Усл. печ. л. 15,96+1,68 вкл. Тираж 5000 экз. Заказ № 1703740.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127055, Москва, Сушевская ул., 21. Internet: <http://gvardiya.ru>. E-mail: dsel@gvardiya.ru

Отпечатано в полном соответствии с качеством
arvato предоставленного электронного оригинал-макета
BERTELSMANN в ООО «Ярославский полиграфический комбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

ISBN 978-5-235-03980-3